ГЕРБЕРТ
УЭЛЛС

Аргонавты Времени



АЗБУКА-КЛАССИКА

Аргонавты Времени
Герберт Джордж Уэллс

Аннотация
Герберт Уэллс. Аргонавты Времени
Аргонавты Времени
Часть 1. История с экзотерической точки зрения
Часть 2. Эзотерическая история, основанная на показаниях священника
Служитель искусства
В духе времени. История неразделенной любви
Ограбление в Хаммерпонд-парке
Через окно
Нечто в доме номер семь
Остров Эпиорниса
Искушение Хэррингея
Примирение
Красная комната
Гриб с пурпурной шляпкой
Безупречный джентльмен на велосипеде
Человек, который мог творить чудеса. Пантум в прозе
Сердце мисс Уинчелси
Сон об Армагеддоне

Мой первый аэроплан
Странная история с газетой мистера Браунлоу

Аннотация

Английский прозаик Герберт Уэллс – один из основоположников научной фантастики, автор около двухсот книг, писатель, чьи вымыслы, идеи, наблюдения, предвидения, предостережения и просветительские усилия изменили сознание людей XX века. Помимо знаменитых романов, названия и образы которых прочно вошли в языковой и культурный обиход человечества, Уэллс также создал почти сотню рассказов, отмеченных неистощимой выдумкой, широтой тематического репертуара и неизменной занимательностью сюжетов. В настоящий сборник включены знаковые образцы малой прозы писателя: здесь и ранняя повесть, предвосхитившая коллизии «Машины Времени» и «Человека-невидимки», и остроумные наблюдения за характерами и нравами англичан, и рассказы о творческих муках художника, и иронические детективы, и мрачный этюд об отложенной мести, и бурлеск из жизни пионера авиации, и антиутопическая новелла о далеком будущем, и, конечно, фантастические истории о

загадочном и необъяснимом…

Герберт Уэллс
Аргонавты Времени

Herbert Wells

1866–1946

© С. А. Антонов, составление, перевод, примечания, 2023
© А. М. Бродоцкая, перевод, 2023
© А. Н. Круглов, перевод, 2023
© Е. В. Матвеева, перевод, 2023
© Н. Ф. Роговская, перевод, 2022, 2023
© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024
Издательство Азбука®

Аргонавты Времени

Перевод С. Антонова.

Часть 1
История с экзотерической точки зрения

ОТЧЕТ О ПРЕБЫВАНИИ ДОКТОРА НЕБОГИПФЕЛЯ[1] В ЛЛИДДВУДДЕ

Примерно в полумиле от деревни Ллиддвудд, у дороги, которая переваливает через восточный склон горы Пен-и-пулл и ведет в Рустог, стоит большое здание, известное как ферма Манс[2]. В былые времена оно было резиденцией священника кальвинистско-методистской церкви[3], отсюда и происходит его название. Это невысокое странное сооружение неправильной формы

---

[1] Примечания: 1

Небогипфель — говорящая фамилия, происходящая от *рус.* «небо» и *нем.* Giphel — «вершина».

[2] Примечания: 2

Название *«Манс»* (*англ.* Manse) означает «дом (шотландского) пастора». Как и большинство топонимов в повести, ферма Манс — вымысел автора.

[3] Примечания: 3

Кальвинистско-методистская церковь — Пресвитерианская церковь Уэльса, возникшая в результате валлийского методистского возрождения XVIII в.; основана в 1811 г.

расположено в какой-то сотне ярдов от железной дороги и в наши дни стремительно разрушается.

С момента его постройки во второй половине минувшего столетия[4] дом претерпел немало превратностей судьбы. Фермер, владевший окрестными землями, давным-давно покинул его и перебрался в менее броское и более удобное обиталище. Среди прочих в Мансе некоторое время жила мисс Карно — «галльская Сафо», а позднее в нем обосновался старик по фамилии Уильямс. Подлое убийство старика, совершенное двумя его сыновьями, привело к тому, что дом довольно долго пустовал и, само собой, ветшал изнутри и снаружи.

Природные стихии и сборища местных подростков быстро довершили упадок снискавшего дурную славу Манса. Страх перед Уильямсами удерживал ллиддвуддских мальчишек от соблазна проникнуть в заброшенный дом, но с тем большим азартом они предались истреблению его внешних конструкций. Орудия, при помощи которых ребятня выражала и одновременно пыталась побороть свой священный страх, не оставили в здании ни единого целого стекла и

---

[4] Примечания: 4
То есть XVIII в.

нанесли серьезный урон старомодным свинцовым переплетам в узких окнах; эти повреждения, вкупе с бессчетными обломками черепицы и зияющими проемами, обнажавшими стропила крыши, наглядно свидетельствовали о силе мальчишеской неприязни. В результате пустующие интерьеры дома оказались открыты дождю и ветру, и те при деятельной поддержке старины Времени принялись за свою разрушительную работу. Половицы и стенные панели, то промокая, то высыхая, причудливо выгибались, трескались здесь и там и в припадках ревматических болей вырывались из оков проржавевших гвоздей, которые некогда прочно их держали. Штукатурка на стенах и потолке покрылась налетом вскормленной дождями черно-зеленой плесени и мало-помалу отслаивалась от покоробившейся решетчатой дранки; по какой-то неведомой причине крупные ее куски отваливались и с гулким грохотом падали на пол не иначе как в тихие ночные часы, подпитывая суеверный слух о том, что старик Уильямс и его сыновья обречены вновь и вновь разыгрывать свою жуткую трагедию вплоть до Страшного суда. Белые розы и затейливые вьюнки, которыми мисс Карно когда-то украсила стены, ныне устилали порос-

шую лишайником черепицу крыши, а их тонкие изящные побеги украдкой проникли в затянутые призрачной паутиной помещения дома. Бледные, болезненного вида грибки начали поднимать и сдвигать с мест кирпичи пола в подвале, а на гниющей древесине они собирались гроздьями, во всем великолепии однотонного и крапчатого пурпура, желто-коричневого и белого цвета. Мокрицы и муравьи, жуки и моли, бесчисленные крылатые и ползучие твари день ото дня все с большим комфортом обустраивались среди развалин; за ними следовало неуклонно возраставшее поголовье пятнистых жаб. Каждый год ласточки все теснее гнездовались в безмолвных, продуваемых сквозняками комнатах верхнего этажа, а летучие мыши и совы соперничали за сумеречные углы нижних комнат. Так весной 1887 года Природа медленно, но верно завладевала старым Мансом. «Дом приходил в упадок, стремительно и неотвратимо», — сказали бы те, кому не по душе, что покинутое людьми жилище населяют другие существа. Однако напоследок Мансу было суждено приютить под своей крышей еще одного человека.

Никто не ожидал появления в тихом Ллидд-двудде нового жителя. Он возник в сельском

мирке Ллиддвудда, где каждая мелочь — на виду и на слуху, без какого-либо предупреждения и буквально ниоткуда, точно упал в этот мирок с неба. Внезапно, из ничего, *очутился* тут как тут. Поговаривали, правда, что незнакомца будто бы видели сходящим с лондонского поезда, после чего он не колеблясь направился прямиком в старый Манс, не объяснив ни одной живой душе своих намерений. Впрочем, как намекал тот же хорошо осведомленный источник, впервые незнакомца приметили, когда он с необыкновенной скоростью несся по крутым склонам Пен-и-пулла верхом на чем-то, что, по словам рассудительного наблюдателя, изрядно смахивало на решето, а затем, добравшись до цели, проник в дом через печную трубу. Из этих противоречивых слухов в округе поначалу повсеместно распространился первый, однако второй вызвал больше доверия — благодаря странному облику и эксцентричному поведению приезжего. Впрочем, каким бы способом незнакомец ни прибыл, он, несомненно, находился в доме — и владел им — с

первого мая[5]; ибо утром того дня миссис Морган Апплойд-Джонс, а потом и многие другие, кого ее рассказ привел на склон горы, узрели его за любопытным занятием: неизвестный заколачивал листами жести зияющие оконные проемы своего нового жилища — «делал дом слепым», по меткому выражению миссис Морган Апплойд-Джонс.

Он был невысокого роста, очень худощав, с лицом землистого цвета, облачен в обтягивающее одеяние из какого-то плотного темного материала — мистер Парри Дэвис, ллиддвуддский сапожник, высказал мнение, что это кожа. Его орлиный нос, тонкие губы, высокие скулы и острый подбородок были небольшими и изящными, но из-за крайней худобы лицевые кости и мышцы явственно проступали под кожей. По той же причине его большие серые, лихорадочно блестевшие глаза выглядели запавшими, спрятавшимися под необычайно широким и высоким лбом, который казался непропорционально развитым в сравнении с другими частями

[5] Примечания: 5

Значимая для дальнейшего повествования дата: незнакомец появляется в Ллиддвудде в День святой Вальбурги (Вальпурги), после Вальпургиевой ночи, в которую, согласно средневековым немецким поверьям, получившим распространение во многих западноевропейских странах, наблюдается неистовый разгул нечистой силы и происходят сборища ведьм, оборотней и душ усопших с участием Сатаны.

лица и сильнее всего привлекал внимание наблюдателя. Складки, морщины и жилы на лбу также были неестественно велики. А ниже горели глаза, точно огоньки в пещере у подножия скалы. Лоб настолько превосходил и подавлял остальные черты лица, в целом бесспорно привлекательного, что придавал ему выражение почти нечеловеческое. Этот эффект скорее подчеркивали, чем скрадывали неопрятные пряди прямых черных волос, которые, спадая на глаза, добавляли к исключительной высоте лба намек на гидроцефалию[6]; впечатлению чего-то сверхчеловеческого способствовала и отчетливо различимая сквозь желтую прозрачную кожу пульсация крови в височных артериях. Памятуя обо всем этом, не приходится удивляться, что наиболее поэтические натуры среди валлийцев[7] Ллиддвудда отнеслись к теории о прибытии в решете с немалым доверием.

Впрочем, уверовать во вмешательство колдовских сил местных жителей заставили не только

---

[6] Примечания: 6

Гидроцефалия — заболевание, характеризующееся избыточным скоплением цереброспинальной жидкости в желудочках головного мозга; типичным симптомом этого недуга является непропорциональное развитие окружности головы.

[7] Примечания: 7

Валлийцы — жители Уэльса.

облик приезжего, но и — в гораздо большей степени — его манера держаться и образ жизни. Наблюдая за ним в различных обстоятельствах и ситуациях, ллиддвуддцы вскоре обнаружили, что его поведение и привычки коренным образом отличаются от их собственных и пуще того — не объяснимы никакой доступной им логикой. Взять, например, для начала пустячный случай, когда Артур Прайс Уильямс, личность, благодаря компанейскому складу характера хорошо известная во всех кабаках Карнарвоншира[8], попытался на изысканнейшем валлийском и даже на изысканнейшем английском вовлечь незнакомца в разговор о сцене с листами жести, но потерпел сокрушительное фиаско. Наводящие вопросы, расспросы напрямик, предложения помощи, практические советы, сарказм, ирония, оскорбления и, наконец, вызов на бой (пусть и робко выкрикнутый из-за придорожных кустов) — все осталось без ответа и, по-видимому, не было услышано. Метательные снаряды, как выяснил опытным путем Артур Прайс Уильямс, оказались столь же негодным средством знакомства, и собравшаяся толпа разбрелась, полная неутолен-

[8] Примечания: 8
Карнарвоншир — графство на северо-западе Уэльса.

ного любопытства и подозрений. Вечером того же дня темную фигуру хозяина Манса заметили на горной дороге: он, с непокрытой головой, шел в сторону деревни, ступая таким стремительным и широким шагом и с такой решимостью в лице, что Артур Прайс Уильямс, завидев его издали с порога «Свиньи и свистка», ощутил неимоверный ужас, спрятался на кухне за голландской духовой печью и сидел там до тех пор, пока приезжий не проследовал мимо таверны. На учеников, как раз выходивших из здания школы, также накатила волна панического страха, которая увлекла их обратно в классы, словно листья, гонимые ветром. Незнакомец же всего-навсего искал продуктовую лавку; найдя ее и пробыв там продолжительное время, он вышел с грудой пакетов из синей бумаги, где лежали буханка хлеба, селедки, свиные ноги, шпик и бутыль из темного стекла, — и прежней стремительной поступью воротился в Манс. Покупки он делал, просто называя то, что ему было нужно, не обременяя себя учтивостью манер, ничего не прося и не объясняя. Трюизмов хозяина лавки о погодных приметах, равно как и расспросов о том о сем, посетитель, казалось, не услышал, и его можно было бы счесть глухим, если бы он не проявлял живейшего внимания к

любой реплике, хоть мало-мальски связанной с целью его визита. Посему в деревне быстро распространился слух, будто незнакомец намерен — за немногими исключениями, вызванными крайней необходимостью, — избегать контактов с окружающими.

Он зажил таинственной жизнью в ветшающем доме, без прислуги и друзей, где, судя по всему, спал на голых досках или на подстилке из соломы, а еду либо готовил сам, либо употреблял в сыром виде. Все это, вкупе с распространенной верой в призрачных отцеубийц, якобы населявших Манс, заметно упрочило популярную теорию о том, что между приезжим и остальным человечеством пролегает обширная пропасть. Если что-то и противоречило идее оторванности от рода людского, так это постоянный приток корзин с замысловато изогнутой стеклянной посудой, ящиков с инструментами из стали и меди, огромных мотков проволоки, всевозможных устройств непонятного назначения из железа и огнеупорной глины, склянок и пузырьков с черными и красными этикетками, грозно предупреждавшими: «ЯД», толстенных связок книг и гигантских рулонов чертежной бумаги, которые прибывали в ллиддвуддское жилище незнаком-

ца из внешнего мира. Мистер Пью Джонс все же сумел установить имя и звание нового владельца Манса, тщательно изучив надписи на этих грузах, напоминавшие иероглифы и гласившие: «Мозесу Небогипфелю, д. ф.[9], ч. к. о.[10], СЗЖД[11], оплачено». Его открытие лишь укрепило в обитателях Ллиддвудда, особенно тех, кто понимал только по-валлийски, первоначальные недобрые предчувствия. Упомянутые посылки, ввиду явной их непригодности для какого бы то ни было дела, приличествующего простому смертному, невольно наводили на мысль об их дьявольском назначении; местных жителей охватили смутный ужас и жгучее любопытство, приумноженные необыкновенными происшествиями (и еще более необыкновенными рассказами о них), которые последовали за доставкой в Манс пресловутых грузов.

Первое из этих происшествий случилось 15 мая, в среду, — в день, когда прихожане ллиддвуддской кальвинистско-методистской церкви

---

[9] Примечания: 9
Доктору философии.

[10] Примечания: 10
Члену Королевского общества.

[11] Примечания: 11
Северо-Западная железная дорога.

отмечали свой ежегодный праздник; по этому случаю в согласии с установившимся обычаем в деревню стеклись верующие из соседних приходов — Рустога, Пен-и-гарна, Кэргиллудда, Лланрдда и даже отдаленного Лланруста. Благодарность Провидению традиционно выражалась в виде хлебного пудинга с изюмом, чайной смеси, терцы, освященного флирта, «поцелуев в кружке́»[12], импровизированного футбола и ругани на политические темы. Примерно в половине девятого веселье начало стихать, а в девять многочисленные парочки и редкие группы гостей потянулись по окутанной мраком горной дороге, ведущей из Ллиддвудда в Рустог. Вечер был тихий и теплый — один из тех вечеров, когда жечь светильники и газовые лампы или спать крепким сном кажется глупой неблагодарностью по отношению к Творцу. В небе над головой разлилась несказанно глубокая сияющая синева, на западе в сгущавшейся мгле горела золотом вечерняя звезда. На северо-северо-западе виднелось слабое свечение угасавшего дня. Бледный серп луны еще только восходил над затянутым туманной пеленой могучим плечом Пен-и-пулла.

---

[12] Примечания: 12

«Поцелуй в кружке» — старинная сельская игра, в которой поймавший целует пойманную.

С восточной стороны на фоне тусклого неба из смутных очертаний горного склона отчетливо проступала одинокая черная громада Манса. Безмолвие сумерек поглотило великое множество дневных шумов; окрестную тишину нарушали только звуки шагов, голоса и смех, то и дело доносившиеся со стороны дороги, да ритмичный стук молотка в объятом темнотой доме. Внезапно вечерний воздух наполнился странным гулом, одновременно жужжащим и гудящим, и яркие вспышки озарили дорогу перед путниками, чьи изумленные взгляды тотчас обратились к старому Мансу. Дом больше не мрел во тьме безликой черной глыбой — он был сплошь залит брызжущим наружу светом. Из зияющих дыр в крыше, из каждой щели в черепице и между кирпичами, из каждой бреши, что пробили в этой ветхой потрескавшейся скорлупе Природа и человек, струилось ослепительное голубовато-белое сияние, в сравнении с которым восходящая луна смотрелась матовым зелено-желтым диском. Легкая дымка вечерней росы повисла облачком над бесцветным свечением, исходившим из Манса, и приобрела загадочный фиолетовый блеск. Неожиданно дом огласили непонятный шум и крики, которые становились все громче,

а вслед за этим собравшаяся толпа услышала сильные лязгающие удары по листам жести, закрывавшим окна. Потом озаренные изнутри проломы в крыше вдруг извергли диковинный рой разнородных созданий — ласточек, воробьев, сов, летучих мышей, мириады насекомых, которые на несколько минут гулкой, кружащейся и растекающейся тучей зависли над чернеющими фронтонами и печными трубами… после чего она медленно поредела и растворилась в ночи.

Когда переполох прекратился, до толпы снова донесся прежний пульсирующий гул, который становился все более явственным, покуда не остался единственным звуком, тревожившим тишину местности. Наконец дорога мало-помалу опять ожила — горстки жителей Рустога одна за другой, отвратив взоры от слепящей белизны, в глубокой задумчивости продолжили путь домой.

Образованный читатель, несомненно, уже догадался, что за удивительным явлением, заронившим множество невероятных мыслей в головы достопочтенных жителей Рустога, скрывалось просто-напросто пробное включение в Мансе электричества. Воистину эта новая перемена в старом доме казалась самой странной из всех, что выпали на его долю. Его возвращение

к бренной жизни было сродни воскресению Лазаря[13]. С этого часа каждый закоулок стремительно менявшегося интерьера за ослепленными жестью окнами денно и нощно озаряли вспышки укрощенной молнии. Бешеная энергия маленького доктора, обладателя прямых волос и кожаных одежд, загнала в потаенные щели и дальние углы или вовсе уничтожила ползучие растения, ядовитые грибы, листья роз, птичьи гнезда и яйца, паутину и все те покровы и украшения, в которые выжившая из ума старуха-мать, Природа, долго обряжала ветшавший дом, готовя его к прощальной церемонии. Электромагнитный аппарат неустанно жужжал среди руин обитой деревянными панелями столовой, где в восемнадцатом столетии тогдашний хозяин Манса набожно читал утренние молитвы и поглощал свой воскресный обед, а на месте драгоценного буфета священника ныне высилась неприглядная куча печного кокса. Духовая печь в пекарне была переделана в кузню; хриплые вздохи ее мехов и прерывистые вспышки алых искр заставляли спешивших мимо деревенских женщин, не читавших ничего, кроме Библии, торопливо

[13] Примечания: 13
См.: Ин., 11: 1–44.

бормотать по-валлийски: «Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя»[14]. Происходящее в Мансе вселило в этих добрых людей уверенность, что к былым ужасам дома с привидениями прибавился приручённый, но временами проявлявший свой норов Левиафан[15]. Для различных механизмов, больших медных отливок, оловянных слитков, заполненных доверху бочек, ящиков и пакетов, которые продолжали бесперебойно поставляться в дом, требовалось немало места, и ради этого были принесены в жертву почти все внутренние стены здания; вдобавок неутомимый ученый безжалостно спилил лаги и половые доски верхних комнат таким образом, чтобы смастерить из них полки и угловые подпорки в похожем на атриум пространстве между подвалом и стропилами. Часть самых крепких досок пошла на изготовление широкого грубого стола, и теперь на нем быстро росли кипы папок и векторных диаграмм. Ум доктора Небогипфеля был, по-видимому, всецело поглощен этими

[14] Примечания: 14

Иов., 41: 13.

[15] Примечания: 15

Левиафан — ветхозаветный многоголовый огнедышащий морской змей, созданный Богом среди прочих морских чудовищ; подробно описан в Книге Иова (40: 20–41: 26).

геометрическими построениями — занятием, которому оказались подчинены все прочие стороны его жизни. Причудливые переплетения линий — схемы, вертикальные проекции, сечения, образующие гибридные сочетания каркасных, поверхностных и твердых моделей, — созданные опытными руками ученого при помощи счетных логарифмических устройств и перфорационных машин, быстро ярд за ядром покрывали бумагу. Некоторые из этих умозрительных конструкций он отправил в Лондон, и спустя некоторое время они вернулись обратно — *воплощенные* в латуни и слоновой кости, никеле и красном дереве. Иные он сам превратил в трехмерные изделия из дерева и металла; порой он отливал металлические заготовки в песчаных формах, но чаще старательно выпиливал их из чурбаков для большей точности размеров. В последнем случае он использовал, среди прочих инструментов, стальную циркулярную пилу с напыленной на зубья алмазной крошкой; посредством пара и зубчатой передачи ее диск разгонялся до невообразимых скоростей. Это приспособление как ничто подогрело болезненную неприязнь ллиддвуддцев к доктору, утвердив их в мысли, что он колдун и преступник. Нередко в полночной тишине (ибо

новый обитатель Манса в своих неустанных исследованиях не обращал внимания на восходы и закаты солнца) жители окружающих Пен-и-пулл домов просыпались от звуков, которые поначалу казались жалобным бормотанием, похожим на стоны раненого, постепенно становились все выше и интенсивнее, превращаясь в страстный, надрывный протест, и в конце концов обрывались резким пронзительным визгом, часами отдававшимся в ушах добропорядочных обывателей и насылавшим на них одно кошмарное видение за другим.

Эти загадочные звуки и необъяснимые явления, бесцеремонные манеры и явное беспокойство доктора в те моменты, когда он не был занят работой, его строгое и ревниво оберегаемое уединение, его нескрываемая враждебность к назойливым незваным гостям до крайности возбудили всеобщее раздражение и любопытство. Возник даже замысел провести расследование его деятельности (включающее, вероятно, ис-

пытание водой[16]), как вдруг скоропостижная кончина горбуна Хьюза вследствие припадка привела к неожиданной развязке. Он умер в разгар дня посреди улицы, прямо напротив Манса. С полдюжины людей были тому свидетелями. Они видели, как несчастный внезапно упал и покатился по дороге, словно отчаянно борясь с невидимым противником. Когда подоспела помощь, бедняга лежал с побагровевшим лицом, а на его посиневших губах выступила липкая пена. Едва к нему успели прикоснуться, он испустил дух.

Оуэн Томас, врач общей практики, тщетно убеждал возбужденную толпу, стремительно собравшуюся возле «Свиньи и свистка», куда было принесено тело, что Хьюз умер самой что ни на есть естественной смертью. Жуткое подозрение, что покойный стал жертвой надмирных сил, приписываемых доктору Небогипфелю, как зараза распространилось по округе. С молниеносной быстротой новость разнеслась по деревне,

[16] Примечания: 16

Испытание водой (*лат.* iudicium aquæ) как средство выявления связи с дьяволом утвердилось в антиведовской практике в Средние века и достигло своего апогея в XVII в. Суть его заключалась в том, что большой палец правой руки предполагаемого колдуна или ведьмы привязывали к большому пальцу левой ноги, после чего испытуемого трижды погружали в воду. Если подозреваемый в колдовстве плавал на поверхности и не тонул, он признавался виновным, и наоборот.

наводнив весь Ллиддвудд яростным желанием покарать виновника этого злодейства. Отъявленное суеверие, которое дотоле скромно (из боязни стать посмешищем или страха перед доктором) бродило по деревне, теперь смело предстало взорам всех и каждого в грозном и величавом обличье истины. Люди, прежде скрывавшие свои опасения перед похожим на чертика философом, неожиданно открыли для себя невероятное удовольствие в том, чтобы шепотом поверять родственным душам пугающие догадки, и, сочувственно встреченный слушателями, их шепот вскоре превратился в полные уверенности речи, произносимые во весь голос. Упоминавшаяся выше сказка о плененном Левиафане, до сих пор остававшаяся ужасной, но тайной радостью кучки невежественных старух, сделалась всеобщим достоянием в качестве неоспоримого факта; утверждалось — со ссылкой на свидетельство миссис Морган Апплойд-Джонс, — что однажды этот монстр преследовал ее едва ли не до самого Рустога. Рассказ о том, как Небогипфель вместе с Уильямсами предавался песнопениям, полным чудовищных богохульств, и как после этого через дыру в крыше в Манс проникла «черная крылатая тварь размером с теленка», был безоговорочно

принят на веру. Одно неудачное падение на погосте породило леденящую душу историю о том, как доктора, точно кладбищенского вора, застигли у свежей могилы, которую он разрывал своими длинными белыми пальцами. Электрический свет, падавший на дерево за домом, которое раскачивалось от порывов ветра, позволил многим клятвенно заявлять, будто Небогипфель вместе с убитым Уильямсом вешал сыновей последнего на призрачной виселице. По деревне циркулировала добрая сотня подобных баек, омрачавших и без того гнетущую атмосферу. Преподобный Элайджа Улисс Кук, прослышав о волнениях, отправился утихомиривать страсти, но сам едва не стал мишенью всеобщего гнева.

В понедельник 22 июля около восьми вечера против «некроманта»[17] выступило внушительное уличное шествие. Его ядро составила горстка смельчаков, включая Артура Прайса Уильямса, Джона Питерса и некоторых других; ближе к ночи они взметнули вверх факелы, брызжущие огненными искрами, и принялись выкрикивать отрывистые угрозы. Позже с видимой неохотой подтянулись менее отважные мужчины, а с ни-

---

[17] Примечания: 17
Некромант — заклинатель мертвых.

ми, группами по четверо-пятеро, — их жены, чьи пронзительные истеричные визги и буйное воображение изрядно накалили толпу. Затем из притихших темных домов начали робко выскальзывать охваченные неодолимым ужасом молодые девушки и детвора, спеша на желтое сияние смолистых сосновых факелов и возбужденный гомон все возраставшего сборища. Около девяти перед таверной «Свинья и свисток» оказалась почти половина населения Ллиддвудда. Сквозь невнятный гул множества глоток слышался хриплый, надтреснутый голос кровожадного старого фанатика Причарда, призывавшего извлечь должный урок из судьбы четырехсот пятидесяти идолопоклонников с горы Кармил[18].

С боем церковных часов началось стихийное движение вверх по склону горы, и вскоре все — мужчины, женщины и дети, объятые страхом и жавшиеся друг к другу, — стали приближаться к дому злосчастного доктора. Когда ярко освещенная таверна скрылась из виду, дрожащий женский голос затянул один из тех мрачных гимнов, звуки которых так тешат слух кальвиниста.

---

[18] Примечания: 18

Аллюзия на ветхозаветный эпизод испытания истинной и ложной веры на горе Кармил и последующей казни 450 пророков Ваала пророком Илией (см.: 3 Цар., 18: 19–40).

Мелодию тотчас подхватили — сперва двое-трое, а потом и вся процессия, и шарканье множества тяжелых башмаков быстро подстроилось под ритм гимна. Но вот цель шествия, как сияющая звезда, показалась из-за поворота дороги, и пение разом стихло; лишь голоса запевал все еще продолжали звучать — несколько нестройно, зато истовее, чем прежде. Как ни старались они своим упорством подать пример остальным, толпа неуклонно замедляла шаг, а достигнув ворот Манса, замерла как вкопанная. Еще недавно смутный страх перед будущим понуждал жителей деревни смело ступать вперед — теперь же страх перед настоящим в мгновение ока задушил своего собрата. Сильный свет, бивший из щелей огромного, молчаливого, как смерть, здания, озарял ряды бледных лиц, на которых читалась нерешительность; среди детей раздались приглушенные испуганные всхлипы.

— Ну, — произнес Артур Прайс Уильямс, обращаясь к Джеку Питерсу с притворным видом смиренного ученика, — что мы будем делать *теперь*, Джек?

Но Питерс разглядывал Манс в явной нерешительности и проигнорировал вопрос. Ллиддвуддская охота на ведьм, похоже, неожиданно

оказалась на грани провала.

В этот момент старый Причард внезапно протолкнулся вперед, неистово размахивая длинными костлявыми руками.

– *Что?!* — воскликнул он надтреснутым голосом. — Вы страшитесь покарать того, кто ненавистен Господу? *Сжечь* колдуна!

Выхватив у Питерса факел, он распахнул хлипкие ворота и припустил по аллее к дому, оставляя в ночном воздухе извилистый искрящийся след.

— Сжечь колдуна! — донесся из колышущейся толпы чей-то пронзительный вопль, и охваченная стадным инстинктом орава, издавая бессвязные крики, ринулась вслед за фанатиком.

Горе философу! Ллиддвуддцы ожидали, что наткнутся на забаррикадированные двери, однако подвешенные на ржавых петлях створки без труда отворились от удара Причарда, с глухим треском признав свою негодность. Ослепленный шедшим изнутри светом, предводитель замер на пороге, меж тем как его сторонники сгрудились у него за спиной.

Те, кому довелось там побывать, рассказывают, что в монотонном сиянии электрических ламп их взорам предстал доктор Небогипфель, который стоял на причудливом сооружении из

латуни, слоновой кости и красного дерева и как будто улыбался — с жалостью и одновременно с презрением, как, говорят, обычно улыбаются мученики. Более того, некоторые утверждают, что рядом с ним восседал высокий человек, облаченный во все черное, а иные даже уверяют, будто бы этот второй (чье присутствие иные отрицают) напоминал лицом преподобного Элайджу Улисса Кука, — прочие же усматривают в его чертах сходство с убитым Уильямсом, каким того изображает местная молва. В любом случае удостоверить что-либо тут уже невозможно, поскольку вдруг на толпу, проникшую в дом, обрушилась какая-то неведомая сила. Причард лишился чувств и, словно подкошенный, ничком повалился на пол; яростные крики и вопли толпы вскоре сменились возгласами мучительного страха и безмолвными вздохами, полными леденящего сердце ужаса, а затем отчаянным рывком в сторону дверей.

И немудрено, ибо спокойный, улыбающийся доктор, и его молчаливый, одетый в черное товарищ, и полированное возвышение, на котором оба находились, внезапно исчезли без следа!

КАК СТАЛА ВОЗМОЖНОЙ ОДНА ЭЗОТЕРИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

Серебристая ива на берегу пруда. Внизу из поросшей жерухой воды поднимаются пучки осоки, а среди них сияют пурпурные лилии и стелется сапфировый туман незабудок. Дальше в лениво струящемся потоке отражается густая синева сырых небес Болотного края[19], а еще дальше лежит низкий, окаймленный ивняком островок. Этим и ограничивается обозримая вселенная, не считая редких подстриженных деревьев и пикообразных тополей, что маячат где-то в лиловой дымке. Автор, улегшись под ивой, наблюдает за медно-красной бабочкой, перепархивающей с одного цветка ириса на другой.

Кому под силу запечатлеть в памяти все цвета заката? Кто способен сделать слепок с огня? Пусть этот человек попробует проследить за странствиями человеческой мысли от медно-красной бабочки к бестелесной душе, а от нее — к духовным переменам и к исчезновению доктора

---

[19] Примечания: 19

Болотный край — обширная заболоченная местность на севере восточноанглийского графства Кембриджшир.

Мозеса Небогипфеля и преподобного Элайджи Улисса Кука из чувственно воспринимаемого мира.

Автор лежал, наслаждаясь покоем, и, подобно мечтателю под деревом Бодхи[20], размышлял о таинственных перевоплощениях — и тут ощутил рядом чье-то присутствие. На островке между ним и багряным горизонтом возникло нечто — какая-то непрозрачная, отражавшая свет сущность, смутно различимая рассеянным взором по отражению в воде. Автор с удивлением и любопытством поднял глаза.

Что это было?

Он изумленно смотрел на представшее ему видение, сомневаясь, моргая, протирая глаза, вглядывался снова и снова — и наконец поверил. Сущность была плотной, не отбрасывала тени, и на ней виднелось два человека. Она состояла из белого металла, сверкавшего на полуденном солнце, как воспламенившийся магний, планок черного дерева, поглощавших свет, и белых механизмов, блестевших, точно полированная слоновая кость. И вместе с тем она казалась

[20] Примечания: 20

Дерево Бодхи — в буддизме легендарное дерево в роще Урувелла, медитируя под которым принц Гаутама достиг просветления и стал Буддой.

нереальной. Конструкция эта не была прямоугольной, какой полагается быть машине, но имела неправильную форму; перекошенная, она как будто падала, наклоняясь сразу в обе стороны, подобно тем причудливым кристаллам, что именуются триклинными[21]; она напоминала механизм, который покорежен или сломан; ее двусмысленный, сомнительный облик вызывал в памяти машину из какого-то бессвязного сна. Люди на ней тоже казались персонажами сновидения. Один из них был невысок, очень бледен, с головой странной формы, облачен в костюм темно-оливкового цвета; второй — светловолосый, респектабельного вида мужчина — обладал явным и абсурдно-неуместным сходством со священником Англиканской церкви.

Автора опять одолели сомнения. Он растянулся на земле и уставился в небо, протер глаза, оглядел нависавшие над ним ветви ивы, тщательно, словно нечто ему незнакомое, осмотрел свои руки, потом уселся и обозрел островок. Легкий ветер шевелил ивняк, низко летела белая птица. Машина из видения автора исчезла! Это была иллюзия, субъективная проекция, подтверждаю-

[21] Примечания: 21

Элементарной ячейкой решетки *триклинных кристаллов* является косоугольный параллелепипед.

щая нематериальность сознания.

— Да, — вмешался в его мысли скептический голос, — но *почему в таком случае священник все еще здесь?*

Священник и впрямь никуда не делся. Автор в глубоком изумлении взирал на закутанного в черное пришельца, который, прикрыв рукой глаза, изучал окрестности. Автор знал их как свои пять пальцев, и его интересовал только один вопрос: откуда? Священник выглядел так, как выглядят французы, высадившиеся в Нью-Хейвене: вконец утомленный путешествием, одежда изношена и помята, что хорошо было видно при свете дня. Когда он подошел к кромке воды и обратился к автору с вопросом, голос его срывался и дрожал.

— Да, — отозвался автор, — это остров. *Как вы туда попали?*

Но вместо ответа священник задал другой — очень странный — вопрос.

— Вы живете в девятнадцатом веке? — произнес он.

Прежде чем ответить, автор заставил его повторить сказанное.

— Слава Богу! — с восторгом вскричал священник. Затем он взволнованно осведомился о

точной дате. — Девятое августа тысяча восемьсот восемьдесят седьмого года, — повторил он вслед за автором. — Хвала небесам! — И, повалившись наземь, где его скрыли из виду побеги осоки, громко зарыдал.

Автор, до крайности изумленный происшедшим, немного прошел вдоль берега пруда, нашел ялик, забрался в него и, отталкиваясь шестом, поспешно поплыл к островку, на котором недавно видел священника. Он нашел его лежащим без чувств в камышах и доставил в ялике к себе домой, где священник провел, не приходя в сознание, десять дней.

Тем временем стало известно, что это преподобный Элайджа Кук, три недели назад пропавший из Ллиддвудда вместе с доктором Мозесом Небогипфелем.

Девятнадцатого августа сиделка вызвала автора из рабочего кабинета — больной выразил желание поговорить с ним. Автор обнаружил его в здравом уме, вот только глаза священника странно блестели, а лицо было мертвенно-бледным.

— Вы преподобный Элайджа Улисс Кук, магистр искусств, выпускник Пембрук-колледжа Оксфордского университета, приходской священ-

ник Ллиддвудда, возле Рустога в Карнарвоне.

Больной кивнул.

— Вам что-нибудь говорили о том, как я здесь очутился?

— Я нашел вас в зарослях камыша, — пояснил я.

Он ненадолго умолк, задумавшись.

— Мне нужно дать показания. Вы готовы их выслушать? Они касаются убийства старика по фамилии Уильямс, которое случилось в тысяча восемьсот шестьдесят втором году, нынешнего исчезновения доктора Мозеса Небогипфеля, похищения воспитанницы в четыре тысячи третьем…

Автор вытаращил глаза.

— В году четыре тысячи третьем от Рождества Христова, — уточнил Кук. — Она еще не родилась. Я также хотел сообщить о нескольких нападениях на официальных лиц, совершенных в 17 901 и 17 902 годах…

Автор закашлялся.

— В 17 901 и 17 902 годах, вместе с ценнейшими сведениями медицинского, социального и физиографического характера за все эти столетия.

После консультации с врачом было решено записать показания священника; на них-то и ос-

нована оставшаяся часть рассказа об Аргонавтах Времени.

28 августа 1887 года преподобный Элайджа Кук скончался. Его тело было доставлено в Ллиддвудд и захоронено на местном кладбище.

Часть 2
Эзотерическая история, основанная на показаниях священника

АНАХРОНИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК

В первой части повествования мимоходом упоминалось о попытке преподобного Элайджи Улисса Кука унять суеверное возбуждение сельчан, предпринятой памятным вечером 22 июля. Она оказалась безуспешной, и тогда он вознамерился предупредить нелюдимого философа о грозившей ему опасности. С этой целью он покинул охваченную слухами деревню и в молчаливой сонной жаре июльского дня направился вверх по склону Пен-и-пулла к старому Мансу. Громкий стук в тяжелую дверь отозвался внутри гулким эхом и вызвал дождь из кусков штукатурки и гнилой древесины у расшатанного крыльца; за исключением этих звуков, ничто не нарушило дремотную тишину летнего полдня. Вокруг царило такое безмолвие, что застывший в ожидании священник отчетливо различил голоса косарей с лугов, которые раскинулись в миле отсюда, ближе к Рустогу. Подождав некоторое время, визитер

снова постучал и снова подождал, прислушиваясь; наконец шум падающего мусора умолк, и преподобный явственно ощутил пульсацию крови в собственных сосудах, то нараставшую, то спадавшую, подобно невнятному гомону далекой толпы, и мало-помалу наполнявшую его сознание тревогой и беспокойством.

Он опять постучал, нанося громкие дробные удары тростью, уперся рукой в дверь и что есть силы стукнул по ней ногой. Изнутри донеслось эхо, протестующе лязгнули петли, затем створки дубовой двери разошлись, и в голубом сиянии электрического света изумленному взору священника предстали руины внутренних стен, нагромождения досок и охапки соломы, груды металла, кипы бумаг и опрокинутые аппараты.

— Доктор Небогипфель, простите меня за вторжение, — воззвал он, однако единственным ответом ему были отзвуки его собственного голоса, которые раздались среди черных балок и скопления смутных теней, сгустившихся наверху.

Почти с минуту он стоял на пороге, подавшись вперед и вглядываясь в сверкающие механизмы, диаграммы, книги, валявшиеся вперемежку с остатками еды, ящиками, горами кокса, сена

и мелкого мусора, что заполонили неразгороженное пространство дома. Потом, сняв шляпу и ступая на цыпочках, словно тишина вокруг была священной, он шагнул в явно пустовавшее убежище доктора.

Заглядывая во все углы, преподобный осторожно пробирался через хаос со странным предчувствием, что вот-вот обнаружит Небогипфеля притаившимся где-то в резких черных тенях среди мусора, — настолько завладело им невыразимое ощущение почти осязаемого человеческого присутствия. Это ощущение было таким сильным, что, усевшись после бесплодных поисков на заваленную чертежами Небогипфеля скамью, он невольно воззвал к тишине сдавленным хриплым голосом:

— Его здесь нет. Но мне нужно кое-что ему сказать. Я должен подождать его.

Вниз по стене в пустом углу позади него скользнул кусок штукатурки — и священник, мгновенно покрывшись испариной, обернулся на звук. Там ничего не было, но, приняв прежнюю позу, он застыл на месте: перед ним бесшумно и быстро возник Небогипфель — ужасно бледный, с руками в красных пятнах, скорчившийся на странного вида металлической платформе и пристально

смотревший глубоко посаженными серыми глазами в лицо гостя.

Кук чуть было не завопил от страха, но язык его словно прилип к гортани, и он мог лишь глазеть, как зачарованный, на причудливое лицо, которое внезапно стало зримым. Губы доктора дергались, дыхание вырывалось короткими судорожными всхлипами. Нечеловечески высокий лоб взмок от пота, жилы сделались узловатыми, вздулись и побагровели. Священнику бросилось в глаза, что красные руки Небогипфеля дрожат, а рот открывается и закрывается, как будто его обладатель с трудом мог говорить.

— Кто… что вы здесь делаете? — выдохнул он наконец.

Вместо ответа Кук, со вставшими дыбом волосами и открытым ртом, продолжал таращиться на красноречивое алое пятно, которое растеклось по белой слоновой кости, сверкающему никелю и блестящему черному дереву платформы.

— Что вы здесь делаете? — повторил доктор, поднимаясь. — Что вам нужно?

Кук сделал непроизвольное движение.

— Ради всего святого, что вы такое? — вопросил он, и тут присевший на корточки призрачный карлик поплыл перед его глазами, сметаемый в

темную безмолвную ночь черными занавесями, которые опустились со всех сторон.

Когда преподобный Элайджа Улисс Кук пришел в себя, он обнаружил, что лежит на полу в старом Мансе, а доктор Небогипфель, уже без пятен крови на руках и малейших признаков волнения на лице, склоняется над ним, стоя на коленях со стаканом бренди в руке.

— Не тревожьтесь, сэр, — сказал философ с легкой улыбкой, когда священник открыл глаза. — Я не развлеку вас ни бесплотным духом, ни чем-либо столь же необычным… могу я предложить вам это?

Священник безропотно выпил бренди, затем недоуменно взглянул в лицо Небогипфелю, тщетно пытаясь вспомнить, что произошло перед тем, как он лишился чувств. Наконец он смог принять сидячее положение и тогда увидел наклонную металлическую конструкцию, появившуюся вместе с доктором; перед его мысленным взором тотчас промелькнуло все, что случилось недавно. Он перевел взгляд с устройства на отшельника, потом обратно.

— Здесь нет никакого обмана, сэр, — с едва уловимой насмешкой в голосе произнес Небогипфель. — В том, чем я занимаюсь, потусторонние

сущности не участвуют. Это самое настоящее механическое устройство, определенно принадлежащее этому жалкому миру. Простите — я отлучусь на минутку.

Он поднялся с колен, взобрался на платформу из красного дерева, опустил ладонь на замысловато изогнутый рычаг и повернул его. Кук протер рукой глаза. Бесспорно, здесь не было никакого обмана. Доктор и машина исчезли.

На сей раз преподобный джентльмен не испытал страха, а ощутил только легкую нервную оторопь, увидев, как доктор тотчас «в мгновение ока» появился вновь и спустился с платформы. Тот двинулся по прямой, заложив руки за спину и опустив голову, и шагал так, покуда не наткнулся на препятствие в виде циркулярной пилы; тогда, резко повернувшись на каблуках, он произнес:

— Я подумал, пока был… далеко… Хотите отправиться в путешествие? Я был бы очень рад спутнику.

Священник все еще сидел на полу с непокрытой головой.

— Боюсь, вы сочтете меня недогадливым… — медленно начал он.

— Полноте! — перебил доктор. — Это я оказался не слишком догадлив. Вы, несомненно, жаждете

получить объяснения всему увиденному… хотите узнать, куда я направляюсь. За последние десять с лишним лет я так мало разговаривал с людьми этой эпохи, что отвык делать необходимые скидки на способности чужого ума. Я постараюсь все объяснить, насколько смогу, но, боюсь, не очень-то преуспею… Это долгая история… вы находите удобным сидеть на полу? Если нет, вон там стоит отличный ящик, а позади вас — охапка соломы. Или вот эта скамейка — с чертежами ныне покончено, но, подозреваю, там остались кнопки. Вы также можете усесться на «Арго Времени»!

— Нет, спасибо, — задумчиво ответил священник, подозрительно оглядывая означенное кособокое сооружение. — Мне *вполне* удобно и здесь.

— Тогда я начну. Вы читаете сказки? Современные сказки?

— Боюсь, вынужден признаться, что я читаю много беллетристики, — с ноткой самоосуждения произнес преподобный. — Вероятно, в Уэльсе у рукоположенных священников, совершающих церковные таинства, слишком много свободного времени…

— Вы читали «Гадкого утенка»?

— Ганса Христиана Андерсена? Да… в детстве.

— Изумительная сказка! Со времен моего одинокого детства она всегда была полна для меня слез и окрыляющих надежд и не раз спасала от неописуемых бедствий. Если вы как следует уразумели ее смысл, то без труда поймете, каким образом в человеческом уме может зародится идея подобной машины. Когда я читал эту простую историю в первый раз, я уже мало-помалу приучался на собственном горьком опыте сторониться людей, среди которых родился, — и понял, что она повествует обо мне. Это я — гадкий утенок, которому суждено обернуться лебедем, прошедший через презрение и горечь, чтобы воспарить к вершинам величия. С той минуты я мечтал о встрече с человеком, близким мне по духу, мечтал найти сочувствие, в котором остро нуждался. Двадцать лет я жил этой надеждой, жил и работал, жил и странствовал, даже любил — и в конце концов впал в отчаяние. Лишь однажды за долгие годы своих напряженных исканий я встретил — среди миллионов недоумевавших, изумленных, равнодушных, презрительных, вероломных и хитрых взглядов — глаза, что взглянули на меня так, как я желал… взглянули…

Доктор умолк. Преподобный Кук всмотрелся в черты собеседника, ища следы того глубокого

чувства, которое одушевляло его последние слова. Лицо Небогипфеля было печально, хмуро и задумчиво, губы плотно сжаты.

— Короче говоря, мистер Кук, я обнаружил, что являюсь одним из тех выдающихся каготов[22], которые именуются гениями, — человеком, опередившим свой век, мыслящим категориями более мудрой эпохи, творящим то и верящим в то, чего не дано уразуметь его современникам; я понял также, что мне уготованы долгие годы молчания, душевных страданий и одиночества — горчайшей из земных мук. Я осознал, что я — анахронический человек, чье время еще не пришло. Меня поддерживала одна-единственная призрачная надежда, и я цеплялся за нее до тех пор, пока она не обрела воплощение. Тридцать лет непрерывных трудов и глубочайших раздумий о тайнах материи, формы и жизни — и вот *он*, «Арго Времени», *корабль, плывущий сквозь время,* и теперь он унесет меня в путешествие через века, в эпоху, к которой я принадлежу, к людям моего поколения.

---

[22] Примечания: 22

Каготы — группа жителей ряда областей Франции и Испании, которая в XI–XIX вв. подвергалась презрению и социальной стигматизации вследствие суеверия, приписывавшего им проказу, зловоние и т. п. Здесь: синоним отверженного.

«АРГО ВРЕМЕНИ»

Доктор Небогипфель сделал паузу и, внезапно засомневавшись, взглянул на священника, который выглядел озадаченным.

— Вам кажется, что «путешествие во времени» звучит как бред безумца? — спросил он.

— Это определенно идет вразрез с общепринятыми представлениями, — сказал священник с легкой полемической ноткой в голосе, очевидно имея в виду «Арго Времени». Как видим, даже священник Англиканской церкви может порой заподозрить ближнего в ложном восприятии действительности.

— Это определенно идет вразрез с общепринятыми представлениями, — дружелюбно согласился философ. — И даже более того: это бросает общепринятым представлениям смертельный вызов. Всевозможные представления, мистер Кук, — научные теории, законы, догматы веры или, если обратиться к первоосновам, логические предпосылки — называйте их как угодно, — все они, вследствие бесконечности всего сущего, являются лишь схематичными карикатурами на невыразимое, тем, чего следует всячески избегать, кроме тех случаев, когда это помогает

сформулировать результаты, — подобно тому как живописцу помогают наброски мелком, а инженеру — чертежи и сечения. Но людям, в силу ограниченности их природы, трудно в это поверить.

Преподобный Элайджа Улисс Кук кивнул со сдержанной улыбкой человека, которому оппонент, сам того не желая, дал фору.

— Прийти к мысли, что идеи отражают сущность вещей, так же легко, как катить бревно. Именно поэтому едва ли не все цивилизованные люди верят в *истинность* геометрических построений древних греков.

— О сэр, прошу прощения, — перебил Кук. — Большинству людей известно, что геометрической точки, как и геометрической прямой, в действительности не существует. Сдается мне, вы недооцениваете…

— Да-да, *это* общепризнано, — спокойно согласился Небогипфель. — Но возьмем, например… куб. Существует ли он в физическом мире?

— Несомненно.

— Мгновенный куб?

— Не знаю, что вы подразумеваете под «мгновенным кубом».

— Существует ли тело, обладающее длиной,

шириной и высотой, но лишенное каких-либо иных расширений?

— А какие еще *могут быть* расширения? — спросил Кук, вскинув брови.

— А вам не приходило в голову, что в физическом мире не может существовать никакой формы, не имеющей временно́й протяженности? Неужели ваш ум не посещала догадка, что человечество отделяет от геометрии четырех измерений — длины, ширины, высоты и *длительности* — лишь инерция мышления, восходящего в своих основах к левантийским философам бронзового века?

— Глядя на вещи подобным образом, — сказал священник, — невольно приходишь к выводу, что в учении о трехмерном универсуме кроется какой-то изъян; *но*...

Он умолк, однако выразительное «но», на котором оборвалась его реплика, весьма красноречиво свидетельствовало о предубеждении и недоверии, переполнявших его мысли.

— Когда, вооружившись этим новым светочем Четвертого Измерения, мы пересмотрим с его помощью нашу физическую науку, — продолжил, немного помолчав, Небогипфель, — то обнаружим, что больше не заперты в безнадежной

клетке нашего времени, не привязаны к своему поколению. Передвижение по оси длительности — навигация во времени — окажется достоянием геометрической теории, а затем и прикладной механики. В давнюю пору люди могли перемещаться лишь по горизонтали и в пределах некоторой, до известной степени замкнутой территории. Над ними проплывали облака — недосягаемые сущности, таинственные колесницы грозных богов, обитавших средь горных вершин. На деле странствия людей той далекой эпохи были ограничены двумя измерениями и вдобавок сдерживались окружающим Мировым океаном и гиперборейским страхом. Однако те времена канули в Лету. Сперва корабль Ясона проложил себе путь через Симплегады[23], а спустя столетия Колумб бросил якорь в бухте Атлантиды. Еще позднее, разорвав путы двухмерности, человек вторгся в третье измерение — вознесся к облакам

[23] Примечания: 23

Отсылка (как и само название повести) к греческому мифу об аргонавтах, которые благодаря хитрости *Ясона* невредимыми проплыли мимо *Симплегад* — сдвигавшихся скал у входа в Понт Эвксинский (Черное море); после успешного прохода «Арго» через опасное место скалы навсегда стали неподвижными.

на монгольфьере[24] и спустился в роскошные подводные кладовые в водолазном колоколе[25]. А теперь пришло время сделать следующий шаг, за которым нас ждут скрытое прошлое и неведомое будущее. Мы стоим на горной вершине — а внизу раскинулись бескрайние равнины веков.

Умолкнув, Небогипфель окинул взором своего слушателя.

В лице преподобного Элайджи Кука читалось выражение сильного недоверия. Длительный проповеднический опыт открыл ему глаза на некоторые истины, и с тех пор он с подозрением относился к пышной риторике.

— Ваши слова — это фигуры речи, или мне следует понимать их буквально? — осведомился он. — Вы говорите о путешествиях во времени в

---

[24] Примечания: 24

Монгольфьер — тепловой аэростат, движимый подъемной силой горячего воздуха; изобретен в 1782 г. пионерами воздухоплавания братьями Жозефом Мишелем (1740–1810) и Жаком Этьенном (1745–1799) Монгольфье. После ряда предварительных испытаний на нем 21 ноября 1783 г. совершили первый демонстрационный полет в окрестностях Парижа французский физик Жан Франсуа Пилатр де Розье и армейский офицер Франсуа Лоран, маркиз д'Арланд.

[25] Примечания: 25

Водолазный колокол — примитивное устройство для спуска человека под воду в виде короба или перевернутой бочки, наполненной сжатым воздухом; первый исторически достоверный случай его применения относится к 1531 г. и связан, как и множество последующих, с поисками затонувших сокровищ.

том же смысле, в каком иной говорит о Всемогущем, пролагающем путь Свой сквозь бурю, — или вы… э-э-э… имеете в виду то, что сказали?

Доктор Небогипфель сдержанно улыбнулся.

— Подойдите и взгляните на эти чертежи, — предложил он и затем принялся как можно проще объяснять новую геометрию четырех измерений.

Теперь, в свете диаграмм и моделей, предъявленных Небогипфелем в подтверждение своих слов, предубеждение Кука мало-помалу стало сходить на нет. Вскоре он поймал себя на том, что задает вопросы и все глубже проникается интересом, по мере того как Небогипфель не спеша и с исчерпывающей ясностью раскрывал великолепное устройство своего необыкновенного изобретения. Время летело незаметно, и, когда доктор перешел к рассказу о своих исследованиях, священник, бросив взгляд на дверной проем, с удивлением узрел снаружи глубокую синеву сгущавшихся сумерек.

— Это путешествие, — сказал Небогипфель, завершая свою историю, — будет преисполнено невообразимых опасностей… даже краткий испытательный полет оказался сопряжен со смертельным риском… но оно сулит и невообра-

зимые — и поистине божественные — радости. Хотите отправиться со мной? Хотите оказаться среди людей Золотого века?..

Однако при упоминании о смерти мысли Кука обратились вспять — к тем жутким ощущениям, которые он испытал при первой встрече с философом.

— Доктор Небогипфель… могу я спросить? — Он помедлил в нерешительности. — У вас на руках… *Это была кровь?*

Небогипфель изменился в лице и медленно произнес:

— Остановив машину, я обнаружил, что по-прежнему нахожусь в этой комнате… *Что это?*

— Это ветер шумит в кронах деревьев по дороге к Рустогу.

— Скорее напоминает гул голосов поющей хором толпы… так вот, остановившись, я обнаружил, что по-прежнему нахожусь в этой самой комнате. За столом сидели старик, юноша и мальчик и читали сообща какую-то книгу. Я стоял позади них, они меня не замечали. «Злые духи искушали его, — читал старик, — но, как тут написано, „тому, кто устоит против них, будет дарована жизнь вечная“. Они приходили как умоляющие друзья, но он избежал всех их козней.

Они являлись под видом ангелов и богов, но он противостал им именем Царя Царей. Говорят, однажды, когда он переводил на немецкий Новый Завет, пред ним предстал самый Сатана…» Тут мальчик испуганно обернулся и, издав испуганный вопль, лишился чувств… Двое других накинулись на меня… Это была схватка не на жизнь, а на смерть… Старик вцепился мне в горло с криком: «Человек ты или дьявол — я поборю тебя…» У меня не было выбора. Мы катались по полу… в моей руке оказался нож, выпавший из дрожащей руки его сына… *Слышите?*

Он умолк и прислушался; в лице Кука, продолжавшего смотреть на него, читался прежний ужас, вызванный воспоминанием о пятнах крови на руках доктора.

— Вы слышите, что они кричат? *Вслушайтесь!*

«Сжечь колдуна! Сжечь убийцу!»

— Слышите? Нельзя терять времени.

«Смерть убийце сирых и убогих! Смерть приспешнику дьявола!»

— Быстрее! Быстрее!

Кук непроизвольно сделал отстраняющий жест рукой и направился к выходу. Толпа черных фигур, озаренных алыми факелами, с ревом ринулась навстречу священнику и вынудила

его отпрянуть. Он закрыл дверь и повернулся к Небогипфелю.

Тонкие губы доктора скривились в презрительной усмешке.

— Если останетесь, они убьют вас, — сказал он и, обхватив запястье безвольно повиновавшегося гостя, силой увлек его к сверкавшей металлом машине. Кук сел и закрыл лицо руками.

В следующий миг дверь распахнулась и на пороге, моргая, застыл старый Причард.

Тишина. Затем — хриплый вскрик, тотчас перешедший в резкий, пронзительный вопль.

Громоподобный рев, похожий на грохот вырвавшегося на свободу мощного потока воды.

Полет «Арго Времени» начался.

Как окончилось путешествие? Почему Кук рыдал от радости, когда возвратился в девятнадцатый век? И почему Небогипфель не вернулся с ним? Все это (и многое другое) было предано бумаге, и в зависимости от того, как распорядится Судьба, об этом в свое время прочтет — или не прочтет никогда — любознательный читатель.

1888

Служитель искусства

Перевод С. Антонова.

Алек услышал, как его жена заиграла, бросил кисти и подошел к креслу, стоящему возле старомодного кабинетного рояля. Это было широкое, обитое бархатом кресло, в котором ему приходилось сидеть, заложив руки за голову и блаженно бездельничая, если он вообще хотел там сидеть, — кресло, *принуждавшее* человека чувствовать себя совершенно непринужденно, отдаваться во власть Морфея и опиумного дыма.

Необыкновенно мелодичная игра Изабель была исполнена силы, в равной мере заключавшейся в ее пальцах и ее душе; она исполняла какой-то отрывок из Вагнера[26], что-то трудноуловимое, переменчивое — и неизменно притягательное, как сама жизнь. Расположившись в этом кресле и слушая ее, он как будто внимал пению сирен;

---

[26] Примечания: 26

Вильгельм Рихард *Вагнер* (1813–1883) — немецкий композитор, дирижер, автор монументальных музыкальных драм, теоретик и историк искусства, музыкальный критик; крупнейший реформатор оперы, оказавший огромное влияние на европейскую музыкальную культуру.

существование становилось… так сказать, «одухотворенным», неожиданно освобожденным от всех будничных забот и привычного хода вещей.

Весь день Алек ломал голову над выражением одного никак не удававшегося ему лица и всякий раз при попытках определить, воспримет ли красоту этого лица заурядный наблюдатель, ощущал, как образ выцветает и истончается, словно крылья пойманной бабочки; а тут представилась восхитительная возможность ускользнуть от технической трудности. Он с радостью убежал от действительности и ныне блуждал — уже не смертный человек, а вновь бессмертная душа — в царстве воображения, с подобающей нетленному духу смелостью вторгаясь в неизведанные миры. День напролет он работал, развивая свой замысел рыцарского бдения, и, пока Изабель играла анданте, музыка наполняла его мысленный взор видениями темно-лиловых теней в загадочных храмах, одиноких красных огней перед призрачными алтарями, тусклых отблесков, едва различимых фигур в белых одеждах, молитв и благоговейного трепета — все было смутным, но безмерно прекрасным. Теперь же из-под ее белых рук вырывалось стремительное

аллегро[27], и это незаметно оживило его фантазию. В затененные приделы его сознания одна за другой проследовали процессии; факел разогнал сумрак и стал гореть бледнее в свете дня; фигуры все прибывали и прибывали, сбиваясь в толпу; исполненные величия священники и воины, все более многочисленные, более молодые, более оживленные, безостановочно запруживали сцену — до тех пор, пока храмы, алтари, шествия не потонули, утратив всякий стройный порядок, в хаотичном танце торжествующих рыцарей и дам, пастухов и пастушек, шутов, уродцев, полишинелей, жуков-огнецветок, людей, в конце концов подхваченных водоворотом ангельских созданий, чертенят, карликов, фейри, сатиров, гамадриад, гарпий и ореад. Все быстрее и быстрее кружили они в танце, напоминая причудливый калейдоскоп. Внезапно по толпе, точно известие о чьей-то смерти по бальной зале, пронесся трепет — собравшихся поглотила тьма — музыка умолкла.

— Алек, — сказала Изабель, — ты засыпаешь; ты отчетливо всхрапывал, пока я играла.

---

[27] Примечания: 27

Анданте, аллегро — названия музыкальных темпов, в переводе с итальянского означающие соответственно «умеренно», «не спеша» и «быстро», «стремительно».

— Ничего подобного, дорогая, я и не думал спать! Я просто закрыл глаза, дабы насладиться музыкой и поразмыслить над маленькой композиционной проблемой, — возразил он, чувствуя себя несколько уязвленным.

Изабель отвернулась от рояля, и Алек, не желая, чтобы недоразумение повторилось (она всегда думала, что он спит или нездоров, когда им завладевали грезы), открыл глаза так широко, как только мог, и немигающим взглядом уставился на нее.

— Алек, дорогой, не смотри так! Ты заболел? Или что-то угрожает моей прическе?

У Изабель были вьющиеся темно-каштановые волосы, того оттенка, который в косом свете отливает золотом. В этот вечер они слегка своевольничали (так сама Изабель это называла), и вокруг ее головы виднелось множество маленьких золотистых завитков, которые, расплываясь в янтарном сиянии стоявшей рядом лампы, создавали подобие яркого гало.

— Разве что сильфы, дорогая Белинда[28], —

[28] Примечания: 28

Отсылка к поэме английского поэта-классициста Александра Поупа (1688–1744) «Похищение локона» (1712/1717), в которой красавицу *Белинду* охраняют от опасностей и превратностей судьбы *сильфы* (духи воздуха) во главе с Ариэлем.

ответил Алек, скрывая легкое раздражение за видимой беспечностью. — А что, мой взгляд смущает тебя?

Изабель вновь заиграла, задумавшись.

— Я не хочу, чтобы на меня таращились, как на болванку для париков, — сухо изрекла она наконец. — Но ты можешь смотреть, если нравится.

И Алек продолжил смотреть — впрочем, с тщательно подавляемой яростью — на нимб вокруг ее головы и затененное лицо.

«Славное у нее лицо, — размышлял он. — Мягкие черты, кроткий взгляд; из тех бледных лиц с темными глазами, которые, быть может, и не поражают красотой, но бесконечно прекрасны в своей выразительности, лицо, на которое никогда не надоест смотреть, покуда продолжается жизнь, — и все же…»

Алек очень любил жену — несравнимо больше, чем себя или какое бы то ни было другое достойное любви создание, и все же… Это маленькое «и все же», это единственное роковое «но» сей же миг во всей своей ясности явилось на ум Алеку, внушенное нотками вульгарности, которые прозвучали в первых словах супруги, и, возможно, усиленное скрытой досадой на тот дух, что пронизывал теперь ее игру. Изабель, подумалось

ему, была силой, враждебной искусству.

Алек был художником не только по профессиональному призванию, но и по душевному влечению; и как раз сейчас он неотступно размышлял о том, что величайшая его любовь находится не в этой уютно освещенной комнате, а в смежной с нею полутемной мастерской и что для человека, который женат на вечном Искусстве, обычный брак — непростительная ошибка, даже, пожалуй, что-то вроде двоеженства. Всеведущему читателю следует знать, что незадолго до описанной выше сцены Алек перелистывал томик Алджернона Суинберна[29], это дитя фантазии; к данному обстоятельству прибавились допущенные Изабель уничижительные переходы от игры воображения к храпу и от окруженных сильфами голов к болванкам из парикмахерской, а также тоскливая музыка (она теперь и впрямь сделалась тоскливой), — и все это сложилось в его сознании в одну общую картину. Собственно говоря, это была одна из тех тягостных минут недовольства семейной жизнью, какие вовсе не редкость у недавно женатых мужчин, наделенных умеренным умом и неумеренными

[29] Примечания: 29

Алджернон Чарльз *Суинберн* (1837–1909) — виднейший английский поэт Викторианской эпохи.

амбициями, — особенно если такой мужчина провел несколько дней в плохо продуманных и бесплодных трудах. Жена Алека считала, что мирские заботы и невзгоды умеряют людское самолюбие. Он же полагал, что «ars longa, vita brevis»[30], — идея не новая и не оригинальная, из лексикона прописных истин; и вот он, художник, укорачивает свою жизнь, мало-помалу врастая в семейный уклад! Среди прочих одинаково пронзительных изречений ему вспомнились слова Мильтона о «таланте, зарыть который — равносильно смерти»[31]. Смерть! Утрата бессмертия! Неужели он обречен упускать моменты, предназначенные для творческого испытания? Долой такие мысли! В эту минуту он казался себе новым Мерлином, подпавшим благодаря музыке и мягкому креслу под чары новой Вивианы[32];

---

[30] Примечания: 30

Здесь: «Искусство вечно, жизнь коротка» *(лат.)*, инверсия крылатого латинского выражения «Vita brevis, ars longa» («Жизнь коротка, искусство обширно») — начала латинской версии изречения древнегреческого врача и естествоиспытателя Гиппократа.

[31] Примечания: 31

Цитата из сонета английского поэта Джона *Мильтона* (1608–1674) «О своей слепоте» (1652/1655, опубл. 1673; ст. 3).

[32] Примечания: 32

Мерлин и *Вивиана* (Дева Озера) — волшебные персонажи из английских сказаний и европейских рыцарских романов о полулегендарном короле бриттов Артуре (V — начало VI в.).

он, способный создавать неотразимо прекрасные полотна, тратил мгновения и часы на то, чтобы радоваться и быть в радость жене, которая низводила *его* на уровень болванки для париков.

Не позволить этому мгновению длиться было долгом Алека перед Искусством, которое имело над ним высочайшую власть. Он вернется к своему истинному призванию. И, не успев толком обдумать это решение, из смутного недовольства, которое в нем бродило, он принялся действовать.

Не рискнув бросить взгляд на жену, он поднялся и проследовал прямиком в мастерскую; когда он закрыл дверь, музыка внезапно умолкла и до него донесся шорох платья Изабель.

Алек зажег лампу с цилиндрическим фитилем, рассеивавшую вокруг ровный белый свет, и повернулся к картине.

В этот момент он услышал за спиной скрип тихо открывающейся двери, обернулся и увидел, как Изабель, вероятно вообразившая, что ему нездоровится, с тревогой заглядывает внутрь. Впрочем, внезапное раздражение, написанное у него на лице, заставило ее скрыться и бесшумно затворить дверь.

Мысли Алека непрестанно вращались во-

круг молодого итальянца с тонкими бледными чертами, подвижными губами и блестящими глазами, которому предстояло превратиться в рыцаря, несущего ночную стражу. Впервые увидев юношу, художник был поражен пылкостью, сквозившей в его взоре. Он как влитой подходил на роль персонажа будущей картины. Алеку стоило лишь сказать: «Стань на колени. Прими благоговейный вид», тут же, не сходя с места, набросать эскиз — и дело было бы сделано. Однако в этот день, работая над портретом рыцаря, он испытал удивление и досаду, когда обнаружился любопытный феномен, проявлявшийся наперекор его усилиям. Алек старался запечатлеть облик молодого итальянца как можно точнее (что давалось ему с небывалым дотоле трудом) — но каким-то необъяснимым образом на полотне все отчетливее вырисовывался человек зрелых лет, со странно-зловещим выражением лица, исполненным не благоговения, а скрытой насмешки. Не понимая, как совладать с этим, Алек с радостью отложил переделку картины, чтобы послушать игру жены. Теперь же, под вечер, он вознамерился предпринять новую попытку одолеть возникшее препятствие, на сей раз игнорируя различия в оттенках цветов, — и выйти

победителем.

— Кое-какие неточности еще остаются, — заключил он. — Возможно, брови чересчур раскосы. — С этими словами он направил свет лампы прямо на полотно и вновь взялся за палитру и кисти.

Лицо на холсте определенно выглядело так, словно жило собственной жизнью. Алек никак не мог понять, откуда исходит такое дьявольское выражение. Нужно было проверить это опытным путем. Брови? Едва ли. Однако он их изменил. Нет, лучше не стало — скорее наоборот, облик человека на портрете сделался еще более сатанинским. Углы рта? Брр! Ухмылка из мефистофелевски-глумливой превратилась в откровенно зловещую. Может быть, глаз? Катастрофа! Целясь в коричневую краску, он каким-то образом ткнул кисть в киноварь. Теперь глаз как будто повернулся в глазнице и уставился на него, сверкая огнем. В порыве гнева Алек ударил по картине кистью, полной красной краски; и тогда произошло нечто в высшей степени любопытное и странное — если, конечно, произошло.

Демонический итальянец закрыл глаза, поджал губы и стер рукой краску с лица.

Затем красный глаз опять открылся, и лицо на

картине улыбнулось.

— Слишком уж вы вспыльчивый, — сказал портрет.

Как это ни удивительно, Алек не ощутил ни страха, ни сколь-либо сильного изумления — возможно, потому, что был сверх меры разозлен.

— Почему вы все время дергаетесь, гримасничаете, ухмыляетесь и щуритесь, пока я вас пишу? — спросил он.

— Вовсе нет, — возразил портрет.

— Именно так, — настаивал Алек.

— Все это делаете *вы*, — продолжал портрет.

— Нет, не *я*! — заспорил Алек.

— Нет, вы, — упрямо повторил портрет. — И не вздумайте снова заляпать меня краской, потому что сказанное — чистая правда. Весь день вы пытались наобум придать моему лицу удачное выражение. Воистину, вы и понятия не имеете, как должна выглядеть ваша картина.

— Имею, — запротестовал Алек.

— Не имеете, — решительно гнул свое портрет. — И прежде никогда не имели. Всякий раз вы приступаете к работе с самыми туманными представлениями о том, чего хотите добиться. Вы уверены лишь, что это должно быть нечто прекрасное, или благочестивое, или трагиче-

ское, — но во всем остальном полагаетесь на случай. Дорогой мой, неужели вы думаете, что можно писать картины подобным образом?

Алек почувствовал, что этот упрек во многом справедлив.

— Что же мне тогда делать?

— Обретите вдохновение.

— Но я думал, что это и было вдохновение!

— Как же! — Портрет сардонически усмехнулся. — Всего-навсего фантазия, что пришла вам в голову, когда вы увидели, как шарманщик смотрит на ваше окно! Ночное бдение! Ха-ха!

Алек застонал.

— Так и есть! Я женат. Дни вдохновения миновали. О, если бы обратить время вспять! Я отдал бы все на свете, только бы вернуть вдохновение, освободиться от унылой домашней жизни, которую веду с недавних пор. Я… я мог бы отдать душу ради искусства!

— Как пожелаете, — ответил портрет, и затем воцарилось безмолвие.

— Эй! — воскликнул Алек; внезапно осознав, с каким хладнокровием только что принял на веру столь необыкновенный феномен, он ощутил неловкость. — Вы что-то сказали? — спросил он после паузы. — Я говорю… Вецетти… или как там

вас… вы что-то сказали?

В тишине он мог слышать стук собственного сердца. Картина хранила молчание, только красный глаз горел как раскаленный уголь.

Он очень медленно приблизился к картине и провел рукой по красочному слою. Вне всяких сомнений, краска — просто краска. Должно быть, он задремал. Ему довелось прочесть много научной литературы о галлюцинациях и прочих подобных явлениях, и потому он не был сильно напуган; и все же… Он чувствовал на себе взгляд красного глаза, но тот оставался совершенно невозмутим.

— Вы желаете сказать еще что-то? — спросил Алек, демонстративно смешивая все краски на палитре. — Потому что, если нет…

Тык, тык, тык — принялся он тыкать кистью в холст, мазок за мазком торопливо закрашивая это раздражающе смелое на язык создание. Некоторая заминка вышла с устранением красного глаза: он, казалось, продолжал алеть сквозь слои краски, которые наносились поверх него. Наконец, выдав что-то вроде подмигивания, исполненного затаенной иронии, пропал и он.

Все пятна и мазки, все изгибы и контуры несносной фигуры на полотне скрылись из виду. Алек

с облегчением отступил от картины. «До чего ж я суеверен», — в нерешительности думал он, тщательно осматривая уничтоженный портрет. И вдруг в бессмысленной мазне ему почудились какие-то очертания.

— Боже мой! Вот и идея! — воскликнул он и, сложив пальцы в подобие рамки, поднес их к самым глазам.

Он услышал тихий стук в дверь. Это была жена. Через несколько мгновений дверь отворилась, но он не обернулся.

— Алек, — произнесла она, — ты знаешь, который час?

Ответа не последовало.

— Уже почти полночь, Алек.

Снова никакого ответа.

— Алек, ты собираешься писать всю ночь?

— О да! Да! — отозвался он, не оборачиваясь, и из-за резкости тона его слова прозвучали едва ли не бранью; когда же, ощутив легкое чувство вины, он оглянулся, Изабель уже ретировалась.

Это и в самом деле была блестящая идея, да что там — Алека как будто внезапно озарило вдохновение свыше! Изгибы наверху напоминали сходящиеся своды крыши; внизу смутным пятном темнел рыцарь, стоявший на страже;

а посредине, в том белом пространстве, которое Алек интуитивно искал с самого начала, расположились неусыпно бдящие духи Рыцарства, Благородства, Чистоты и Веры. Замечательный по форме и колориту, этот замысел явился ему во всей ясности зримого материального образа. Не прошло и минуты, как он уже лихорадочно готовил краски. Рассвету предстояло застать работу в разгаре.

Он трудился как одержимый, когда в глухой ночи жена снова постучала ноготками в дверь мастерской. Сделав шаг назад, чтобы оглядеть полотно, он увидел, что она стоит на пороге в белой пижаме.

— Алек, — сказала она, — уже четыре часа утра. Ты так вконец себя загонишь.

— Прочь отсюда! — грубо приказал он и, пока жена поспешно удалялась по коридору, подошел к двери, захлопнул ее и запер на ключ. Ему почудилось, что он слышит плач Изабель; но в этот момент взгляд Алека упал на рождавшуюся его усилиями картину, и он забыл обо всем прочем.

Когда свет лампы с цилиндрическим фитилем сделался желтым в бледных солнечных лучах, хлынувших в комнату, Алек все еще продолжал самозабвенно работать. Значительная часть

картины была вчерне завершена; она уже смотрелась великолепно.

Что это? Стук в дверь.

— Войдите.

Однако дверь была заперта. Не отводя глаз от холста, Алек отворил ее и услышал голос Лиззи, младшей служанки.

— О сэр, с вашего позволения, хозяйка прислала меня сказать, что она больна и просит вас прийти к ней.

— Больна? — повторил Алек, возвращаясь к картине и нанося на холст немного пурпурной краски.

— Ночью она поскользнулась на ступеньках лестницы, сэр, и утром у нее ужасно разболелись бок и спина, сэр.

— Это залитое лунным светом окно превосходно, — произнес Алек, задумчиво продолжая работать кистью. — А… Лиззи!

— Слушаю, сэр.

— Принеси мне кофе и сэндвич.

И, напрочь забыв о болезни жены (новость, которую он, по правде говоря, едва расслышал), Алек вернулся к своему грандиозному замыслу, сосредоточившись на обманчиво однотонных фигурах молящихся, стоящих в окнах, и на над-

гробных изваяниях, призванных создать эффект глубокого безмолвия вокруг бодрствующего рыцаря. На него наконец снизошло подлинное, несомненное вдохновение. Прежде он опасался, что его задумка выльется в нечто столь же безжизненное, как те несусветные полотна на сходные сюжеты, которые собраны в зале Чантри Южно-Кенсингтонского музея на радость незадачливым потомкам. А теперь его полотно по богатству деталей и силе красок было достойно кисти Тициана, по гармонии линий — кисти Лейтона[33] или Рафаэля. Этот замысел был утренней зарей его славы. Трудиться, трудиться, трудиться — две недели, возможно, три, и затем наступит заря бессмертия!

Час проносился за часом, творение Алека мало-помалу превращалось в шедевр. По мере того как продвигалась работа, Алек, казалось, утратил всякую способность испытывать утомление: он не ощущал ни голода, ни жажды. Картина завораживала его все сильнее и сильнее; наружные впечатления становились все глуше и глуше. Он смутно припоминал каких-то людей, отвле-

[33] Примечания: 33

Фредерик *Лейтон* (1830–1896) — английский живописец и скульптор, представитель салонного искусства поздневикторианской поры, близкий к прерафаэлитам.

кавших его несообразными речами о болезни жены и тому подобных глупостях; лампу, заново зажженную и вскоре опять начавшую угасать на фоне снопа красных искр, поднявшегося над очагом; переполох в доме, который он поднял, чтобы раздобыть для нее керосин; прислугу, отчаянно пытавшуюся его успокоить; остановившиеся часы; сон урывками прямо в одежде, на полу возле мольберта. Но все эти воспоминания были неотчетливыми и спутанными и напоминали скорее мимолетные обрывки сновидения, нежели реальные события. Единственной связной идеей, давшей единственный плод, великолепный и естественный, была Великая Картина — все более прекрасная, все явственнее обретавшая черты совершенства.

Это рождение безупречного шедевра, сопровождавшееся вдохновенными паузами, было поистине величественным. Дни пролетали незаметно; трижды гасла лампа. Алек мог сказать, что его жизнь достигла своей наивысшей точки, — если бы не бледные, но настойчиво повторявшиеся видения несчастья, которое произошло с Изабель, и не воспоминания о красноглазой фигуре, одолевавшие его в недолгие часы забытья. И то и другое вносило зыбкую тревогу в экстатическое

блаженство чистого искусства, которым он жил.

— Ваша жена опасно больна; падение повредило ее внутренние органы. Она может умереть.

— А? Что? А, это вы!

Перед ним стояла мать его жены, за ее спиной маячил доктор. Оба смотрели на Алека с нескрываемым ужасом в глазах. Но он не придал этому значения. В последние несколько дней все вокруг выглядели странно.

— Она умирает, — мрачно произнес доктор.

— Умирает? Она? О ком вы говорите? — Алек опять подошел к картине и с нежностью прикоснулся к поверхности холста.

— О вашей жене.

— О моей жене… Доктор, какое сегодня число?.. Бдение… Доктор, не уходите, не взглянув на мою картину. Так какое, вы говорите, число нынче?.. А! Стало быть… да, самое время выставить ее в Академии![34] — Он не мешкая выскочил на лестничную площадку и прокричал: — Лиззи!

— Ради бога, дружище, тише! Вы же не хотите ее убить?

---

[34] Примечания: 34

Имеется в виду Королевская академия художеств — национальная ассоциация британских художников, расположенная в *Берлингтон-хаусе* (палладианской резиденции графа-архитектора Берлингтона) на улице Пиккадилли в лондонском районе Вестминстер; основана в 1768 г.

— Убить? Что за вздор! Мне нужен кеб. Бдение завершено!

Драгоценная картина! Он должен сам снести ее вниз. Как тихо в доме! На лицах двух слуг, стоявших в дальней части холла, запечатлелся благоговейный трепет. Совершенство уже начало свое триумфальное шествие. *Теперь* они, несомненно, понимают, что он гений. Скоро это поймет и остальной мир.

Он уже садился в кеб, когда доктор с побелевшим лицом показался на пороге дома, спустился с крыльца, схватил Алека за руку и что-то заговорил.

— Вы идиот! Отпустите мою руку!

Затем кеб покатил в сторону Берлингтон-хауса. Алек любовно разглядывал картину, держа ее на коленях.

Она смотрелась прекрасно, хотя освещение было тусклым. Казалось, что… да, свет струился сквозь нее; промасленный холст стремительно обретал прозрачность. Происходящее было поистине странно и, по правде сказать, неприятно. Портрет, который он замалевал, вновь проступил наружу — со всеми изначальными мазками и пятнами. Потом из-под него стало пробиваться то, что Алек так старался скрыть: сперва возникло

алое мерцание, за ним показались едва заметные контуры. Глаз на зловещем лице с каждой секундой горел все ярче, как будто хотел выжечь всю ту красоту, ради которой Алек работал. Да! Это была та самая дьявольская красноглазая фигура — она торжествующе ухмылялась, после чего со смехом произнесла:

— Как видишь, я все еще здесь.

— Кто?.. Что? — выдохнул Алек и умолк, открыв рот.

— Вот теперь ты целиком посвятил себя искусству. Дружище, ты понял, что сказал тебе доктор?

Хрясь!

…Некоторое время все было как в тумане, даже уверенность в том, кто он такой, несколько пошатнулась. Алек видел, что лежит с раздавленной рукой среди обломков кеба, налетевшего на подводу с бревнами, и ощущал боль и покалывание в ране. Он также заметил, что великая картина безнадежно повреждена (в ней зияла огромная дыра, странным образом повторявшая очертания жуткой красноглазой фигуры), а потом задался вопросом: «Где я сейчас?»

Дальше — резкий переход: больничная палата. Вероятно, какое-то время он был без сознания.

Алек услышал, как медсестра с грубоватым лицом сказала другой:

— Руку придется ампутировать.

Он разом лишился руки и картины — обманчивая мечта о бессмертии растаяла, не оставив следа. Его охватили горечь и скорбь, захотелось утешения и покоя. С острой тоской он вспомнил о жене, о ее нежных прикосновениях, чутком взгляде и ласковом голосе. Страшная боль пронзила его — он словно наяву услышал слова доктора: «Во имя благопристойности вернитесь — она мертва». Наваждение, во власти которого он находился, миновало. Что он отринул, погнавшись за призраком славы? О, какая низость, какое безрассудство, какая безумная неблагодарность! Что за сила смогла принудить его к этому, что за демон сумел подчинить его своей воле?

— Тебя посетило вдохновение.

Алек повернул голову. Возле койки, скрестив руки и зловеще ухмыляясь, стоял красноглазый человек — творение его кисти.

Алек хотел было закричать, но обнаружил, что онемел; хотел соскочить с койки, но тело его не слушалось.

— Ты мечтал испытать вдохновение. Искусство несовместимо с семейными добродетелями. Твоя

жена мертва; ты обрек ее на смерть, когда отдал душу ради искусства.

— Отдал душу ради искусства?

— Да. Ха-ха! Как жаль, что ты лишишься руки!

И тут красноглазый человек уселся верхом на Алека и уставился единственным сверкающим оком на свою собственность.

— Зачем ты породил меня? — спросил он.

Его дыхание, отдававшее серой, обжигало Алеку ноздри и рот, а рука опять саданула неимоверной болью, точно в нее разом воткнули тысячу раскаленных игл.

— О жена моя! Я умираю!

— Не стоит звать жену; ты принадлежишь *мне*, — прошипел демон, склонившись к его лицу. — Послушай! — продолжал он с жестокой неторопливостью. — Когда художник создает образ, не вкладывая в него душу, иначе говоря, не имея ясного представления, что он хочет выразить, когда он пишет бесцельно и бездумно, надеясь, что его произведение случайно осенит некий дух, — дух иногда и в самом деле его осеняет. Именно так я вошел в твою картину, и ты знаешь, какую сделку я с тобой заключил.

Это было ужасно. Демон оказался тяжелым как камень, его дыхание обжигало Алеку ноздри.

Но горше всех убийственных мук, от которых он страдал, горше даже, чем страх и боль, было чувство вины перед женой. Он пожертвовал ею ради искусства — а может ли искусство сравниться с ее всеохватной любовью и нежностью? Его недолгая жизнь с нею, сотни мелочей, о которых он успел позабыть, в мгновение ока всплыли в его памяти — с горькой безнадежностью мимолетного видения пери в небесах.

— Жена моя, — воскликнул он, — жена моя!

Демон вновь склонился к нему и прошептал:

— Умерла, умерла.

Затем он распростер над головой что-то черное — плащ? или это было крыло?

Все пребывало во мраке, как на том свете. У Алека возникло ощущение, что он стремглав падает в темный бездонный колодец. Что это было — умирание? Или он уже умер? Казалось, его засасывает в гигантскую черную воронку, в какой-то нескончаемый водоворот. Нет никакой надежды?

Внезапно разлитое в пустоте оглушительное безмолвие прорезал призыв его жены:

— Алек!

Он обратил взор вверх и увидел, что Изабель, окутанная лучезарным светом, смотрит на него

с неизмеримой высоты и взгляд ее полон беспредельного сострадания и прощения. Алек протянул к ней руки, хотел окликнуть ее, однако голос не слушался. И тогда он осознал, какая непреодолимая пропасть навсегда разлучает со счастьем и красотой того, кто пренебрег любовью.

Вниз, вниз, вниз!

— Алек! Алек, очнись!

Он сидел в старом, обитом бархатом кресле возле рояля, а над ним склонилась жена. Он заморгал, как филин. Потом почувствовал покалывание в левой руке.

— Я что, уснул? — спросил он.

— Ну разумеется. Я увидела, как ты опять клюешь носом, и подумала, что не надо тебя будить, поэтому перестала играть и вышла. Впрочем, мне следовало догадаться, что стоит Лиззи уронить поднос на лестнице — и ты проснешься.

— Значит… — произнес Алек, потирая глаза, покуда вставал с кресла, — значит, вот что произошло, когда разбился кеб!

— Ты нынче очень нежный, — заметила жена чуть погодя, когда они спускались на первый этаж.

— Дорогая, я виноват перед тобой и раскаиваюсь в том, что позволил никчемной фантазии

встать между нами.

И с этого дня он вновь сделался «очень нежным» мужем.

1888

В духе времени
История неразделенной любви

Перевод Н. Роговской.

Искушенный читатель, несомненно, слышал имя Обри Вейра. Вейр издал три сборника интимной лирики — подчас даже слишком интимной, — и его колонка «О делах литературных» в «Клаймаксе» пользуется широкой известностью. Байроническая физиономия поэта украшает интервью, напечатанное в «Настоящей леди». Этот тот самый Обри Вейр, который убедительно доказал, что Диккенс-юморист проигрывает Диккенсу-сентименталисту, и обнаружил у Шекспира «налет буржуазности». Однако читатели пребывают в досадном неведении относительно эротических истоков вдохновения Обри Вейра. Некоторое время назад он избрал своим литературным прототипом Гёте, и, возможно, это отчасти извиняет его временное невнимание к столь важному аспекту творческой личности, как сексуальность.

А между тем общеизвестно, что любовные

похождения таят в себе главную опасность для литератора и одновременно питают наш интерес к нему. Иначе что бы мы наблюдали? Гладкую скалу респектабельной жизни пиита — никаких оползней, никаких живописных эффектов. Свойственное творческой братии непостоянство сердечных привязанностей, располагающееся на шкале пороков рядом с жадностью и определенно выше пьянства, зовется гением или, более развернуто, как в случае Обри Вейра, осознанием гениальности. Следуя моде, которую завел еще Шелли, всякое молодое дарование свято верит в то, что его долг перед самим собой и его долг перед женой — вещи несовместимые[35], и в своем ниспровержении мещанской морали заходит настолько далеко, насколько хватает средств и смелости. Что есть добродетель, как не отсутствие воображения? И вообще, назвался поэтом — будь любезен соответствовать эталонному образу, и я не знаю ни одного рифмоплета, в чьих любовных делах не творился бы полный кавардак, — и ни одного, кто время от времени не изливал бы свои

[35] Примечания: 35

Намек на приверженность английского поэта-романтика Перси Биши *Шелли* (1792–1822) идее «свободной любви», вылившуюся в своего рода тройственный союз между ним, его гражданской женой Мэри Уолстонкрафт Годвин (более известной ныне как Мэри Шелли) и ее сводной сестрой Джейн Клер Клермонт.

амурные невзгоды в сонетах.

Даже Обри Вейр не остался в стороне: иногда он ночь напролет ронял слезные сонеты в свой промокательный блокнот, притворяясь, будто спешно сочиняет очередную «литературную беседу», — если жена спускалась в шлепанцах узнать, отчего он так засиделся. Надо ли говорить, что жена его не понимала? Причем сонеты он кропал еще до того, как в его жизни появилась другая женщина, — просто тяга к супружеской измене естественна для творческой души. Вернее, до того как появилась другая женщина, он написал больше сонетов, чем после, потому что после он все свободное время занимался подрезкой и подгонкой старых заготовок, перешивая, если можно так выразиться, скроенное по универсальному лекалу платье своей романтической страсти — с учетом индивидуальных особенностей роста и комплекции новой пассии.

Обри Вейр жил в небольшой вилле из красного кирпича; позади — лужайка, спереди — вид на холмы, убегающие вдаль от Райгейта[36]. Жил он на доход от неафишируемого капитала, понемногу сколоченного литературным трудом. У него

---

[36] Примечания: 36

Райгейт — см. примеч. на с. 170.

была красивая, славная, добрая жена, которая (как повелось у любящих и добропорядочных жен, скромно отступающих в тень) не искала в жизни другого счастья, кроме заботы о том, чтобы у ее маленького Обри Вейра всегда была на столе разнообразная вкусная домашняя еда и чтобы дом их был самым ухоженным и нарядным из всех известных им домов. Обри Вейр отдавал должное жениной стряпне и гордился своим домом, а все ж его снедала тоска, ведь его творческий дар чахнул без стимула. К тому же Обри Вейр начал полнеть, того и гляди превратится в толстячка.

В страдании мы сами познаем ту истину, что в назидание другим поём[37], и Обри Вейр твердо знал, что его душа не родит добрый урожай, покуда его чувства остаются непаханой целиной. Но попробуй вспахать поле чувств в целомудренном Райгейте!

Короче говоря, романтические чаяния Обри Вейра не находили опоры в окружающей действительности — так высаженный посреди цветочной клумбы росточек вьюна напрасно ищет, за что ему зацепиться. И вот наконец

---

[37] Примечания: 37

Раскавыченная и несколько вольная цитата из поэмы Шелли «Юлиан и Маддало» (1818, опубл. 1824, ст. 546).

долгожданное чудо в лице «другой женщины» свершилось и сердечные усики Обри Вейра жадно обвились вокруг нее.

Далее следует правдивое изложение событий, составляющих самый яркий романтический эпизод в жизни и творчестве Обри Вейра.

Его «другая женщина» была совсем молоденькая девушка, с которой он познакомился на теннисном корте в Редхилле[38]. Обри Вейр прекратил играть в теннис после неприятности с глазом мисс Мортон; кроме того, в последнее время он стал пыхтеть и потеть, а это не красит поэта. Упомянутая юная леди только недавно прибыла в Англию и не умела играть. Оба естественным образом откочевали к двум свободным плетеным креслам перед кустами мальвы и по соседству с глухой теткой миссис Бейн, и между ними завязалась непринужденная беседа.

Имя у другой женщины было малообещающее — мисс Смит, — хотя ее лицо и одежда отнюдь этого не предполагали. Зато с ее происхождением все было в порядке: мать — индуска, отец — чиновник британской колониальный админи-

[38] Примечания: 38

Редхилл — городок в самоуправляемом районе (боро) Райгейт и Банстед (см. примеч. на с. 170).

страции в Индии[39], и оба уже умерли. Сам Обри Вейр, в котором счастливо смешалась кельтская и тевтонская кровь (именно эта смесь рекомендуется ныне всем претендующим на лавры литератора), просто не мог не верить в благие последствия от смешения рас для судеб изящной словесности. Девушка была во всем белом. Красиво очерченное, выразительное бледное лицо с темно-карими глазами под облаком вьющихся черных волос, а во взгляде, устремленном на Обри Вейра, — любопытство пополам с робостью… Обворожительный взгляд, особенно по контрасту с пресловутой «прямотой» заурядной райгейтской девицы.

— Отличный корт — лучший в Редхилле, — заметил Обри Вейр для поддержания разговора. — Мне нравится, что здесь не выпалывают ромашки. — И он грациозно повел своей довольно изящной рукой в сторону ромашек.

— Очаровательные цветы, — согласилась леди в белом. — Всегда ассоциировались у меня с Англией — может быть, из-за картины, которую я

[39] Примечания: 39

В 1858 г., после подавления восстания сипаев (солдат, рекрутированных из местных жителей), Индия стала британской колонией, в которой был установлен прямой административный и военный контроль со стороны короны, и оставалась ею до 1947 г.

видела «еще там», когда была маленькой: на ней дети сплетали венки из ромашек. И я мечтала, что, когда приеду на родину, доставлю себе такую же радость. Увы! Боюсь, я выросла из детских забав.

— Не понимаю, почему нужно отказывать себе в невинных радостях, когда становишься взрослым!.. Почему взросление непременно подразумевает забвение? Лично я…

— Ваша жена взяла у Джейн рецепт фаршированной форели? — внезапно подала голос глухая тетка миссис Бейн.

— Понятия не имею, — ответил Обри Вейн.

— Очень вкусно, — заверила глухая тетка миссис Бейн. — Даже вам понравится.

— Мне все нравится, — сказал Обри Вейр, — я не привередлив…

— Очень вкусно, говорю вам! — повторила глухая тетка миссис Бейн и вновь впала в прострацию.

— Да, так я о том, — продолжил Обри Вейр, — что мне до сих пор самое большое удовольствие доставляют детские забавы. У меня есть маленький племянник, мы с ним вместе запускаем воздушных змеев — и еще неизвестно, кто больше радуется, он или я! Кстати, вот вам удобный

способ претворить в жизнь мечту о венках из ромашек: уговорите какую-нибудь девочку пойти с вами.

— Этот способ я уже испробовала. Взяла на прогулку по лугам девчушку Мортонов и невзначай затронула тему цветов и венков. Так она отчитала меня, мол, негоже тратить время на «разные глупости». Представляете, какое разочарование!

— Это все гувернантка — лишает ребенка детства, обкрадывает его самым возмутительным образом! — прокомментировал Обри Вейр. — А какая жизнь без детства? Некоторые люди никогда не были детьми и, соответственно, не способны повзрослеть, — пустился он в рассуждения. — Их жизнь совершенно бесцветна. Они как… как растения, выросшие без света. Они не знают любви — и не страдают от ее утраты. Они… сейчас мне не приходит в голову лучшего сравнения… они как цветочный горшок, в который забыли посадить душу. Но чтобы человеческая душа нормально развивалась, ей на первых порах необходима живая непосредственность, ребячливость.

— Да, — задумчиво произнесла темная ле-

ди[40], — беззаботное детство, практически никаких ограничений — делай что хочешь! Таким должно быть начало жизни.

— А после — через волшебство и неуверенность юности…

— …к воле и действию, — закончила за него темная леди. Она не сводила мечтательного взора с холмистых далей Даунза, но при этих словах ее сцепленные на коленях пальцы сжались сильнее. — Ах, жизнь прекрасна — жизнь мужчины… человека свободного, самодостаточного!

— Ну и наконец, — подсказал ей Обри Вейр, — мы подходим к кульминации, венцу жизни. — Он помедлил, торопливо взглянул на нее и вполголоса, почти шепотом прибавил: — А венец жизни — это любовь.

Глаза их встретились, но она тотчас потупилась. У Обри Вейра что-то екнуло в груди и к горлу подкатил комок… Впрочем, его эмоции слишком сложны для анализа. Он и сам удивился, что разговор принял такой оборот.

Внезапно глухая тетка миссис Бейн ткнула его в живот слуховой трубкой, а с теннисного корта послышалось раскатистое «По нулям! Победила

---

[40] Примечания: 40

Намек на Темную (Смуглую) Леди из «Сонетов» Уильяма Шекспира (сонеты 127–152).

любовь!»[41].

— Я говорила вам, что у дочек Джейн скарлатина? — спросила глухая тетка миссис Бейн.

— Нет, — ответил Обри Вейн.

— Да-да, они шелушатся, — объявила глухая тетка миссис Бейн, поджав губы и несколько раз медленно, многозначительно кивнув им обоим.

Ненадолго воцарилось молчание. Казалось, вся троица глубоко задумалась о чем-то, чего словами не выразишь.

— Любовь… — вновь заговорил Обри Вейр непререкаемым философическим тоном, вальяжно откинувшись на спинку кресла и сложив руки в замок, точно святой, возносящий молитву (взгляд его фокусировался на носке собственной туфли), — любовь, по моему убеждению, составляет весь смысл жизни… все прочее обман или фантом. Любовь превыше разума, выгоды и рациональных объяснений. Но ни в одну из эпох, судя по литературным источникам, она не была в таком плачевном положении, как в нашу. Никогда прежде ее не укладывали так безжалостно на прокрустово ложе, никогда так не презирали и не пресекали, не чинили ей препятствий на каждом

---

[41] Примечания: 41

В теннисе словом «любовь» с начала XIX в. обозначается ничейный счет в сете (аналог расхожего выражения «победила дружба»).

шагу, никогда ею так не помыкали… Прямо слышишь, как полицейские командуют: «Эрот, вам сюда!» В итоге мы растрачиваем эмоциональные силы, гоняясь за златом и славой, и на празднике жизни мы изгои, жалкие рабы с потухшими, неутоленными сердцами.

Обри Вейр вздохнул, и снова повисла тишина. Девушка взирала на него из таинственной тьмы своих необыкновенных глаз. Она прочла множество книг, но еще ни разу не встречала живого литератора: Обри Вейр был первым, и его манеру изъясняться она приняла за особый дар — как это свойственно юным девицам во все времена.

— Мы словно бенгальские огни, — продолжал витийствовать Обри Вейр, окрыленный тем, что произвел на нее впечатление, — безжизненное инертное нечто, пока нас не коснется искра… И тогда уснувшая было душа — если она не отсырела — вспыхивает и сверкает во всей своей красе. Живет полной жизнью! Знаете, иногда мне кажется, что, пережив золотую пору, нам лучше было бы сразу умереть, как эфемеридам[42]. Ибо дальше — лишь угасание.

— Э? — встрепенулась глухая тетка миссис

[42] Примечания: 42

Эфемериды (поденки) — отряд короткоживущих крылатых насекомых.

Бейн, про которую все забыли. — Я не расслышала.

— Я только хотел сказать… — прокричал Обри Вейр, с трудом направляя поток своих мыслей в новое русло, — я только хотел сказать, что в Редхилле мало у кого такой прекрасный, ухоженный огород, как у миссис Мортон.

— Рот? Да, мне уже говорили. Это потому, что она вставила себе новые искусственные зубы.

Ее вмешательство несколько нарушило плавный ход беседы. Тем не менее…

— Я очень признательна вам, мистер Вейр, — сказала ему на прощание темная дева. — Мне будет о чем поразмыслить после ваших слов.

И то выражение, с каким она это произнесла, убедило Обри Вейра, что он не напрасно старался.

Мое перо бессильно описать, как начиная с того дня в душе Обри Вейра разрослась, подобно Ионовой тыкве[43], любовная страсть к мисс Смит. Скажу лишь, что он стал сумрачно-задумчив, а если долго не виделся с мисс Смит — раздражителен. Миссис Обри Вейр заметила перемену в муже, но вину за нее возлагала на брызжущего

---

[43] Примечания: 43

Аллюзия на причту из ветхозаветной Книги пророка Ионы (4: 6).

ядом литературного критика из «Сэтэдей ревью-ер» (где и впрямь иногда перегибают палку). Обри Вейр перечитал роман «Избирательное сродство»[44] и дал почитать его мисс Смит… Как ни трудно поверить в это членам нашего клуба, именуемого Ареопагом, то есть литературным собратьям Обри Вейра, факт остается фактом: он бесспорно сумел увлечь темноокую, очень неглупую и удивительно красивую девушку.

Обри Вейр без конца вещал о любви и судьбе — одним словом, морочил девушке голову обычной пустой трескотней второсортного поэта. И вместе они рассуждали о его поэтическом даре. Он целеустремленно, хотя и скрытно искал ее общества и при каждом удобном случае дарил и зачитывал ей вслух наиболее пристойные из своих неизданных сонетов. И пусть его байронические черты кажутся нам слишком пресными — женский ум живет по своим законам. А кроме того, если девица не совсем примитивна, у литератора имеется огромное преимущество перед всеми, за исключением проповедника: кто еще способен выставлять напоказ каждое движение своего сердца?

---

[44] Примечания: 44

«Избирательное сродство» (1809) — роман Иоганна Вольфганга фон *Гёте* (1749–1832).

Наконец настал день, когда он встретился с ней наедине — возможно, случайно, — на тихой дорожке, ведущей в Хорли[45]. Дорожку с обеих сторон окаймляли густые живые изгороди с обильными душистыми вкраплениями жимолости, вики[46] и медвежьего уха[47].

Они детально обсудили его поэтические замыслы, а потом он прочел ей стихи, впоследствии опубликованные в «Хобсонс мэгэзин»: «Полон нежности и неги...» Стихи он сочинил накануне. И хотя, на мой взгляд, чувства, выраженные в них, донельзя банальны, здесь все же слышна спасительная нота искренности — редкая гостья в поэзии Обри Вейра.

Читал он неплохо, отбивая ритм взмахами белой руки, и мало-помалу в голос его проникло неподдельное волнение. «...К тебе, к тебе одной!» — завершил он, пристально глядя на нее.

До этой секунды он был целиком сосредоточен на своих стихах и на том впечатлении, которое

---

[45] Примечания: 45

Хорли — см. примеч. на с. 170.

[46] Примечания: 46

Вика посевная (дикий горошек) — однолетнее травянистое растение из семейства бобовых.

[47] Примечания: 47

Медвежье ухо (коровяк обыкновенный) — двулетнее травянистое растение из семейства норичниковых.

они должны произвести. Теперь все это стало не важно. Она стояла, опустив руки и сплетя пальцы. Глаза смотрели на него с нежностью.

— Ваши стихи берут за душу, — тихо сказала она.

Ее подвижное лицо так чудно выражало все нюансы переживаний! Внезапно он забыл и про свою жену, и про свое положение поэта второго ряда и только не отрываясь смотрел на девушку. Не исключено, что при этом его классические черты претерпели определенную метаморфозу. На краткий миг — который всегда будет жить в его памяти — судьба вырвала Обри Вейра из его маленького тщеславного эго и вознесла на вершину благородной простоты. Листок со стихами выпал из его руки. Осмотрительность как ветром сдуло. Сейчас лишь одно имело для него значение.

— Я люблю вас! — выпалил он.

В ее глазах метнулся страх. Сплетенные пальцы рук судорожно сжались. Она побледнела.

Затем губы ее приоткрылись, словно готовясь что-то сказать, и она вплотную приблизилась к нему, так что они оказались лицом к лицу. В то мгновение для них в целом мире не существовало ничего и никого — только он и она. Обоих трясло

как в лихорадке.

— Вы любите меня? — спросила она шепотом.

Обри Вейр стоял и молчал, словно язык проглотил, дрожа всем телом и вглядываясь в ее глаза. Они лучились таким светом, какого он сроду еще не видал. Он сам не понимал, что происходит, в душе творилось что-то невообразимое. Обри Вейр вдруг смертельно испугался того, что натворил. Не в силах выдавить из себя ни слова, он кивнул.

— И это адресовано мне? — спросила она прежним боязливо-недоверчивым шепотом. И вдруг: — Ох, любимый мой, любимый!..

Тут уж Обри Вейр прижал ее к себе, и ее щека легла ему на плечо, и губы их слились.

Вот так случилось самое памятное событие в жизни Обри Вейра. В своих сочинениях он по сей день возвращается к нему снова и снова.

Чуть поодаль от них какой-то мальчуган влез на изгородь и воззрился на целующуюся парочку — сперва удивленно, затем — с презрительным возмущением. Не ведая своей судьбы, он поскорее отвернулся, уверенный, что сам-то никогда не опустится до такого: лизаться с девчонками — фу! К несчастью для райгейтских сплетников, стыд за сильный пол накрепко заклеил ему рот.

Через час Обри Вейр возвратился домой —

притихший, меланхоличный. Чай для него был накрыт, его дожидались обожаемые кексики (миссис Обри Вейр сказала, что свою порцию съела раньше). На столе стоял букет хризантем, преимущественно белых, его любимых, в фарфоровой вазе, о которой он не раз отзывался с одобрением. Едва он приступил к еде, жена подошла сзади — чмокнуть своего благоверного.

— Кто мой масенький, кто мой сладенький, — приговаривала она, целуя его за ушком.

И тут в голове Обри Вейра, пока он за обе щеки уплетал кексики, а жена целовала его в ухо, с поразительной ясностью возникла мысль, что жизнь — чертовски сложная штука.

Потом на смену лету пришла пора урожая, и с деревьев начали облетать листья. Был вечер, на холмах еще лежали теплые отсветы заката, но в долину уже заползал синеватый туман. У кого-то в окне зажегся свет.

Примерно на полпути из Райгейта вверх по дороге, которая вьется по холмам, есть деревянная скамейка, откуда открывается прекрасный вид на разбросанные внизу виллы из красного кирпича и голубые дали Даунза[48]. На скамейке

[48] Примечания: 48

Даунз — протяженная, занимающая территорию нескольких графств (Серрей, Кент, Сассекс) гряда холмов на юго-востоке Англии.

сидела знакомая нам девушка с призрачно-бледным лицом.

На коленях у нее праздно лежала книга. Девушка наклонилась вперед, подперев рукой подбородок. Она с тревогой смотрела вдаль, через долину, на темнеющие небеса.

Обри Вейр вынырнул из гущи орешника и сел рядом. В руке он держал несколько опавших листьев.

Не меняя позы, она спросила:

— Ну так что?

— Почему непременно бежать? — ответил он вопросом на вопрос.

Обри Вейр был бледнее обычного. В последнее время он плохо спал, ему часто снился Континентальный экспресс[49]; иногда миссис Обри Вейр пускалась вдогонку — ему представлялось, как она превращает трагедию в фарс, со слезами на глазах протягивая ему запасную пару носков или еще какую-нибудь забытую им ерунду, а за ней возбужденно бурлит весь Райгейт… весь Редхилл! Он никогда еще ни от кого не сбегал, и ему мерещились неприятные объяснения с гости-

[49] Примечания: 49

Континентальный экспресс — имеется в виду курьерский поезд, расписание которого было согласовано с расписанием паромов, доставлявших пассажиров из Англии в континентальную Европу.

ничной администрацией. А вдруг миссис Обри Вейр заранее всем телеграфирует? Его посетило даже пророческое видение заголовка в грошовой вечерней газетенке: «Юная леди похищает малоизвестного поэта». Отсюда и дрожь в его голосе, когда он спросил: «Почему непременно бежать?»

— Не хочешь — не надо, — ответила она, по-прежнему не глядя на него.

— А ты хорошо подумала о последствиях для себя? Потому что для репутации мужчины, — медленно произнес Обри Вейр, рассматривая листья в руке, — подобные эскапады скорее на пользу, но для женщины это позор — общественный, моральный…

— Значит, это не любовь, — сказала девушка в белом.

— Ах, моя милая, подумай о себе!

— Болван! — пробормотала она.

— Что ты сказала?

— Ничего.

— Но почему не оставить все как есть — встречаться, любить друг друга, безо всяких скандалов и драм? Может быть, нам…

— Нет, — перебила его мисс Смит, — вот это было бы чудовищно.

— Наш разговор убивает меня. Жизнь так хит-

ро устроена, в ней все так переплетено, тысячи невидимых нитей связывают нас по рукам и ногам. Я сам не понимаю, что правильно, а что нет. Ты должна учитывать…

— Настоящий мужчина разорвал бы путы.

— Достоинство мужчины, — провозгласил Обри Вейр, заделавшись вдруг моралистом, — не в том, чтобы поступать безнравственно. Моя любовь…

— В крайнем случае мы могли бы вместе умереть, мой милый, — сказала она.

— Господи Исусе! — опешил Обри Вейр. — То есть… подумай о моей жене.

— До сих пор ты о ней не думал.

— В этом… В самоубийстве есть привкус трусости, предательства, — сказал Обри Вейр. — И вообще, я все-таки англичанин, у меня стойкое предубеждение против бегства, не важно от кого или от чего.

Мисс Смит едва заметно улыбнулась.

— Сейчас я поняла то, чего не понимала раньше: моя любовь совсем не то же самое, что твоя.

— Может быть, все дело в разнице полов, — предположил Обри Вейр и, почувствовав, что сморозил глупость, надолго замолчал.

Некоторое время они сидели в тишине. Внизу, в Райгейте, горела уже не пара огоньков, а пара

десятков, и в небе у них над головой появилась первая звезда. На девушку напал смех — почти беззвучный, истерический смех, который почему-то показался обидным Обри Вейру.

Она встала.

— Меня скоро хватятся. Надо идти.

Он проводил ее до дороги.

— Так что же — всему конец? — спросил он, испытывая странное смешанное чувство облегчения и тоски.

— Да, всему конец, — подтвердила она и пошла прочь.

И в тот же миг на сердце Обри Вейра легла плита невосполнимой утраты. Девушка успела отойти ярдов на двадцать, когда он громко застонал от сокрушительной тяжести этого небывалого ощущения — и бросился догонять мисс Смит, раскинув руки.

— Анни, — кричал он, — Анни! Я сам не знаю, что говорю. Анни, я понял: я люблю тебя! Я не могу без тебя. Только не это! Я сам себя не понимал.

Какая тяжесть! Плита грозила раздавить его.

— Постой, Анни, постой! — кричал он срывающимся голосом, из глаз брызнули слезы.

Она внезапно обернулась, и руки его упали. При виде ее бледного, неживого лица он онемел.

— Ты и впрямь не понимаешь. Я простилась с тобой.

Она смотрела на него. Он явно был страшно расстроен, к тому же запыхался от своих беспомощных выкриков на бегу. Ничтожный человечек — до невозможности жалкий! Она подошла к нему, взяла в ладони его мокрую байроническую физиономию и покрыла ее поцелуями.

— Прощай, человечек, которого я любила, — говорила она, — и прощай навсегда, мое глупое, сумасбродное увлечение!

С отрывистым то ли смешком, то ли всхлипом — она сама затруднилась точно определить, что это было, когда описывала сцену на скамейке в своем романе, — девушка снова быстро пошла прочь и на развилке свернула с тропы, ведущей к дому Обри Вейра.

Обри Вейр, словно в ступоре, стоял на том самом месте, где она его расцеловала, пока ее белое платье не скрылось из виду. Потом непроизвольно вздохнул, вернее, выдохнул, как после тяжкого усилия, — и тем привел себя в чувство. Очнувшись, он задумчиво побрел по мягкой опавшей листве домой. Эмоции — страшная сила.

— Как тебе картошечка, милый? — поинтересовалась за ужином миссис Обри Вейр. — Я

старалась.

Обри Вейр нехотя покинул высокую сферу туманных размышлений и спустился на уровень жареной картошки.

— Картошечка… — повторил он через минуту, в течение которой пытался стряхнуть с себя воспоминания. — Да. По цвету точь-в точь опавшие листья лещины.

— Ах ты, мой поэт! Ну надо же придумать такое, — восхитилась миссис Обри Вейр. — Да ты попробуй, поешь: картошечка — объедение.

1894

Ограбление в Хаммерпонд-парке

Перевод С. Антонова.

Рассматривать ли грабеж как спорт, ремесло или искусство — вопрос спорный. Для ремесла его технические приемы недостаточно точны, а его претензии на то, чтобы быть искусством, опровергаются элементом корысти, который, собственно, и является в данном случае мерилом успеха. В целом правильнее всего считать его спортом — таким видом спорта, правила которого по сей день не разработаны и в котором призы присуждаются в высшей степени неформальным путем. Именно неформальный характер грабительской деятельности и привел к прискорбному провалу двух подававших надежды новичков, проникших в Хаммерпонд-парк.

Ставкой в этом деле были главным образом бриллианты и другие фамильные драгоценности недавно вышедшей замуж леди Эйвлинг. Читателю следует помнить, что леди Эйвлинг приходилась единственной дочерью миссис Монтегю Пэнгс, известной своим гостеприимством;

газеты подробно освещали ее брак с лордом Эйвлингом, смаковали количество и качество свадебных подарков и упоминали о намерении молодоженов провести медовый месяц в Хаммерпонде. Сообщение об этих ценных призах вызвало немалое оживление в узком кружке, общепризнанным лидером которого являлся мистер Тедди Уоткинс; было решено, что он в сопровождении опытного помощника посетит деревню Хаммерпонд и сполна применит там свои профессиональные навыки.

Мистер Уоткинс, человек от природы скромный и застенчивый, предпочел нанести этот визит инкогнито и, как следует обдумав детали предприятия, выбрал себе роль художника-пейзажиста с заурядней фамилией Смит. Он отправился в Хаммерпонд один, условившись со своим помощником, что тот появится на месте предстоящих событий лишь в последний день пребывания там мистера Уоткинса, ближе к вечеру. Надобно заметить, что деревушка Хаммерпонд — пожалуй, один из прелестнейших уголков Сассекса, где еще сохранилось немало домиков с соломенной крышей; приютившаяся под холмом каменная церквушка с высоким шпилем — одна из самых красивых в графстве

— почти не подверглась реставрации, а буковые леса и густые заросли папоротника, сквозь которые, извиваясь, дорога бежит к величественному особняку, изобилуют «видами» — как называют это невзыскательные художники и фотографы. Поэтому мистера Уоткинса, прибывшего туда с двумя чистыми холстами, новехоньким мольбертом, ящиком с красками, саквояжем, разборной лесенкой хитроумной конструкции (наподобие той, которой пользовался покойный мастер Чарльз Пис)[50], фомкой и мотками проволоки, встретило — с энтузиазмом и некоторым любопытством — полдюжины собратьев по кисти. Это обстоятельство неожиданно придало правдоподобия той личине, которую он избрал, но одновременно вовлекло его в пространные разговоры об искусстве, к каковым он был совсем не подготовлен.

— Вы часто выставляетесь? — полюбопытствовал молодой Порсон в баре трактира «Карета и кони», где мистер Уоткинс вечером в день своего приезда искусно выуживал необходимые сведения о местной жизни.

— Очень редко, — ответил мистер Уоткинс, —

---

[50] Примечания: 50

Чарльз Пис (1832–1879) — известный английский грабитель и убийца.

немного здесь, немного там.

— В Академии?[51]

— Конечно. И в Хрустальном дворце[52].

— А вас удачно вешали? — допытывался Порсон.

— Не каркайте, — отрезал мистер Уоткинс. — Я этого не люблю.

— Я имел в виду: в хорошее ли место вас помещали?

— Что у вас на уме? — подозрительно ощетинился мистер Уоткинс. — Вы как будто хотите выведать, было ли такое, что меня загребли?

Порсона воспитали тетушки; этот молодой человек выделялся джентльменскими манерами даже среди художников и не знал, что значит «загребли», но почел за лучшее пояснить, что не подразумевал ничего подобного. И поскольку вопрос о том, как вешают, похоже, был весьма чувствительным для мистера Уоткинса, Порсон заговорил о другом:

---

[51] Примечания: 51

Академия — см. примеч. на с. 50.

[52] Примечания: 52

Хрустальный дворец — огромный выставочный павильон из стекла и чугуна, площадью более 90 000 м^2, возведенный в лондонском Гайд-парке к Всемирной выставке 1851 г., а после ее закрытия демонтированный и перенесенный в 1854 г. в предместье Лондона Сиднем-Хилл; сгорел в 1936 г.

— А с моделями вы работаете?

— Нет, в модах я не разбираюсь, — отозвался мистер Уоткинс. — В этом сильна моя крош… то есть миссис Смит.

— Так она тоже пишет? — восхитился Порсон. — Как это замечательно!

— Весьма, — согласился мистер Уоткинс, хотя вовсе так не думал, и, чувствуя, что разговор ускользает за пределы его разумения, добавил: — Я приехал сюда, чтобы запечатлеть усадьбу Хаммерпонд при лунном свете.

— Вот как? — заинтересовался Порсон. — Что ж, довольно оригинальная идея.

— Да, — согласился мистер Уоткинс. — Когда меня посетила эта мысль, я тоже счел ее удачной. Рассчитываю начать завтра ночью.

— Что? Вы же не собираетесь работать посреди ночи на пленэре?

— Вообще-то, собираюсь.

— Но вы ведь даже холста не разглядите!

— Имея этот чертов полицейск… — начал было мистер Уоткинс, но быстро спохватился и, кликнув мисс Дарган, заказал еще кружку пива. — У меня будет при себе одна штуковина — называется потайной фонарь.

— Но ведь скоро новолуние, — возразил Пор-

сон. — Луны вовсе не будет.

— Что ж, будет дом, — сказал Уоткинс. — Я, видите ли, собираюсь сперва написать дом, а уж потом — луну.

— О! — произнес Порсон, слишком озадаченный, чтобы продолжать беседу.

— Поговаривают, — вмешался старик Дарган, хозяин трактира, хранивший почтительное молчание, пока художники обсуждали профессиональные темы, — что каждую ночь в доме дежурит не меньше трех полисменов из Хэйзелхерста — и всё из-за этих камешков леди Эйвлинг. Один из них давеча выиграл в орлянку у младшего лакея четыре шиллинга шесть пенсов.

К вечеру следующего дня, на закате, мистер Уоткинс, с девственно чистым холстом, мольбертом и множеством других необходимых художнику принадлежностей, уложенных в весьма вместительный саквояж, неспешно проследовал дивной тропинкой через буковый лес в Хаммерпонд-парк, где занял стратегически важную позицию, с которой открывался отличный вид на особняк. Тут его приметил мистер Рафаэль Сант, возвращавшийся через парк после исследования меловых карьеров. Его любопытство уже было подогрето рассказом Порсона о новоявленном

коллеге, и он свернул в сторону с намерением потолковать с ним о технике ночных этюдов.

Мистер Уоткинс явно не подозревал о его приближении. Он только что закончил дружески беседовать с дворецким леди Эйвлинг, который теперь удалялся в окружении трех комнатных собачек, — выгуливать их после ужина было одной из его обязанностей. Мистер Уоткинс с чрезвычайно усердным видом смешивал краски. Сант подошел ближе и изумился, узрев на палитре краску невообразимо ядовитого изумрудно-зеленого оттенка. С юных лет он обладал исключительной восприимчивостью к цвету и теперь, окинув беглым взглядом эту мешанину, присвистнул, резко втянув воздух сквозь зубы. Мистер Уоткинс обернулся. На его лице читалась досада.

— Что, черт возьми, вы собираетесь написать этой *гадкой* зеленью? — спросил Сант.

Мистер Уоткинс понял, что, усердно разыгрывая перед дворецким роль профессионального художника, увлекся и допустил какую-то техническую оплошность. Он смотрел на Санта и растерянно молчал.

— Простите меня за дерзость, — продолжал Сант, — но, право же, этот зеленый цвет совер-

шенно ошеломителен и прямо-таки сражает наповал. Как вы намерены его применить?

Мистер Уоткинс собрался с мыслями. Только решительность могла спасти положение.

— Если вы явились сюда, чтобы мешать мне работать, — предупредил он, — я раскрашу в этот цвет вашу физиономию.

Сант, человек мирного нрава и наделенный чувством юмора, поспешил ретироваться. Спускаясь с холма, он встретил Порсона и Уэйнрайта.

— Этот малый или гений, или опасный сумасшедший, — сказал он. — Поднимитесь и взгляните сами на его зелень.

И он пошел своей дорогой, просияв при мысли о предстоящей веселой потасовке в сумерках возле мольберта и обилии пролитой зеленой краски.

Однако с Порсоном и Уэйнрайтом мистер Уоткинс держался не столь агрессивно и объяснил, что предполагает загрунтовать холст зеленым тоном. В ответ на какое-то замечание он признался, что это совершенно новый метод его собственного изобретения. Но на сем откровенность мистера Уоткинса иссякла: он буркнул, что не желает выдавать каждому встречному секреты своего индивидуального стиля, и бросил несколько ехидных реплик насчет низости людишек, «шны-

ряющих вокруг», дабы вызнать у мастера тайны ремесла, — чем немедленно освободил себя от общества обоих художников.

Стемнело, на небе одна за другой стали появляться звезды. Грачи на высоких деревьях слева от дома давно погрузились в сонливое молчание, а контуры самого дома расплылись во мраке, превратившем его в огромное смутно-серое пятно; затем вспыхнули окна гостиной, озарился светом зимний сад, в спальнях замелькали желтые огоньки. Случись кому-нибудь подойти в этот момент к мольберту, стоявшему в парке, он бы никого рядом не обнаружил. Лишь одно короткое неприличное слово, намалеванное ярко-зеленой краской, оскверняло чистоту холста. Мистер Уоткинс в кустах готовился к делу, ради которого приехал, вместе с помощником, незаметно пробравшимся к нему с подъездной аллеи, и уже мысленно поздравлял себя с остроумной выдумкой, которая позволила ему смело, не таясь, пронести свой инвентарь к месту действия.

— Вот там ее будуар, — инструктировал он помощника. — Как только служанка унесет свечу и отправится ужинать, мы навестим хозяйку. Черт, а дом и впрямь хорош при свете звезд, со всеми этими освещенными окнами! Разрази меня гром,

Джим, я почти жалею, что не стал художником! Ты натянул проволоку через тропинку, что ведет от прачечной?

Мистер Уоткинс осторожно подошел к дому, остановился под окном будуара и принялся собирать складную лесенку. Он был опытным знатоком своего дела и не испытывал никакого волнения. Джим тем временем производил разведку возле окон курительной комнаты. Внезапно из ближних кустов донеслись отчаянный треск и приглушенная ругань. Кто-то споткнулся о проволоку, только что протянутую помощником. Мистер Уоткинс услышал, как кто-то бежит по дорожке, посыпанной гравием; человек чрезвычайно застенчивый, как все истинные художники, он тотчас бросил свою складную лесенку и, озираясь по сторонам, понесся прочь через кусты. Он смутно ощущал, что за ним по пятам гонятся двое, а впереди, как ему показалось, мелькал силуэт его помощника. В считаные секунды он перемахнул через низкую каменную ограду, окружавшую кустарник, и очутился в парке. Вослед ему на дерн с глухим стуком приземлились еще две пары ног.

Началась напряженная погоня в темноте, среди деревьев. Мистер Уоткинс был худощав и хорошо

тренирован и мало-помалу настигал хрипло дышавшего бегуна, который мчался впереди. Оба молчали, но, когда мистер Уоткинс поравнялся с незнакомцем, его вдруг охватило ужасное подозрение. В тот же миг бегун обернулся и удивленно вскрикнул. «Это не Джим!» — мелькнуло в голове у мистера Уоткинса. Тут незнакомец кинулся ему под ноги, и оба, мгновенно сцепившись, покатились по земле.

— Билл, помогай! — крикнул незнакомец, когда к ним подбежал третий.

И Билл помог — и руками, и еще больше ногами. Четвертый — вероятно, это был Джим, — по-видимому, успел свернуть и скрылся в другом направлении. Во всяком случае, он не присоединился к дерущейся троице.

У мистера Уоткинса остались крайне туманные воспоминания о том, что происходило в следующие две минуты. В его сознании маячила неясная картина того, как он засунул в рот первому из противников большой палец и, хотя и опасался, как бы его не прокусили, по меньшей мере несколько секунд пригибал к земле за волосы голову второго джентльмена — того, что откликался на имя Билл. Одновременно его самого непрерывно колошматили куда ни попадя, — казалось, на

него навалилась разом куча людей. Потом тот джентльмен, который не звался Биллом, уперся коленом пониже диафрагмы мистера Уоткинса и попытался согнуть его в дугу.

Когда его ощущения стали отчетливее, он обнаружил, что сидит на траве в окружении то ли восьми, то ли десяти человек (ночь выдалась темная, а мистеру Уоткинсу, потрепанному и дезориентированному, было не до счета), очевидно дожидавшихся, чтобы он пришел в себя. Он с прискорбием заключил, что попался, и, наверное, ударился бы в философические рассуждения о превратностях судьбы, если бы интуиция не склоняла его помалкивать.

Очень скоро он осознал, что на его запястьях нет наручников; затем ему сунули в руки фляжку с бренди. Его несколько тронуло столь неожиданное проявление доброты.

— Очнулся наконец, — произнес кто-то, и мистеру Уоткинсу почудилось, что он узнает голос младшего лакея из Хаммерпонда.

— Мы схватили их, сэр, схватили обоих, — доложил хаммерпондский дворецкий, который и подал мистеру Уоткинсу фляжку. — Это все благодаря *вам*.

Никто не отозвался на эту реплику. А мистер

Уоткинс не понимал, каким образом услышанное может быть связано с его персоной.

— Он все еще не в себе, — изрек незнакомый голос. — Эти злодеи чуть не прибили его.

Мистер Тедди Уоткинс почел за лучшее и дальше побыть «не в себе», покуда не уяснит положение дел. Среди прочих темных фигур он приметил двоих, стоявших бок о бок с понурым видом, и что-то в посадке их плеч подсказало его опытному глазу, что у них связаны руки. Двое! В один миг он понял, какую роль приписывают ему окружающие. Он осушил маленькую фляжку и, шатаясь, поддерживаемый чьими-то услужливыми руками, поднялся с земли. По толпе прошел говор, приглушенный и сочувственный.

— Разрешите пожать вам руку, сэр, — обратился к нему один из тех, кто стоял рядом. — Позвольте представиться. Я в великом долгу перед вами. Ведь именно драгоценности моей жены, леди Эйвлинг, привлекли к дому этих двух негодяев.

— Очень рад познакомиться с вашей светлостью, — сказал Тедди Уоткинс.

— Полагаю, вы увидели, как эти подлецы нырнули в кусты, и набросились на них?

— Так оно и было, — подтвердил мистер Уоткинс.

— Вам бы стоило подождать, пока они влезут в окно, — продолжал лорд Эйвлинг. — Если бы их поймали с поличным, им бы не поздоровилось. И вам повезло, что двое полисменов дежурили у ворот и кинулись вдогонку за вашей тройкой. Вряд ли вы одолели бы тех двоих в одиночку — но, так или иначе, это было чертовски смело с вашей стороны.

— Да, мне следовало подумать об осторожности, — отозвался мистер Уоткинс, — но всего не предусмотришь.

— Разумеется, — согласился лорд Эйвлинг. — Боюсь, они вас немного потрепали, — добавил он, когда все уже направлялись к дому. — Вы малость прихрамываете. Могу я предложить вам опереться на мою руку?

И вместо того чтобы проникнуть в Хаммерпондский особняк через окно будуара, мистер Уоткинс вступил в него слегка навеселе и заметно приободрившись — через парадную дверь, под руку с настоящим английским пэром. «Вот это высокий стиль ограбления!» — сказал он про себя.

«Негодяи», когда их рассмотрели при свете газовых ламп, оказались всего-навсего местными дилетантами, незнакомыми мистеру Уоткинсу; их отвели вниз, в кладовую, и оставили под

присмотром трех полисменов, двух егерей с заряженными ружьями, дворецкого, конюха и кучера, чтобы на рассвете доставить обоих в полицейский участок в Хэйзелхерсте. Меж тем в гостиной вовсю хлопотали вокруг мистера Уоткинса. Ему отвели диван и даже слышать не хотели о возвращении в деревню посреди ночи. Леди Эйвлинг нашла его на редкость оригинальным и заявила, что именно так представляет себе Тёрнера[53]: грубоватым, несколько нетрезвым, с глубоко посаженными глазами, храбрым и умным. Кто-то принес замечательную складную лесенку, подобранную в кустах, и продемонстрировал мистеру Уоткинсу, как она собирается. Кроме того, ему сообщили, что там же нашли проволоку, натянутую, несомненно, для того, чтобы сбить с ног не подозревающих о препятствии преследователей. К счастью, ему удалось миновать эти силки. А еще ему показали драгоценности.

У мистера Уоткинса хватило здравомыслия не болтать лишнего, и всякий раз, когда беседа принимала опасный оборот, он вспоминал о том, что внутри у него все болит. В конце концов он пожа-

---

[53] Примечания: 53

Джозеф Мэллорд Уильям *Тёрнер* (1775–1851) — британский живописец, мастер романтического пейзажа, акварелист, предшественник импрессионизма.

ловался на затекшую спину и принялся зевать. Тут все вокруг спохватились, что негоже утомлять разговорами человека, которого недавно избили, и он не мешкая удалился в отведенную ему комнату — маленькую красную комнату рядом с покоями лорда Эйвлинга.

Рассветным лучам предстали брошенный посреди Хаммерпонд-парка мольберт с холстом, на котором была намалевана зеленая надпись, и ввергнутая в смятение усадьба. Но если рассвет и нашел мистера Тедди Уоткинса и бриллианты леди Эйвлинг, он не заявил об этом в полицию.

1894

Через окно

Перевод С. Антонова.

После того как Бейли зафиксировали ноги, его перенесли в кабинет и уложили на кушетку возле открытого окна. Там он и лежал — живой, даже лихорадочно возбужденный до пояса, а ниже — мумия, ноги которой были спеленуты белыми бинтами. Он пробовал читать и вдобавок немного писал, но бóльшую часть времени смотрел в окно.

Едва оказавшись здесь, он подумал, что вид из окна развлечет его и придаст ему бодрости, — теперь же он неустанно благодарил за него небеса. В комнате царил серый полумрак, но отражавшийся от стекла свет позволял ясно различать потертости на мебели. Лекарства и питье стояли на маленьком столике вкупе со всевозможным мусором — оголенными кистями от съеденного винограда, сигарным пеплом на зеленом блюдце и вчерашней вечерней газетой. Зато снаружи все было залито светом, в угол окна упиралась верхушка акации, а в нижней части проема

виднелись перила балкона из кованого железа. Позади них колыхалась серебристая река, пребывавшая в вечном движении, но никогда не утомлявшая глаз. Далее простирались поросший камышом берег и широкий луг, за ними — темная полоса деревьев, венчавшаяся в речной излучине тополиной рощицей, а еще дальше высилась четырехугольная колокольня церкви.

Весь день напролет вверх и вниз по реке сновали суда. То сплавлялась вниз по течению, в сторону Лондона, вереница барж, груженных известью или бочками с пивом; то спешил паровой катер, выпускавший большие клубы черного дыма и гнавший за собой длинные перекатистые волны, которые расходились во всю ширь реки; то шустро проносилась лодка с электродвигателем; то проплывала прогулочная шлюпка, полная отдыхающих, или одинокий ялик, или четверка из какого-нибудь гребного клуба. Тише всего на реке бывало, пожалуй, утром или глубоко в ночи. Впрочем, в какую-то лунную ночь компания из нескольких человек проследовала мимо с песнями, исполняемыми под аккомпанемент цитры, мелодичные звуки которой далеко разносились над водой.

Прошло несколько дней, и Бейли стал узна-

вать некоторые суда; спустя неделю он уже был в подробностях осведомлен по крайней мере о полудюжине из них. «Лусон», тот самый паровой катер, принадлежавший Фицгиббону, который жил двумя милями выше по течению, суетливо пробегал туда-сюда три или четыре раза в день; его было нетрудно распознать по красно-желтой раскраске и двум матросам явно восточной наружности. Однажды, на потеху Бейли, жилая барка «Пурпурный император» остановилась прямо напротив его окна, и ее обитатели без тени смущения принялись завтракать в самой что ни на есть домашней манере. Затем как-то раз под вечер капитан медленно плывшей баржи затеял ссору с женой, когда судно показалось в левом углу оконного проема, и успел распустить руки прежде, чем оно скрылось из виду справа. Бейли воспринимал все это как даровое развлечение, подкинутое ему судьбой, чтобы скоротать время болезни, и встречал аплодисментами все наиболее занимательные происшествия. Миссис Грин, приносившая ему еду, часто заставала его хлопающим в ладоши и тихо восклицающим: «Бис!» Однако у речных актеров были и другие ангажементы, и на его призывы они не откликались.

— Никогда бы не поверил, что буду так инте-

ресоваться вещами, которые ничуть меня не касаются, — признался Бейли Уайлдерспину, который, по-дружески переживая за больного, нередко навещал его и старался утешить разговором. — Я думал, такое праздное времяпровождение свойственно лишь малым детям и старым девам. А оказывается, это просто зависит от обстоятельств. Работать я сейчас не могу, дела пущены на самотек; что толку жаловаться на жизнь и ершиться попусту? Так что я лежу и забавляюсь происходящим на реке, как ребенок забавляется погремушкой. Иногда, конечно, становится скучновато, но чаще бывает наоборот. Уайлдерспин, я отдал бы что угодно за то, чтобы хоть раз увидеть, как переворачивается и идет ко дну лодка… хотя бы одна. Над водой — головы пытающихся спастись вплавь, паровой катер, спешащий на выручку, какой-нибудь малый или двое, которых вытягивают при помощи багра… А вот и катер Фицгиббона! Я вижу, у них как раз появился новый багор, а вон тот маленький темнокожий все еще пребывает в унынии. Сдается мне, Уайлдерспин, он нездоров. Он уже два или три дня такой — сидит себе на корточках и угрюмо размышляет о чем-то, глядя на пенящуюся воду. Это вредно — сидеть вот так все время, уста-

вившись на пену, выбегающую из-под кормы.

Они проводили взглядом маленький паровой катер, который пронесся через залитый солнцем участок реки, на мгновение скрылся за верхушкой акации, а потом и вовсе пропал из виду, исчезнув за темной оконной рамой.

— Во мне развилась удивительная зоркость на детали, — сказал Бейли. — Я сразу приметил новый багор на борту. Тот второй черномазый — забавный малый. Со старым багром он никогда не расхаживал так важно.

— Это малайцы, не так ли? — уточнил Уайлдерспин.

— Не знаю, — ответил Бейли. — Кажется, таких называют ласкарами[54].

Тут он принялся рассказывать Уайлдерспину все, что успел узнать о частной жизни обитателей жилой барки «Пурпурный император».

— Чудно́, — заметил он. — Эти люди прибыли сюда со всех концов света — из Оксфорда и Виндзора, из Азии и Африки, — собрались на барке и проплывают взад-вперед мимо моего окна с единственной целью развлечь меня. Третьего дня какой-то человек явился из неизвестности,

---

[54] Примечания: 54

Ласкар — матрос-индус либо выходец из другой страны Юго-Восточной Азии.

самым что ни на есть великолепным образом завязил весло напротив моего окна, выпустил его из рук, а затем подобрал и опять отбыл в неизвестность. Вероятно, он никогда больше не войдет в мою жизнь. Он прожил на земле лет тридцать или сорок, испытал свои маленькие житейские невзгоды — и все это лишь для того, чтобы три минуты повалять дурака перед моим окном. Удивительно, Уайлдерспин, если вдуматься.

— Да, в самом деле, — отозвался его собеседник.

День или два спустя у Бейли выдалось знаменательное утро. Сказать по правде, ближе к концу происшествие оказалось не менее волнующим, чем любое зрелище, которое он мог бы наблюдать через окно. Впрочем, начнем с начала.

Бейли находился в доме один: экономка отправилась за три мили в город оплатить счета, а у служанки был выходной. Утро началось скучно. Где-то в половине десятого вверх по реке прошло спортивное каноэ, потом в обратную сторону проследовала шлюпка, полная любителей пикников. Но это была только прелюдия. Настоящее действо развернулось около десяти.

Все началось с того, что в отдалении, там, где три тополя подступали к самой излучине реки,

затрепыхалось что-то белое.

— Носовой платок, — сказал себе Бейли, увидев это. — Нет. Великовато для платка. Скорее флаг.

Однако неведомый предмет, который вдруг стал подскакивать вверх, явно не был флагом.

— Человек в белом быстро бежит, и притом бежит сюда, — догадался Бейли. — Какая удача! Вот только его белая одежда слишком широка для него.

И тут произошло кое-что неожиданное. Между темными деревьями вдалеке мелькнула какая-то розовая вспышка, а за ней показалось облачко бледно-серого дыма, которое поплыло на восток и вскоре растаяло. Человек в белом подпрыгнул и побежал дальше. А еще через секунду до Бейли донесся звук выстрела.

— Что за черт! — воскликнул он. — Похоже, по нему стреляют!

Он с трудом принял сидячее положение и стал пристально всматриваться. Белая фигура неслась по тропинке через пшеничное поле.

— Будь я проклят, если это не один из черномазых Фицгиббона! — вскричал Бейли. — Интересно, почему он так размахивает рукой, словно что-то пилит на бегу?

Затем на темном фоне деревьев смутно обозна-

чились три другие фигуры.

Внезапно на том берегу реки появился еще один человек — чернобородый мужчина во фланелевой рабочей одежде с красным поясом и широкополой шляпе из серого фетра. Он шел, сильно наклоняясь вперед и свесив спереди руки. Позади него пригибал траву буксирный канат, тянувшийся к лодке, которую он тащил за собой. Человек пристально глядел на белую фигуру, бежавшую через поле. Вдруг он остановился, и по характерным движениям Бейли догадался, что чернобородый перебирает руками канат. Через реку донеслись голоса людей, сидевших в еще скрытой от глаз Бейли лодке.

— Чего ты хочешь, Хэгшот? — спросил кто-то из них.

Человек с красным поясом крикнул в ответ что-то неразборчивое и продолжил тянуть канат, поглядывая через плечо на приближавшуюся белую фигуру. Чуть погодя он спустился к самой реке, и канат, прочертив полосу в камышах, начал ударять по воде в промежутках между рывками.

Затем Бейли увидел нос лодки и буксировочную мачту, а также высокого светловолосого человека, который, стоя во весь рост, пытался рас-

смотреть, что происходит на берегу. Неожиданно лодка ударилась о камыши, и высокий блондин тотчас исчез, очевидно свалившись в невидимую часть лодки. Послышалось проклятие, сопровождаемое невнятным смехом. Хэгшот не смеялся — он торопливо вскарабкался в лодку, оттолкнул ее от берега, и она сразу пропала из виду.

Но до него все еще доносились голоса, и, судя по их тону, люди в лодке наперебой обсуждали, что им следует предпринять.

Беглец тем временем приближался к берегу. Теперь Бейли отчетливо видел, что это один из малайцев Фицгиббона, и до него начало доходить, что за изогнутый предмет находится у того в руке. Трое преследователей мчались гуськом через поле, и тот, кто бежал впереди, нес что-то, смахивавшее на ружье. От малайца их отделяло две сотни ярдов или чуть больше.

— Клянусь всеми святыми, это охота на человека! — воскликнул Бейли.

Малаец на миг остановился и поглядел направо, вдоль береговой полосы. Потом он сошел с тропинки и, пробиваясь через заросли пшеницы, скрылся в этом направлении. Преследователи устремились за ним, и вскоре их головы и бурно жестикулировавшие руки, видневшиеся над

нивой, тоже оказались недоступны взору наблюдателя, сидевшего у окна.

Бейли забылся настолько, что даже выругался.

— Как раз тогда, когда началось самое интересное! — буркнул он с досадой.

И тут воздух прорезал звук, похожий на женский визг. Затем донеслись возгласы, вой, глухой звук удара о балкон снаружи (отчего Бейли подскочил на кушетке), и наконец грянул выстрел.

— Это уже слишком для инвалида! — возмутился Бейли.

Однако на сцене, открывавшейся ему через окно, предстояло разыграться еще многим событиям — очень многим. Малаец появился опять, теперь он бежал вдоль берега вверх по течению реки — бежал не так быстро, как прежде, и больше раскачивался на бегу. В руке у него был зажат страшный крис[55], которым он угрожал кому-то впереди себя. Лезвие, как заметил Бейли, было тусклым — оно не блестело, как должна блестеть сталь.

Размахивая багром, в поле зрения Бейли возник высокий блондин, а за ним — еще трое, одетые

---

[55] Примечания: 55

Крис — кинжал с характерной асимметричной и зачастую волнообразной формой лезвия; получил распространение в Индонезии, на Филиппинах и в Малайзии.

как гребцы. Они бежали вразвалку, держа в руках весла. Человека с красным поясом и серой шляпой с ними не было. Немного позже вновь показалась и первая тройка преследователей, предводитель которой был вооружен, — она все еще пробиралась через пшеницу, но уже совсем близко к берегу. Выскочив на бечевник, они ринулись за остальными. Через несколько мгновений берег опять опустел.

Комната, где находился больной, огласилась новой порцией брани.

— Жизни не пожалел бы, лишь бы увидеть, чем все это кончится! — воскликнул он.

Выше по течению реки раздались неясные крики. На миг ему почудилось, будто они приближаются, но его надежда не оправдалась.

Бейли сидел на кушетке и ворчал. Ворчание еще продолжалось, когда он приметил в волнах что-то темное и круглое.

— Привет! — сказал он.

Вглядевшись пристальнее, он увидел на ярд впереди два треугольных темных предмета, ритмично взбивавших пену.

Покуда его одолевали сомнения насчет того, что именно он увидел, небольшая группа преследователей снова высыпала на берег. Они

принялись тыкать пальцами в плывущий предмет, оживленно заспорили, а потом человек с ружьем прицелился.

— Ей-богу, он пересекает реку! — вскричал Бейли.

Малаец обернулся, увидел ружье и исчез под водой. А вынырнул так близко к берегу, где находился дом Бейли, что его на мгновение скрыла одна из балконных перекладин. Едва он показался на поверхности, человек на другом берегу выстрелил. Малаец продолжал размеренно продвигаться вперед — теперь Бейли мог различить его мокрые волосы, прилипшие ко лбу, и зажатый в зубах крис, — а затем ушел за нижнюю линию обзора, замыкавшуюся балконом.

Бейли воспринял это как нестерпимую личную обиду. Он решил, что пловец потерян для него навсегда. Ну почему этот негодяй не дал схватить себя честь по чести на противоположном берегу — или не позволил своему противнику пристрелить его в воде?

— Это хуже, чем «Тайна Эдвина Друда»[56], — пробормотал Бейли.

На реке установилось затишье. Все семеро преследователей снова отправились вниз по течению — вероятно, для того, чтобы взять лодку и продолжить погоню. Бейли прислушивался и ждал. Кругом царило безмолвие.

— Это не может закончиться вот так, — говорил он себе.

Прошло пять минут, десять. Вверх по реке проследовал буксирный пароход с двумя баржами. Люди на них, судя по их виду, не замечали ничего необычного ни на суше, ни на воде, ни в небе. Скорее всего, охота переместилась в буковую рощу, находившуюся за домом.

— Черт возьми! — вознегодовал Бейли. — Продолжение следует — и на сей раз нет никаких шансов его увидеть! Для больного это чересчур!

Он услышал шаги на лестнице и, оглянувшись, увидел, как открылась дверь. Миссис Грин вошла в комнату и села, с трудом переводя дух. На ней

---

[56] Примечания: 56

«Тайна Эдвина Друда» (1870) — последний роман Чарльза Диккенса, детективное повествование с исчезновением (и вероятным убийством) заглавного героя, оставшееся неоконченным вследствие смерти автора; дразнящая незавершенность книги уже полтора столетия провоцирует читателей и исследователей на создание собственных версий разгадки ее сюжетных тайн.

все еще был уличный капор, в руках — сумочка и маленькая коричневая корзинка.

— Ох, там… — начала она и осеклась, предоставив Бейли самому додумать остальное.

— Миссис Грин, глотните виски с водой и расскажите, в чем дело, — произнес Бейли.

Сделав, как он велел, экономка мало-помалу обрела дар речи:

— Один из этих черномазых Фицгиббона сошел с ума и принялся носиться вокруг с большим ножом и резать людей. Он заколол насмерть конюха, ранил помощника дворецкого и чуть не отсек руку какому-то джентльмену в лодке.

— Носится с крисом в состоянии амока[57], — поправил ее Бейли. — Так я и думал.

— И он прятался в роще как раз тогда, когда я шла через нее, возвращаясь из города.

— Что? Он гнался за вами? — осведомился Бейли с ноткой восторга в голосе.

— Нет, и это самое ужасное, — ответила мис-

---

[57] Примечания: 57

Амок (*малайск.* meng-âmok — неистово нападать и убивать) — немотивированный приступ слепого агрессивного возбуждения, сходный с эпилептическим припадком, одна из разновидностей сумеречного состояния сознания, синоним неконтролируемого бешенства. Открытое в процессе путешествий европейцев на Восток, это явление ассоциировалось в западном сознании XVII–XIX вв. с малайско-индонезийской культурой и нередко напрямую связывалось с употреблением малайцами опиума.

сис Грин. По ее словам, она шла через рощу и *знать не знала, что там прячется малаец.* Она услышала про это, лишь когда встретила молодого мистера Фицгиббона, пробиравшегося с ружьем сквозь кусты. Судя по всему, миссис Грин была очень расстроена тем, что упустила возможность поволноваться. Однако она вознамерилась компенсировать потерю, выжав максимум возможного хотя бы из рассказа об этом происшествии.

— Подумать только — он все время был там! — вновь и вновь повторяла она.

Бейли терпеливо выслушивал ее излияния минут десять, по прошествии которых решил, что пора наконец заявить о себе.

— Уже двадцать минут второго, миссис Грин, — напомнил он. — Вам не кажется, что пора подавать обед?

Миссис Грин неожиданно бухнулась ему в ноги.

— О господи, сэр! — воскликнула она. — Не гоните меня из этой комнаты, сэр, покуда я не буду знать наверняка, что его поймали. Вдруг он пробрался в дом? Вдруг он крадется… крадется по коридору с этим своим ножом — прямо сейчас…

Внезапно она умолкла и уставилась в окно,

глядя поверх Бейли. Челюсть ее отвисла. Бейли резко повернул голову к окну.

С полсекунды ему казалось, что все по-прежнему: дерево, балкон, сияющая река, церковная колокольня вдалеке. Потом он заметил, что верхушка акации сместилась почти на фут вправо и подрагивает, а листья на ней громко шелестят. Дерево сильно затряслось, и послышалось чье-то тяжелое дыхание.

В следующий миг смуглая волосатая рука ухватилась за перила балкона, а еще через мгновение между перекладинами появилось лицо малайца, который таращился на человека, лежавшего на кушетке. Он отвратительно ухмылялся, и это впечатление лишь усиливал зажатый в его зубах крис. Из рваной раны на его щеке струилась кровь. Наполовину высохшие волосы торчали на голове, точно рога. Если не считать мокрых, прилипших к телу штанов, он был совершенно голый.

Соскочить с кушетки — таково было первое побуждение Бейли, но собственные ноги тотчас напомнили ему, что это невозможно.

Опираясь о перила и держась за ветку дерева, малаец медленно, но верно продвигался все выше. Тут его увидела миссис Грин, испустила

сдавленный крик, метнулась к выходу и судорожно затеребила ручку двери.

Недолго думая Бейли схватил в каждую руку по бутыли с микстурой. Одну он метнул, и та разбилась об акацию. Молча и неторопливо, не сводя с Бейли блестящих глаз, малаец вскарабкался на балкон. Бейли, все еще сжимая в руке вторую бутыль, с подступившей к горлу тошнотой и с поникшим сердцем наблюдал за тем, как азиат перекидывает через перила сначала одну, потом другую ногу.

Ему казалось, что это длится не менее часа. Пока малаец выпрямился во весь рост, прошла как будто целая вечность — дни, недели, а возможно, год или больше. Все это время Бейли очень приблизительно представлял себе, что творится у него на душе, — кроме, пожалуй, смутного чувства удивления, почему он никак не может швырнуть в непрошеного гостя вторую бутыль. Малаец вдруг оглянулся. Раздался сухой щелчок выстрела из винтовки. Азиат вскинул руки и повалился на край кушетки. Миссис Грин подняла жалобный визг, грозивший не затихнуть до дня Страшного суда. Бейли посмотрел на смуглое тело с пулевой раной в лопатке, которое корчилось от боли у самых его ног, быстро заливая кровью чистые

бинты, потом перевел взгляд на длинный крис с бурыми разводами на лезвии, что лежал на полу всего в дюйме от темных дрожащих пальцев. Он повернулся к миссис Грин — та вжалась в дверь и, не отрывая глаз от малайца, издавала порывистые возгласы, способные, вероятно, разбудить даже мертвеца. Наконец тело конвульсивно затряслось в последнем сознательном усилии.

Малаец подхватил крис, попытался встать, опершись на левую руку, но опять рухнул. Затем он приподнял голову, с мгновение посмотрел на миссис Грин и перевел взор на Бейли. С судорожным стоном умирающий сумел ухватиться раненой рукой за одеяло и рывком, отозвавшимся в ногах Бейли нечеловеческой болью, нелепо извернулся к тому, кто должен был стать его последней жертвой. Тут в оцепеневшем сознании Бейли что-то прояснилось, и он с размаху ударил в лицо малайца второй бутылью. Крис тяжело упал на пол.

— Осторожнее, — попросил Бейли, когда молодой Фицгиббон и один из тех, кто был на лодке, снимали труп с его ног.

Лицо Фицгиббона было белым как мел.

— Я не хотел его убивать, — сказал он.

— Что ни делается, все к лучшему, — ответил Бейли.

1894

Нечто в доме номер семь

Перевод Е. Матвеевой.

По случаю завершения регаты был устроен фейерверк в парке Саутси-Коммон[58]. Я пришел туда после ужина вместе с Бейли (это было до того, как он сломал ноги), Уайлдерспином и еще одним долговязым малым, фамилию которого не помню. День выдался жаркий и душный, а к ночи небо сделалось пасмурным. Что ж, тем лучше для фейерверка.

Представление уже началось. В небо со свистом взмыла большая шутиха и, взорвавшись, обернулась россыпью розовых и зеленых искр, таявших при падении. Толпа загудела. Засверкал малиновый бенгальский огонь, неожиданно из темноты проступили очертания рам для иллюминаций, и кроваво-красный отблеск высветил лицо и руки пиротехника в рабочей блузе. Всюду толпились зрители. Наверняка тут собрался весь Портсмут,

[58] Примечания: 58

Саутси-Коммон — обширный парк, примыкающий к набережной в *Саутси* (курортном районе города *Портсмут*, расположенного на юге острова *Портси*).

Саутси, а также бóльшая часть Лендпорта и Портси; никогда прежде я не видел столько народу в Коммон.

Мы протолкнулись поближе к шуму и веселью. Справа, в холодном бледном свете, вырисовывались контуры большого пирса с павильоном, выглядевшего почти безлюдным, а слева возвышалась черная приземистая громада замка Саутси[59]. Волны накатывали на мощеный спуск к воде, омывая каменные волнорезы, в красном свете представавшие бледными, призрачными фигурами. Потом бенгальский огонь неожиданно погас, и минуту-другую пришлось прокладывать себе путь во мраке.

Вскоре мы очутились в гуще толпы. Вокруг раздавался гул голосов зрителей, которые непрерывно двигались и оживленно переговаривались. В этой местности люди обычно становятся смелее и разговорчивее с наступлением темноты. Многочисленные девушки в легких платьях казались особенно прелестными и загадочными в сумерках, так что за Бейли приходилось приглядывать. Ветра почти не было, дым висел над самой зем-

[59] Примечания: 59

Замок Саутси — артиллерийский форт на о. Портси, построен в 1544 г. по приказу короля Генриха VIII Тюдора для защиты от возможного нападения французов, однако в боевых действиях не участвовал.

лей. От него возникал привкус железа во рту; вокруг время от времени покашливали. Какой же фейерверк без этого! В воздух то и дело с шипением взлетала очередная шутиха и рассыпалась огненными змейками; в промежутках рвались хлопушки, не давая зрителям заскучать. Перед тем как начали зажигать иллюминации, я проследил взглядом за большой красной шутихой и заметил быстро надвигавшиеся багровые тучи. С началом шторма они мне припомнились.

С иллюминациями что-то не заладилось. Средняя загоралась урывками. Появились затылок и ухо Принца Уэльского, но полностью профиль не вырисовался. Масштабная картина справа получилась, а огненный корабль слева с шипением погас, и от него осталась лишь грот-мачта. Зрители принялись шутить, заулюлюкали. Можно было разглядеть, как пиротехник прикладывает к носу фигуры штырь с накрученным на него фитилем.

И тут разразился шторм. В сумрачном небе прямо над нами грянул гром. Он сопровождался вспышкой молнии и прозвучал так, будто у самого уха пальнули из пушки. Ни до, ни после я не видел такой молнии. Она была ярче дневного света. Все это длилось мгновение, никто не успел

даже пошевелиться, но, по ощущениям, прошла целая вечность. Никогда не забуду, как огромная толпа, озаренная призрачным светом, замерла с разинутыми ртами.

Гром, вероятно, продолжал греметь, хотя мне запомнился только первый раскат. С минуту я изумленно стоял в наступившей темноте, затем осознал, что из желтых огоньков вновь сложились плечи и голова Принца Уэльского, а люди вокруг суетятся, переговариваются, смотрят на небо. А потом ударил хлесткий град.

Поднялась суматоха. Те, кто предусмотрительно захватил с собой зонтики, спешно их раскрывали.

— Я — домой, — сказал Бейли.

И мы побежали вместе со всеми к домам в другом конце парка.

То был незабываемый шторм. Молния сверкала непрестанно, грому, казалось, не будет конца. Один раскат следовал за другим. Вспышки озаряли огромный парк, запруженный людьми — тысячами черных бегущих фигурок. Они кричали и улюлюкали, а некоторые дамы до неприличия высоко подбирали юбки, чтобы бежать быстрее. Град падал из поднебесья рваными серыми полосами. Сверкала молния — ослепи-

тельно-белая, с синей каймой! Кое-где тропинки упирались в низкие ограждения, выставленные, чтобы в этих местах отросла трава, и тогда в людском потоке образовывались заторы, как бывает с водой, обтекающей валун или скалу. Далеко позади с шипением затухали бледно-желтые огоньки иллюминаций. Профиль крупной фигуры теперь проступил полностью, но спина уже выгорела. Вспучившийся под ударами града пролив Солент[60] и далекие башни замка выглядели лилово-синими.

Мы быстро промокли насквозь, хотя и мчались со всех ног. Каким-то образом нам удавалось держаться вместе. Поначалу Бейли, который, накрыв голову пиджаком, издавал подбадривающие вопли, сумел обогнать остальных, но потом он споткнулся о коварное ограждение в конце лужайки. Вперед вырвался Уайлдерспин, а Бейли, растерявший энтузиазм, замкнул нашу четверку. Наконец нам удалось вырваться из людского потока. Мы жили на Чолмондели-парейд, в доме номер шесть с видом на море. Основная же масса народу сосредоточилась у трех главных выходов из Коммон. Гостиница Крикетерс-Инн кишела

[60] Примечания: 60

Солент — пролив в северной части Ла-Манша, отделяющий остров Уайт от южного побережья Великобритании.

людьми, толпа стремилась прорваться внутрь.

Уайлдерспин, похоже, не собирался сдавать свои лидерские позиции. Я совершенно запыхался и уже почти сбавил ход, а он ближе к дому сделал рывок. Третий приятель, по фамилии то ли Прайор, то ли Прейор, бежал прямо за мной. Сзади слышались шлепанье его ботинок по лужам и прерывистое дыхание.

В тусклом свете уличного фонаря я увидел, как Уайлдерспин взлетел по ступенькам крыльца. Неистово полыхнувшая молния отчетливо и ярко высветила дом. *Не наш!*

Судя по темным, безжизненным окнам, он пустовал; с оштукатуренного парапета свисало что-то черное. К моему удивлению, дверь перед Уайлдерспином приоткрылась, затем все снова скрылось во мраке. Дверь захлопнулась.

Я выпалил что-то вроде того, что попаду домой первым, и, посмеиваясь над упустившим свой шанс Уайлдерспином, взбежал по ступенькам к двери с номером шесть и постучал дверным молотком. Третий приятель почти наступал мне на пятки. Следом появился запыхавшийся Бейли.

— Не повезло старине Уайлдерспину! — воскликнул он.

— Действительно, — поддакнул я. — Шарится

в темном коридоре, недоумевая, почему в холле нет света.

Тяжело дыша, мы ждали, что удрученный Уайлдерспин вот-вот появится на крыльце соседнего дома. Все слишком запыхались, чтобы разговаривать. Спустя минуты две открылась наша дверь.

— Дурака валяет, — сказал долговязый. — Идемте внутрь, пусть догоняет.

— Айда, Уайлдерспин! — прокричал я.

Долговязый уже стоял в холле, роняя капли воды на линолеум.

— Надо пойти переодеться, — сказал он. — Забудьте про Уайлдерспина.

Дверь дома номер семь клацнула и снова захлопнулась.

— Я иду к нему, — объявил Бейли. — Он такой чудак.

Бейли высказал вслух мои опасения. Уайлдерспин был одним из тех странных, впечатлительных людей, которые пугаются собственной тени. Однажды я чуть не довел его до нервного припадка тем, что мазнул ему по уху колоском во время загородной прогулки. Вряд ли он стал бы по доброй воле прятаться в пустующем доме после наступления темноты.

Без дальнейших рассуждений Бейли перелез

через перила. Необходимо упомянуть, что дома образуют длинный ряд, окаймленный общей террасой. Крыльцо у каждого свое, но входные двери расположены попарно.

— Сэр, позвоните, когда надумаете заходить, — сказала молодая горничная, не слишком церемонная с постояльцами, как то нередко бывает в пансионах, и закрыла дверь.

Я последовал за Бейли.

Дверь в дом номер семь медленно и очень тихо приоткрывалась. Полоса света на полу ширилась, но остальной коридор был погружен в темноту и безмолвие. Бледный свет из окна отчетливо освещал лишь ступеньки лестницы, уходившие вниз. Мы замерли в нерешительности. Дверь остановилась, затем снова медленно закрылась.

Мы переглянулись.

Все это казалось какой-то ловушкой. Я заколебался.

— А к черту! Чего бояться?! — воскликнул я и распахнул дверь.

Вспышка молнии озарила холл.

Успеть разглядеть что-то при свете молнии можно, только если хотя бы примерно знаешь, куда смотреть. Пустой холл был виден очень отчетливо, вплоть до пятна на полу там, где раньше

стояла вешалка для шляп. Мелькнул черный квадрат окна у лестницы, на верхней ступеньке которой лежало что-то большое и темное.

Я достал из кармана спичку и зажег ее. Она потухла. Вошел Бейли, закрыл за собой дверь, и я зажег новую спичку.

Все это происходило в тишине. Спичка вспыхнула, и мы оба вздрогнули.

— Уайлдерспин, дружище! Что с тобой?! — воскликнул я.

Наш приятель полусидел-полулежал на верхней ступеньке, вжавшись в стену и уставившись за поворот лестницы, куда не проникали наши взгляды. Рукой он словно загораживался от какого-то видения.

Внезапно огонек спички мигнул и погас. Раздался стон, кто-то наткнулся на меня в темноте и судорожно схватил за пальто, едва не сбив с ног. Признаться, я здорово перепугался и, защищаясь, инстинктивно вскинул руку, но тут же понял, что это Уайлдерспин.

— Спасите! Помогите! — кричал он.

Его страх передался мне. Бейли, по-видимому, тоже, поскольку он рванул дверь на себя. Мы все вывалились на улицу. Уайлдерспин всхлипывал и цеплялся за меня.

Дверь захлопнулась, а потом все так же тихо и зловеще начала открываться. Это было уже слишком. Мы поспешно спустились с крыльца.

Уайлдерспин всхлипывал все громче. Нам навстречу спешили смеющиеся люди под зонтами.

— Уведем его отсюда, — предложил Бейли. — Он до смерти перепуган.

Должен признаться, уже стоя у своей двери, я не отрывал взгляда от соседнего крыльца в ожидании неизвестно чего. Мы помогли Уайлдерспину подняться наверх, усадили на кровать. От расспросов не было бы толку. Он дрожал и неотрывно глядел куда-то перед собой. Казалось, испуг застыл на его лице навечно.

Наконец мы решили влить в него немного бренди для придания храбрости, но стало только хуже. Тогда мы уложили Уайлдерспина в постель, и он несколько успокоился. Вскоре он тихо заплакал в подушку, как какой-нибудь юнец.

— Я схожу в седьмой, если кто-нибудь со мной пойдет, — предложил долговязый.

— Черт! — воскликнул Бейли. — Пусть меня лучше сожрут вампиры, чем собственное любопытство.

Я тоже вызвался идти. Но пришлось дождаться, пока уснет Уайлдерспин.

Мы вышли из дома примерно в половине двенадцатого. Кругом стояла тишина, словно было уже за полночь.

— Дайте спичку, — попросил долговязый возле дома номер семь.

Незнакомый голос раздался возле самого моего уха так неожиданно, что я чуть не выпрыгнул из штанов. Сзади стоял ухмыляющийся полисмен, который неслышно подошел к нам в мягких штиблетах.

— Что замышляем? — спросил полисмен, ослепляя меня светом фонаря.

— В доме творится что-то неладное, — ответил долговязый. — Дверь была открыта.

Полисмен не спеша оглядел каждого из нас, пробормотал что-то вроде: «Не похожи», поднялся на крыльцо и посветил фонарем в холл. Затем направил луч на открытую дверь.

— Похоже, воры-пильщики, — констатировал полисмен. — Газовые и водопроводные трубы крадут.

Он прошел в холл, и мы осторожно последовали за ним.

Яркий круг света от фонаря двигался впереди. Неожиданно полисмен резко выдохнул. Он стоял почти на том месте, где мы нашли Уайлдерспина.

Скользнув по перилам лестницы, луч устремился туда, куда недавно смотрел наш приятель.

— Поглядите, — сказал полисмен долговязому.

Потом посмотрел Бейли, за ним — я.

Не думаю, что стоит описывать то, что мы увидели. Особый ужас вызывало обезображенное лицо. Представляю, что почувствовал Уайлдерспин, когда вспышка молнии выхватила такое из темноты. Однако нет причин пускаться в описание подробностей.

Даже увидев все своими глазами, мы не поняли, как это случилось. Но вскоре долговязый нашел объяснение.

Мертвец был одним из тех воров, которые опускаются до кражи газовых и водопроводных труб из выселенных домов. Громоотвода в доме номер семь не было, но на крыше возвышался флагшток, который по глупости оснастили позолоченным шпилем и цинковой проволокой вместо тросов. Его обуглившиеся остатки я и заметил тогда у края парапета. По всей видимости, первая вспышка молнии, которая заставила зрителей спешно покидать парк, ударила во флагшток и на своем пути в землю прошла через трубы и прочие предметы, проводящие электричество. На повороте лестницы красовался латунный светильник, а

вдоль стены шли такие же перильца. Вне всяких сомнений, несчастный бродяга схватился за них, отчего неожиданным и ужасным образом выбыл из числа живых.

Бедняга Уайлдерспин пребывал в плачевном состоянии много дней, и остаток нашего отпуска прошел главным образом в заботах о том, как его успокоить. Однако потрясение не вызвало столь уж непоправимых последствий. Он всегда был нервным и впечатлительным, таковым и остался, просто в чуть большей степени.

1894

Остров Эпиорниса

Перевод А. Круглова.

Человек со шрамом на лице склонился над столом, разглядывая мой сверток.

— Орхидеи? — поинтересовался он.

— Так, несколько экземпляров.

— Циприпедиумы?[61]

— По большей части.

— Что-нибудь новенькое? Да нет, откуда. Двадцать пять… нет, двадцать семь лет назад я обшарил эти острова вдоль и поперек. Если и найдется новое, то уж совсем редкость — я тогда мало что упустил.

— Я не коллекционер…

— Тогда я был молод, — продолжал он. — Ну и носило меня по свету, черт возьми! — Он скользнул по мне испытующим взглядом. — Два года в Ост-Индии, семь в Бразилии. Потом двинул на Мадагаскар.

— Я слыхал кое о ком из здешних первооткры-

---

[61] Примечания: 61

Циприпедиум — разновидность орхидей.

вателей, — заметил я, предвкушая интересную байку. — Вы для кого собирали образцы?

— Для компании Доусона. О Бутчере таком слыхали?

— Бутчер… Бутчер… — Фамилия казалась смутно знакомой, и вдруг я вспомнил. — Ну как же, процесс «Бутчер против Доусона»! Так это вы застряли на необитаемом острове, а потом хотели отсудить у нанимателя жалованье за четыре года?

— Ваш покорный слуга, — поклонился человек со шрамом. — Любопытное дельце, правда? Сколотил на том острове состояньице, палец о палец не ударив, и никак меня было не уволить! Сидел там, подсчитывал доход и веселился. Весь песок на этом чертовом атолле исчертил цифрами — здоровенными такими.

— Как же вы там очутились? Не помню уже подробностей.

— Ну… Вы об эпиорнисах[62] что-нибудь знаете?

---

[62] Примечания: 62

Эпиорнис — вымерший ныне род крупных (до 3 м в высоту) нелетающих птиц из семейства эпиорнисовых, водившийся на острове *Мадагаскар* с эпохи плейстоцена до середины XVII в.; исчез вследствие охоты и изменений климата. Найдено около 70 ископаемых яиц эпиорниса длиной 30–32 см. Упоминание (в подстрочном авторском примечании) о встрече человека с эпиорнисом в 1745 г. — мистификация Уэллса, как и путешественник по фамилии *Мак-Эндрю*.

— Как же, как же. Эндрюс еще месяц назад, перед моим отплытием сюда, рассказывал о новом их виде, который он изучает. Одна только берцовая кость длиной в ярд — вот это было чудище!

— Ну еще бы, — хмыкнул человек со шрамом, — настоящий монстр! Почище Синдбадовой птицы Рух[63] из арабских сказок… Не знаете, давно нашли те кости?

— Года три-четыре назад — в девяносто первом, кажется. А что?

— Да то, что я нашел кости эпиорниса на два десятка лет раньше! Если бы Доусоны не валяли дурака с моим жалованьем, то прогремели бы на весь мир. Не виноват же я, что проклятущую лодку унесло течением… — Он помолчал. — Небось, там же и откопали — в болотце милях в девяноста к северу от Антананариву. Знаете, где это? Туда надо вдоль берега на лодках добираться — слыхали о таком месте?

— Нет, не припоминаю. Хотя, кажется, Эндрюс говорил про какое-то болото.

— Должно быть, то самое и есть, на восточном

---

[63] Примечания: 63

Рух — в арабской и персидской мифологии гигантская птица, способная уносить и пожирать слонов (так что, вопреки словам человека со шрамом, сравнение с нею эпиорниса — явно не в пользу последнего); фигурирует в сказках об Абд аль-Рахмане и *Синдбаде*-мореходе, входящих в «Книгу тысячи и одной ночи».

побережье. Там вода какая-то особенная, в ней ничего не портится. Пахнет креозотом[64], мне сразу Тринидад вспомнился… А яйца откопать удалось? Мне попадались огромные, в полтора фута. Там трясина вокруг, толком не подберешься, и сплошная соль. Да уж, тяжко приходилось… Удивительно, как я вообще наткнулся на те яйца! Отправился я с двумя туземцами на этой их лодчонке, переплетенной лианами. Тогда же, кстати, мы и кости нашли… Взяли с собой припасов на четыре дня и разбили палатку, где грунт потверже. Как сейчас чую тот чудной дегтярный запах. Работенка не из приятных: бредешь по колено в грязи и тычешь по сторонам железным прутом — да еще скорлупу попробуй не разбей!..

Интересно, как давно жили те эпиорнисы? По словам миссионеров, у туземцев есть легенды о том времени, но мне самому их слышать не доводилось[65]. Во всяком случае, те яйца, что мы подняли, были совсем свежие, будто их только что снесли. Каково, а? Когда их тащили к лодке,

---

[64] Примечания: 64

Креозот — бесцветная маслянистая пахучая жидкость, получаемая из древесного и каменноугольного дегтя.

[65] Примечания: 65

Насколько известно, ни один европеец не видел живого эпиорниса, за сомнительным исключением Мак-Эндрю, который побывал на Мадагаскаре в 1745 г. — *Примеч. автора.*

черномазый споткнулся и расколотил одно. Ох и отлупил же я мерзавца! Так вот, оно даже не протухло, а ведь мамаша, должно быть, уже лет четыреста как сдохла. Туземец оправдывался, будто его, мол, укусила сколопендра… но не буду забегать вперед. Весь день мы копались в проклятой черной жиже, вывозились с ног до головы, чтобы добыть яйца целиком, так что, понятное дело, потеря меня разозлила. Сами посудите, ведь такая неслыханная удача: целехонькие, ни единой трещинки! Я потом ходил в лондонский Музей естественной истории[66], так они там все битые и склеенные вроде мозаики, да и кусков не хватает. А мои — само совершенство! Только выдуть их аккуратненько — и готово дело. Вот я и отвесил тому увальню пару ласковых — три часа работы коту под хвост из-за какой-то там несчастной сколопендры!

Человек со шрамом достал из кармана глиняную трубку и рассеянно набил из кисета, который я выложил перед ним на стол.

— Ну и как, — поинтересовался я, — довезли вы

---

[66] Примечания: 66

Музей естественной истории — один из музеев, расположенных в Южном Кенсингтоне, на Эксгибишн-роуд, часть коллекции Британского музея, ставшая в 1881 г. отдельным учреждением. К настоящему времени она насчитывает более 70 млн ботанических, зоологических, палеонтологических и минералогических экспонатов.

уцелевшие яйца? Не припоминаю, чтобы…

— Так это и есть самое главное в моей истории! Их оставалось три, целых и абсолютно свежих. Мы погрузили их в лодку, и я пошел к палатке сварить себе кофе. Мои дикари остались на берегу — укушенный нянчился со своей болячкой, а другой ему помогал. Мне и в голову не могло прийти, что эти паршивцы воспользуются удобным случаем, чтобы свести счеты. Должно быть, один совсем взбесился от яда сколопендры и моей взбучки — он вообще был норовистый — и сманил другого.

Сижу, значит, курю, кипячу воду на спиртовке, которую всегда беру с собой в экспедиции, и любуюсь закатом на болоте. Красота, да и только — алые, как кровь, полосы на черном, вдали серые туманные холмы, а над ними небо полыхает, будто огненная печь. А меж тем в полусотне шагов за моей спиной проклятые язычники, которым на все это благолепие плевать, сговариваются угнать лодку и бросить меня одного с едой на три дня, холщовой палаткой и маленьким бочонком воды — другой пресной на том берегу не достать! Слышу вдруг за спиной крик, оборачиваюсь, а они уже в этом своем челноке — лодкой его и не назовешь — ярдах в двадцати от берега! Я

сразу смекнул, чем это пахнет. Ружье осталось в палатке, да и патронов с пулями нет, одна мелкая дробь. Но у меня в кармане был маленький револьвер. Выхватил я его и кинулся к берегу. «Назад! — ору. — Назад!» Они что-то залопотали в ответ, а тот, что разбил яйцо, ухмыльнулся. Я прицелился в другого, неукушенного, который греб, но промазал. Они захохотали, однако я не сдавался. Взял себя в руки, снова прицелился — и тут черномазый подскочил! В третий раз пуля угодила в голову, и он опрокинулся за борт вместе с веслом. Чертовски удачный выстрел для револьвера, до лодки уже было ярдов пятьдесят. Туземец так и не вынырнул — то ли я его застрелил, то ли оглушил, и он захлебнулся. Другой залег на дно лодки и на мои крики больше не отзывался. Я расстрелял все патроны, но без толку.

Вы только вообразите дурацкое положение, в котором я оказался! Один на пустом гиблом берегу, позади сплошное болото, а впереди сумеречная морская гладь с черным силуэтом лодчонки, которую уносит все дальше. В ту минуту я клял на чем свет стоит и доусонов, и джемраков[67],

[67] Примечания: 67

Чарльз *Джемрак* (наст. имя и фамилия — Иоганн Кристиан Карл Ямрах; 1815–1891) — знаменитый поставщик диких животных, владелец зверинца в Лондоне конца XIX в., по происхождению немец.

и музеи. Звал туземца, пока не сорвал голос, но черномазый так и не откликнулся.

Оставалось только одно: постараться забыть про местных акул и догонять беглеца вплавь. Я раскрыл складной нож, взял его в зубы, скинул одежду и поплыл. В воде я сразу потерял челнок из виду, но прикинул, в какую сторону тот дрейфует, и поплыл наперерез. Уцелевший туземец был слишком плох, чтобы пытаться как-то управлять суденышком. Вскоре очертания челнока вновь показались над волнами в юго-западной стороне. Закат уже потускнел, надвигалась ночь. В темной синеве над головой проглядывали первые звезды. Я работал руками и ногами, словно заправский спортсмен, хотя мышцы ныли все сильнее.

Когда наконец доплыл, звезды уже усыпали все небо. Стало темнее, и вода подо мной засветилась яркими искорками. Ну, вы знаете — фосфоресценция. Толком и не разобрать, где звезды, а где она, — даже голова закружилась. Временами кажется, что плывешь вверх тормашками. Челнок впереди чернел, как смертный грех, а рябь на воде под бортом сверкала жидким пламенем. Понятное дело, забираться внутрь я побаивался — кто знал, на что еще способен последний туземец! Он, похоже, свернулся клубком на самом носу,

так что корма приподнялась над водой. Челнок медленно кружился в дрейфе, будто вальсировал. Я ухватился за корму и осторожно подтянулся, затем вскарабкался на борт с ножом в руке, готовый броситься вперед. Думал, туземец проснется, но он даже не шелохнулся. Так я и остался на корме крошечного суденышка посреди спокойного светящегося моря с россыпью звезд над головой — сидел и ждал, что будет дальше.

В конце концов, так ничего и не дождавшись, я окликнул туземца по имени. Он не ответил. Сам я настолько вымотался, что приближаться не рисковал. Так и сидел, пару раз даже, наверное, вздремнул. Только когда рассвело, я понял, что он дохлый как бревно и уже весь распух и посинел. Три яйца и кости эпиорниса лежали посредине челнока, в ногах у мертвеца стоял бочонок с водой, рядом — немного кофе и сухарей, завернутых в номер кейптаунского «Аргуса»[68], а под телом нашлась жестянка с метиловым спиртом. Весла не было, как и ничего на замену, если не считать той жестянки. Оставалось лишь дрейфовать, пока меня не подберут.

Я осмотрел чернокожего, признал виновной

[68] Примечания: 68

«Аргус» — ежедневная кейптаунская англоязычная газета, основанная в 1857 г.

неизвестную сколопендру, змею или скорпиона и выкинул труп за борт. Потом напился воды, погрыз сухарей и принялся осматриваться, хотя из такой низкой посудины особо много не увидишь. Так или иначе, на горизонте не обнаружилось ни берегов Мадагаскара, ни вообще какой-либо земли. Виднелись только верхушки парусов — неизвестная шхуна шла на юго-запад, — но и они вскоре исчезли. Солнце меж тем поднялось уже высоко и начало жарить вовсю. Господи, ну и пекло — чуть мозги не сварились! Сперва я окунал голову в море, а потом взгляд упал на «Аргус». Я улегся на дно челнока и накрылся газетным листом. Отличная штука эти газеты! Прежде я ни одной не прочитал до конца, но до чего только не дойдешь, когда останешься вот так вот совсем один. Я перечел тот несчастный «Аргус» раз двадцать, наверное. Смола на бортах челнока плавилась от жары и вздувалась пузырями…

Дней десять меня носило по волнам, — продолжал человек со шрамом. — Легко сказать, а? Каждый день повторял предыдущий. Солнце так пекло, что наблюдать за горизонтом я мог только утром и вечером. За первые три дня я не видел больше ни одного паруса, а потом с тех судов, которые успевал заметить, не видели меня. На

шестую ночь мимо прошел корабль меньше чем в полумиле — яркие огни, открытые иллюминаторы, — будто огромный светляк во тьме. С палубы доносилась музыка, а я стоял и вопил ему вслед. На второй день я расколупал с конца одно из яиц эпиорниса и попробовал на вкус. К моей радости, оно оказалось съедобным. Припахивало слегка, но не тухлятиной — чем-то напоминало утиное. С одной стороны желтка было что-то вроде круглого пятна дюймов шести величиной с кровяными прожилками и белым рубцом лесенкой. Выглядело подозрительно, но тогда я еще не понимал, что это значит, да и привередничать не собирался. Вместе с сухарями и водой из бочонка мне хватило того яйца на три дня. Еще я жевал кофейные зерна — для бодрости. Второе яйцо я вскрыл на восьмой день… и испугался.

Человек со шрамом помолчал.

— Да, — кивнул он, — в яйце оказался зародыш. Вам трудно поверить, понимаю. Но *я-то* видел собственными глазами! Яйцо пролежало в той холодной черной грязи лет триста, и все-таки ошибиться было невозможно. Внутри сидел — как его? — эмбрион, скрюченный, с большой головой и бьющимся сердцем. Желток сморщился, и его, как и всю скорлупу изнутри,

обволакивали какие-то пленки. Выходило, что в лодчонке посреди Индийского океана я высиживал яйца самой большой из вымерших птиц. Если бы старик Доусон только знал! Стоило это жалованья за четыре года, как думаете?

Тем не менее еще до того, как показался коралловый риф, мне пришлось сожрать драгоценную диковинку до последней крошки — хотя некоторые куски были противней некуда. Третье яйцо я не трогал. Смотрел на свет, вот только за толстой скорлупой не мог разобрать, что творится внутри. Казалось, будто слышится биение пульса, но это мог быть просто шум в ушах, как бывает, когда прислушаешься к морской раковине.

Атолл возник перед глазами неожиданно, на рассвете, словно поднялся из моря вместе с солнцем. Меня несло прямо к нему, а затем, когда до берега оставалось меньше полумили, течение вдруг отвернуло в сторону, и пришлось грести изо всех сил руками и обломками скорлупы эпиорниса, чтобы не промахнуться. В конце концов я достиг цели. Самый обычный атолл — мили четыре в окружности, горсточка пальм у лужицы с дождевой водой и лагуна, где кишели рыбы-

попугаи[69]. Я отнес яйцо на берег подальше от линии прилива и положил на солнце, чтобы дать птенцу шанс, потом выволок на берег челнок и отправился на разведку. Коралловый атолл — на редкость унылое местечко. Как только удалось отыскать пресную воду, у меня весь интерес иссяк. Мальчишкой я думал, что ничего не может быть увлекательнее, чем приключения Робинзона Крузо, но мой атолл оказался скучнее церковных проповедей. Я бродил вокруг лагуны, искал что-нибудь поесть, думал о том о сем, но поверьте, не успел закончиться день, как все уже надоело до смерти. Надо сказать, мне сильно повезло: в тот самый день, когда я высадился на берег, погода переменилась. Шторм прошел севернее и захватил остров только краем, но к ночи разразился ливень с ураганным ветром. Чтобы перевернуть мою посудину, его хватило бы с лихвой.

Я спал под челноком, а яйцо, к счастью, лежало в песке повыше. Внезапно раздался грохот, будто на крышу обрушился град камней, плеснуло водой. Перед тем мне снился Антананариву, я вскинулся и окликнул Интоши — что, мол, за

[69] Примечания: 69

Рыбы-попугаи — семейство лучеперых рыб, обитающих в зоне коралловых рифов Тихого и Индийского океанов.

чертовщина? Потянулся к стулу за спичками и тут только вспомнил, где я. Фосфоресцирующие волны накатывали с такой яростью, точно хотели меня сожрать, а все остальное погрузилось в кромешную тьму. Ветер ревел как зверь, тучи висели над самой головой, а дождь лил так, словно небо дало течь и из него вычерпывают воду. Гигантский вал вздулся над берегом, извиваясь огненной змеей, и я пустился наутек. Когда вода с шипением отхлынула, вспомнил о челноке и вернулся, но он уже исчез. Тогда я решил проверить, цело ли яйцо, и ощупью добрался до него. Оно лежало на месте, и самые бешеные волны не могли туда докатиться. Я уселся рядом и обнял его, как друга. Боже мой, ну и ночка выдалась!

Шторм утих лишь к рассвету. От туч не осталось ни клочка, а берег усеяли обломки досок — так сказать, разъятый скелет моего челнока. Зато нашлась хоть какая-то работа: из этих останков я соорудил между двумя пальмами нечто вроде шалаша для защиты от штормов.

В тот самый день и проклюнулось яйцо.

Да-да, сэр, проклюнулось, едва я положил на него голову, как на подушку, и уснул! Послышался стук, я ощутил толчок и сел. Гляжу: на верхушке яйца дыра и оттуда выглядывает такая

смешная рыжая головка.

«Ну и ну! — выдохнул я. — Что ж, добро пожаловать!»

Птенец поднатужился и выбрался наружу.

Это был славный добрый малыш размером с курицу, очень похожий на любого другого птенца, разве что крупнее. Поначалу его оперение было грязно-бурым с какими-то серыми струпьями, которые вскоре отвалились, и редкими перышками вроде пуха. До чего же я обрадовался! Как по мне, Робинзон Крузо и тот не смог по-настоящему выразить, что такое одиночество. А тут у меня появилась компания, да еще такая интересная! Птенец глянул на меня, моргнул, закатив веки кверху, словно курица, чирикнул и тотчас стал клевать песок. Казалось, вылупиться с опозданием на триста лет было для него сущим пустяком.

«Привет, Пятница!» — улыбнулся я, потому что еще в лодке, увидав живой зародыш в яйце, решил так назвать птенца, если вылупится. Я немного тревожился, чем его кормить, и первым делом угостил сырой рыбой. Он мигом проглотил кусок и вновь разинул клюв. Это радовало: ведь окажись птичка привередой, пришлось бы в конце концов съесть ее саму!

Знали бы вы, каким занятным был этот птенец

эпиорниса. С первых дней не отходил от меня ни на шаг. Всегда стоял рядом и смотрел, когда я удил рыбу в лагуне, и получал свою долю улова. А какой был умница! На берегу попадались какие-то зеленые бородавчатые твари, точь-в-точь маринованные огурцы[70]. Пятница склевал один такой, и его стошнило. Больше он на них и не глядел.

А еще он рос — просто на глазах! Его спокойная дружелюбная натура устраивала меня на все сто, ведь я никогда не отличался общительностью, и первые года два мы были довольны жизнью, насколько это возможно на таком островке. Жалованье от Доусонов копилось, так что я ни о чем не волновался. Время от времени вдали показывался парус, но ни разу не приблизился. От нечего делать я украшал атолл узорами и чертежами из морских ежей и причудливых ракушек, а кругом по всему берегу выложил крупную надпись: «Остров Эпиорниса», какие у нас в Англии делают из цветных камушков возле железнодорожных станций. Валялся на песке и

[70] Примечания: 70

Как следует из дальнейшего рассказа, это *морские огурцы*, или голотурии, — иглокожие животные с продолговатым морщинистым телом, обитающие у коралловых рифов; съедобные виды известны под названием «трепанги». «Бородавки», придающие голотурии дополнительное сходство с огурцом, — это спинные сосочки.

смотрел, как мой питомец расхаживает туда-сюда — и все растет, растет… Думал, если выберусь когда-нибудь отсюда, буду показывать его за деньги — на жизнь хватит с лихвой. После первой линьки птенец похорошел, обзавелся гребнем, синей бородкой и пышными зелеными перьями в хвосте. Я все гадал, не заявят ли Доусоны права на птицу. Во время штормов и в сезон дождей мы устраивались в шалаше из остатков челнока, и я рассказывал Пятнице всякие небылицы про своих друзей на родине, а когда ненастье стихало, мы вместе шли смотреть, что выбросили на берег волны. Одним словом — идиллия. Будь у меня хоть немного табачку, просто райское было бы житье.

Портиться наш уютный маленький рай стал к концу второго года. В Пятнице было уже футов четырнадцать от ног до клюва. Большая, широкая голова, по форме как конец кирки, и огромные карие глаза с желтым ободком, посаженные не по бокам, как у курицы, а по-человечьи. Оперение превосходное, не то что какой-нибудь страус с его траурной окраской, а ближе к казуару[71]

[71] Примечания: 71

Казуар — род крупных (до 2 м в высоту) нелетающих птиц из семейства казуаровых, обитающих в тропических лесах Новой Гвинеи и Австралии.

по окраске и строению. Тогда-то мой питомец и начал топорщить гребень, петушиться и выказывать признаки дурного характера.

А затем, когда однажды в рыбалке наступила полоса невезения, он стал ходить за мной с каким-то чудным задумчивым видом. Я думал, может, наелся каких-нибудь морских огурцов, — но нет, он просто выражал недовольство! Я тоже был голодный и, когда наконец что-то выловил, решил съесть улов сам. В то утро мы оба были не в духе. Пятница клюнул рыбу и потянул к себе, а я стукнул его по голове, чтобы отогнать. Тут-то он и накинулся на меня. Святые угодники!..

Первым делом он наградил вот этим. — Рассказчик показал на свой шрам. — Потом лягнул — как ломовая лошадь! Я зажал руками лицо и, видя, что он не унимается, помчался прочь во весь дух, но голенастые ноги эпиорниса были проворнее, чем у призового скакуна. Он бежал следом, пинал меня и долбил своим клювом-киркой по затылку. Пришлось спасаться в лагуне, забраться по самую шею, а он остановился у воды, потому что терпеть ее не мог, и принялся орать, как охрипший павлин, а потом стал расхаживать по берегу взад-вперед. Признаюсь, довольно унизительно было смотреть, как важничает это проклятое ис-

копаемое. Меж тем с лица у меня стекала кровь, а тело превратилось в сплошной синяк.

Я решил переплыть лагуну и выждать, пока птица успокоится. Залез на самую высокую пальму и задумался. Никогда в жизни мне не было так обидно. Какая черная неблагодарность! Я ему ближе родного брата — высидел, выкормил, воспитал. Голенастое ископаемое чудище! А я — человек, царь природы… и все такое прочее.

Может, со временем он сам это увидит в правильном свете и пожалеет о своем гнусном поведении? Вот наловлю вкусных рыбок, подойду как бы невзначай, угощу — он и образумится… Далеко не сразу я понял, какой злопамятной и мстительной может быть допотопная птица. Воплощенная злоба!

Не стану рассказывать обо всех уловках, которые перепробовал, чтобы заставить его одуматься, — я просто не в силах. До сих пор сгораю со стыда, как вспомню об унижениях и побоях, которые терпел от этого дьявольского экспоната! Наконец я решил применить силу и начал швыряться кусками коралла, но он только глотал их. Таким образом я чуть было не лишился так ножа, но, к счастью, тот оказался слишком велик, и он не смог его проглотить. Я пытался взять его

измором и перестал удить рыбу, но коварный эпиорнис наладился собирать червей на берегу в часы отлива и кое-как обходился. В результате половину времени я сидел по шею в лагуне, а другую — на пальмах. Одна оказалась низковата — ну и развлечение он устроил себе тогда с моими икрами!

В конце концов это стало просто невыносимым. Не знаю, доводилось ли вам ночевать на пальме. Меня там мучили самые жуткие кошмары. А позору-то! Какой-то вымерший индюк бродит по моему острову с надутым видом, будто герцог, а я даже не имею права ступить на землю. Я уже плакал от усталости и досады — и прямо заявил ему, что никакому чертову анахронизму не позволю гоняться за мной по необитаемому острову. Пускай клюет какого-нибудь мореплавателя из собственной эпохи! Но эпиорнис на это лишь щелкал клювом — вот же нескладный урод, одни ноги да шея!

Сколько все это тянулось, и говорить не хочется. Я убил бы его раньше, да не знал как. Однако в конце концов вспомнил один способ, который практикуют в Южной Америке. Крепко связал все свои рыболовные лески стеблями водорослей — получилась прочная веревка длиной ярдов

двенадцать, даже больше, — и к каждому ее концу прикрепил обломок коралла. Времени на это ушло порядочно, ведь приходилось то укрываться в лагуне, то лезть на пальму. Затем я быстро раскрутил все это над головой и метнул в эпиорниса. Сначала промахнулся, но в другой раз веревка надежно обвилась вокруг его ног. Он рухнул наземь. Я стоял по пояс в воде и, едва птица свалилась, выскочил на берег и перепилил ей горло ножом…

Даже теперь больно вспоминать об этом. Несмотря на весь свой гнев, в ту минуту я чувствовал себя убийцей. Стоял и смотрел, как его кровь стекает на белый песок, а великолепные длинные ноги и шея дергаются в агонии… Брр!..

После той трагедии одиночество пало на меня как проклятье. Боже мой! Вы не можете себе представить, как мне не хватало моей птицы. Я сидел над ее телом и горевал, с содроганием окидывая взглядом унылый безмолвный риф. Вспоминал, каким славным птенцом был Пятница, какие забавные штуки выкидывал, пока не сбился с пути. Кто знает — если бы я только ранил его, может, сумел бы потом и перевоспитать. Мне хотелось похоронить его, но как выдолбишь могилу в коралловой толще? Я думал о нем как о человеке и

даже помыслить не мог о том, чтобы его съесть. Опустил тело в лагуну, и рыбы начисто обглодали кости. Не сохранил даже перьев!

А потом какой-то тип проплывал однажды неподалеку на яхте и решил глянуть, существует ли еще мой атолл. Еще немного, и он бы опоздал. Мне стало так тошно в горестном одиночестве, что оставалось лишь выбрать, броситься ли в море, чтобы покончить с земными делами, или наесться морских огурцов.

Кости я сдал в антикварную лавчонку у Британского музея, некоему Уинслоу, а он, по его словам, перепродал их старику Хэверсу. Тот, видимо, не оценил необычайных размеров, и кости привлекли к себе внимание только после его смерти. Птице дали имя Æpyornis… как там его…

— Æpyornis Vastus[72], — подсказал я. — Удивительное дело: как раз об этих костях мне рассказывал приятель. Когда нашли скелет эпиорниса с берцовой костью длиной почти в ярд, решили, что крупнее не бывает, и назвали Æpyornis Maximus[73]. Потом кто-то раздобыл другую, размером четыре фута шесть дюймов, и

---

[72] Примечания: 72
Эпиорнис огромный *(лат.)*.

[73] Примечания: 73
Эпиорнис величайший *(лат.)*.

появился Æpyornis Titan[74]. После смерти Хэверса в его коллекции обнаружился ваш Vastus, а теперь уже есть и Vastissimus![75]

— Да, Уинслоу мне рассказывал, — кивнул человек со шрамом. — Если найдут еще новых эпиорнисов, то какую-нибудь ученую шишку хватит удар… Нет, ну надо же было такому приключиться, а?

1894

---

[74] Примечания: 74
Эпиорнис гигантский *(лат. — англ.).*

[75] Примечания: 75
Огромнейший *(лат.).*

Искушение Хэррингея[76]

Перевод С. Антонова.

Совершенно невозможно утверждать, произошло ли все это на самом деле. Мой рассказ основывается исключительно на словах художника Р. М. Хэррингея.

По его версии, дело было так. Около десяти утра Хэррингей вошел к себе в мастерскую, намереваясь завершить работу над портретом, который он писал днем раньше. Это была голова итальянца-шарманщика, и Хэррингей подумывал — хотя еще не принял окончательного решения — назвать картину «Ночная молитва». До этого момента его рассказ не вызывает сомнений. Накануне он увидел человека, ожидавшего, когда ему бросят мелочь, и с проворством, отличающим талантливых людей, тотчас залучил его к себе.

— Становись на колени, — велел ему Хэррингей, — и смотри на эту подпорку, как будто ждешь,

---

[76] Примечания: 76

Этот рассказ представляет собой переделку сюжета более раннего рассказа «Служитель искусства» (1888); тексты обоих частично совпадают.

что тебе кинут деньги. И не скалься! — продолжал он. — Я не собираюсь писать твои десны. Сделай вид, будто ты несчастлив.

Теперь, по прошествии ночи, Хэррингей счел картину явной неудачей.

— Сработано неплохо, — сказал он себе. — Особенно шея. И тем не менее…

Он походил по мастерской, разглядывая портрет с разных сторон. Затем выругался. В его устном рассказе это слово прозвучало.

— Мазня, — заключил он. — Просто мазня — намалеванный шарманщик, только и всего. Вот если бы он был живой! Но мне никогда не удавалось вдохнуть душу в свои портреты. Может быть, мне недостает воображения?

Тут он не ошибался: ему *действительно* недоставало воображения.

— Ощущать, что ты настоящий творец! Взять холст и краску и создать человека — как Адам был создан из красной глины! Но *это*! Любой человек, повстречай он такого субъекта на улице, сказал бы, что это — грубая поделка из мастерской. Детвора закричала бы: «Ступай откуда пришел и спрячься в раму!» А ведь какой-то легкий мазок мог бы… Нет, это нельзя так оставить.

Он подошел к окну и потянул шторы. Они были

сделаны из голубого голландского полотна и наматывались на валики под окном, поэтому, чтобы лучше осветить комнату, их нужно было потянуть книзу. Потом Хэррингей взял со стола палитру, кисти и муштабель[77] и, вернувшись к картине, добавил пятнышко коричневой краски в уголок рта, а после сосредоточился на зрачке глаза. Затем ему пришло в голову, что подбородок шарманщика выглядит несколько бесстрастным для человека, возносящего молитву.

Через некоторое время он отложил свои инструменты и, закурив трубку, начал критически вглядываться в холст, оценивая, насколько продвинулась работа.

— Черт меня побери, если он не насмехается надо мной! — воскликнул Хэррингей. Он до сих пор убежден, что портрет и вправду усмехнулся.

Фигура на холсте, бесспорно, стала живее, но совсем иначе, чем ему хотелось. Ошибки быть не могло: на лице шарманщика была написана усмешка.

— «Молитва безбожника», — сказал себе Хэр-

---

[77] Примечания: 77

Муштабель — приспособление в виде деревянной указки длиной от полуметра до метра, с шариком на конце, которое живописцы держат в левой руке для поддержки правой при работе над мелкими деталями картины.

рингей. — Выйдет довольно тонко и умно. Вот только левая бровь воздета недостаточно саркастично.

Он приблизился и слегка коснулся кистью брови, а также для большей реалистичности немного увеличил мочку уха. Потом снова принялся размышлять.

— Боюсь, с «Молитвой» придется распрощаться, — пробормотал Хэррингей. — А почему не «Мефистофель»? Но нет, это слишком банально. «Друг венецианского дожа» — не столь избито. Впрочем, доспехи ему не пойдут — очень уж будет напоминать Камелот[78]. А что, если облечь его в багряницу[79] и окрестить «Членом священной коллегии»? Это свидетельствовало бы и о юморе автора, и о его знании итальянской истории Средних веков. И не стоит забывать о Бенвенуто Челлини[80], чьи работы очень кстати подсказывают поместить в один из углов картины золотой

---

[78] Примечания: 78

Камелот — замок из преданий о короле Артуре (см. примеч. на с. 42).

[79] Примечания: 79

Багряница — торжественная пурпурная мантия монархов, знак верховной власти.

[80] Примечания: 80

Бенвенуто Челлини (1500–1571) — знаменитый итальянский скульптор, ювелир, живописец, художник-график, воин и музыкант эпохи Возрождения, автор всемирно известной автобиографии, впервые опубликованной в 1728 г.

кубок. Но это едва ли будет гармонировать с цветом лица моего шарманщика.

По словам самого Хэррингея, он намеренно болтал сам с собой таким образом, чтобы подавить необъяснимое и неприятное чувство страха. Лицо на портрете определенно становилось все более отталкивающим. И при этом оно столь же определенно становилось все более живым — пусть и зловещим, но куда более живым, чем все, что ему доводилось писать прежде.

— Назовем его «Портрет джентльмена», — сказал Хэррингей, — «Портрет одного джентльмена»… Нет, не годится, — продолжал он, стараясь не падать духом. — Это отдает дурновкусием. Усмешка — вот что надо убрать. Изгнать ее и добавить блеска в глаза — не замечал прежде, как они горят, — и он сможет сойти за… Как насчет «Страстного пилигрима»? Но такое дьявольское лицо не будет иметь успеха — по *эту* сторону Ла-Манша… Кое-какие неточности остались, — заключил он. — Возможно, брови чересчур раскосы. — С этими словами он опустил штору еще ниже и вновь взялся за палитру и кисти.

Лицо на холсте, казалось, жило собственной жизнью. Хэррингей никак не мог понять, откуда исходит такое дьявольское выражение. Нужно

было проверить это опытным путем. Брови? Едва ли. Однако он их изменил. Нет, лучше не стало — скорее наоборот, облик человека на портрете сделался еще более сатанинским. Углы рта? Брр! Ухмылка из глумливой превратилась в откровенно зловещую. Может быть, глаз? Катастрофа! Целясь в коричневую краску, он каким-то образом ткнул кисть в киноварь. Теперь глаз как будто повернулся в глазнице и, сверкая, свирепо уставился на него. В порыве гнева, смешанного, вероятно, с приступом паники, он ударил по картине кистью, полной красной краски; и тогда произошло нечто в высшей степени любопытное и странное — если, конечно, произошло.

Демонический итальянец закрыл глаза, поджал губы и стер рукой краску с лица.

Затем красный глаз, издав звук, напоминавший причмокивание, опять открылся, и лицо на картине улыбнулось.

— Слишком уж вы вспыльчивый, — сказал портрет.

Хэррингей уверяет, что к тому моменту, когда худшее уже случилось, он вновь обрел присутствие духа, благодаря спасительному убеждению, что черти — существа разумные.

— Почему вы все время дергаетесь, гримас-

ничаете, ухмыляетесь и щуритесь, пока я вас пишу? — спросил он.

— Вовсе нет, — возразил портрет.

— Именно так, — настаивал Хэррингей.

— Все это делаете *вы*, — продолжал портрет.

— Нет, не *я*! — заспорил Хэррингей.

— Нет, вы, — упрямо повторил портрет. — И не вздумайте снова заляпать меня краской, потому что сказанное — чистая правда. Все утро вы пытались наобум придать моему лицу удачное выражение. Воистину, вы и понятия не имеете, как должна выглядеть ваша картина.

— Имею, — запротестовал Хэррингей.

— Не имеете, — решительно гнул свое портрет. — И прежде никогда не имели. Всякий раз вы приступаете к работе с самыми туманными представлениями о том, чего хотите добиться. Вы уверены лишь, что это должно быть нечто прекрасное, или благочестивое, или трагическое, — но во всем остальном полагаетесь на случай. Дорогой мой, неужели вы думаете, что можно писать картины подобным образом?

Здесь уместно напомнить: обо всем, что здесь рассказывается, мы знаем только со слов Хэррингея.

— Я буду писать свои картины так, как мне

нравится, — спокойно ответил он.

Судя по всему, это заявление привело портрет в некоторое замешательство.

— Нельзя писать картину без вдохновения, — заметил он.

— Но когда я писал вас, вдохновение у меня *было*!

— Как же! — Портрет сардонически усмехнулся. — Всего-навсего фантазия, что пришла вам в голову, когда вы увидели, как шарманщик смотрит на ваше окно! «Ночная молитва»! Ха-ха! Вы просто начали малевать наудачу — авось что-нибудь да выйдет, вот и все. И когда я увидел ваши метания, я пришел. Захотелось поговорить с вами… Искусство для вас, — продолжал портрет, — это просто рутинное занятие. Работаете вы с ленцой. Не знаю почему, но вы, кажется, не способны вложить душу в то, что делаете. Вдобавок вы чересчур много знаете, и это вас стесняет. На пике энтузиазма вас одолевает сомнение, не создал ли уже раньше кто-нибудь нечто подобное, и…

— Послушайте, — перебил Хэррингей, ожидавший от дьявола чего-то более оригинального, чем художественная критика. — Вы что, намерены прочесть мне лекцию?

И он щедро набрал красной краски на кисть из свиной щетины (номер двенадцатый).

— Истинный художник, — не унимался портрет, — всегда неискушен. А тот, кто принимается теоретизировать о своей работе, перестает быть художником и превращается в критика. Вагнер…[81] Зачем это вам понадобилась красная краска?

— Я собираюсь вас закрасить, — сказал Хэррингей. — Надоело слушать весь этот вздор. Вы глубоко заблуждаетесь, полагая, будто я стану вести с вами беседы на профессиональные темы лишь на том основании, что я художник.

— Минутку! — произнес портрет, явно встревоженный. — Я хочу сделать вам предложение — дельное предложение. То, что я сказал вам, — сущая правда. Вам недостает вдохновения. Пусть так. Вы, без сомнения, слышали легенды про Кёльнский собор и Чертов мост[82] и…

— Ерунда, — отмахнулся Хэррингей. — Неужто вы думаете, что я обреку себя на вечные муки

---

[81] Примечания: 81

Вагнер — см. примеч. на с. 38.

[82] Примечания: 82

Католический готический *Кёльнский собор* (XII–XIX вв.) и *Чертов мост* (де-факто *три* каменных арочных моста) через реку Ройс в Швейцарии близ альпийского селения Андерматт с давних пор окружены легендами о сделках их строителей с дьяволом.

ради удовольствия написать хорошую картину, которую все равно разнесут в пух и прах? Вот вам!

Кровь взыграла в его жилах. Чувство опасности, по его словам, только придало ему азарта, и он всадил в рот своему созданию сгусток киновари. Итальянец в крайнем изумлении, отплевываясь, попытался стереть ее. Затем — если верить Хэррингею — началось в высшей степени примечательное противостояние: он быстро швырял на холст красную краску, а портрет, корчась, столь же быстро ее стирал.

– *Два* шедевра, — предложил демон, — два бесспорных шедевра за душу художника из Челси. Это ведь выгодная сделка, разве нет?

Ответом ему стал новый тычок кистью.

В течение нескольких минут тишину мастерской нарушало только шлепание кисти, за которым следовали плевки и негодующие возгласы итальянца. Немало ударов пришлось на кисть руки и предплечье, однако довольно часто Хэррингей оказывался проворнее и ловчее своего противника и поражал его прямо в лицо. Наконец краска на палитре закончилась, и оба участника поединка, запыхавшись, замерли и начали пристально всматриваться друг в друга.

Портрет был так густо заляпан красным, будто вывалялся в крови на скотобойне, он судорожно переводил дыхание и нервно вздрагивал оттого, что струйки краски стекали ему за воротник. Тем не менее первый раунд закончился скорее в его пользу.

— Подумайте, — произнес он, упорно не желая сдаваться, — два величайших шедевра, выдержанные в разном стиле, каждый не уступает фрескам в соборе…

— Я знаю, что надо сделать, — перебил его Хэррингей и, выскочив из мастерской, стремглав понесся по коридору к будуару жены. Через минуту он вернулся с малярной кистью и большой банкой эмалевой краски, на которой было написано: «Цвет воробьиного яйца».

Увидев ее, красноглазый дьявол на портрете вскричал:

– *Три* шедевра — непревзойденных!

Хэррингей крест-накрест хватил кистью по изображению, после чего с силой вонзил ему кисть прямо в глаз. До него донеслось невнятное бормотание: «*Четыре* шедевра», а затем портрет стал фыркать и отплевываться.

Но Хэррингей уже перехватил инициативу и сдаваться не собирался. Быстрыми, решитель-

ными мазками он продолжал закрашивать бившийся в конвульсиях холст до тех пор, пока тот не превратился в однородную блестящую поверхность цвета воробьиного яйца. В какой-то миг на ней снова показался рот, успевший сказать: «*Пят*ь шедев…» — после чего был немедленно залит эмалью. Под конец открылся и сверкнул гневным огнем красный глаз — но больше ничто не нарушало ровного блеска подсыхавшей краски. Какое-то время затухавшее возмущение внутри картины вызывало здесь и там легкие морщинки, однако постепенно унялось и оно, и холст сделался совершенно неподвижен.

Тогда Хэррингей — так, по крайней мере, свидетельствует он сам — закурил трубку и, усевшись, уставился на покрытый эмалевой краской прямоугольник, силясь понять, что же это было. Потом, решив полюбопытствовать, как выглядит изнаночная сторона картины, он обошел вокруг мольберта. Ему вдруг стало досадно, что он не сфотографировал дьявола перед тем, как его замазать.

Такова история, записанная мною со слов Хэррингея. В доказательство он предъявил небольшой холст размером 24 на 20 дюймов, покрытый бледно-зеленой эмалевой краской, и клятвенно заверил меня, что его рассказ — сущая правда. Правда и то, что он до сих пор не создал ни одного шедевра — и, по мнению его близких друзей, едва ли когда-нибудь создаст.

1895

Примирение

Перевод А. Круглова.

Темпл не провел у Финдли и пяти минут, как ощутил былую неприязнь, а смертельная обида вспыхнула в памяти с новой силой. Однако данное себе рождественское обещание помириться заставляло сохранять фальшивое дружелюбие, на которое хозяин дома отвечал с такой готовностью. Они болтали о том о сем, всячески обходя стороной ту давнюю ссору. Поначалу Темпл говорил в основном о своих путешествиях. Он стоял между камином и шкафчиком с коллекцией минералов, примостив стакан с виски на каминной полке, а Финдли слушал, сидя в кресле, отодвинутом от рабочего стола, на котором был разложен десяток крохотных черепов ежей и землероек — предмет его нынешних трудов.

Гость мельком посмотрел на них и внезапно прервал начатый было рассказ о Западной Африке:

— А ты, должно быть, неплохо продвинулся, пока я странствовал?

— Да так, долблю потихоньку свою науку.

— Метишь в Королевское общество[83] и все такое прочее? Понятно. Как мы мечтали… сколько же это лет назад?

— Пять, со времен студенчества.

Темпл окинул комнату взглядом, на миг задержав его на округлом желтовато-сером предмете в углу возле двери.

— Все те же пухлые тома и фолианты, разве что их прибавилось, все тот же запах старых костей… и анатомические препараты — все те же? Там, на подоконнике? Похоже, научная слава тебе и жена, и любовница.

— Да какая у нас слава, — отмахнулся Финдли. — В лучшем случае назовут авторитетом в области сравнительной анатомии.

— Что ж, скромность украшает. Не женишься — не переменишься.

— Пожалуй, — искоса глянул Финдли.

— Если вдуматься, что еще надо для счастья? Только мне это не подходит. Не греет… Послушайка! — Темпл снова посмотрел в угол. — Должны

---

[83] Примечания: 83

Лондонское *королевское общество* по развитию знаний о природе — ведущее научное общество Великобритании, одно из старейших в мире; основано в 1660 г., утверждено королевской хартией в 1662 г.; играет роль британской Академии наук.

же быть какие-то рамки и для ученого сухаря. Как можно подпирать дверь человеческим черепом! — Он быстро пересек комнату и поднял желтоватый предмет.

— Каким еще черепом? — с недоумением переспросил Финдли. — Ах, *это*! Бог мой, да какой же это череп! Ты что, все позабыл?

— Да нет, теперь вижу. — Вернувшись к камину, Темпл с любопытством принялся вертеть предмет в руках. Массивная кость размером в три сжатых кулака напоминала по форме луковицу жилетных часов. — Что за штуковина такая?

— Неужто не узнаешь? У тебя и впрямь неважная память, — рассмеялся Финдли чуть натужно. — Это же ушная кость кита.

— А, понятно. — В голосе Темпла появилась скука. — Так и есть, слуховая булла[84]. Да, я многое забыл. — Он повернулся и положил кость на шкафчик рядом с гантелями. — Если ты всерьез насчет мюзик-холла, — продолжал он, возвращаясь к дружескому приглашению Финдли, — то я к твоим услугам. Боюсь только, староват я для

---

[84] Примечания: 84

Булла (слуховой барабан) — полая костная структура, расположенная у большинства млекопитающих на внутренней поверхности задней части черепа и охватывающая полость среднего уха; у китообразных образована разросшейся наружной барабанной костью.

подобных развлечений — сто лет там не бывал.

— Ну так мы для того и встретились, чтобы оживить нашу юность!

— Угу, и похоронить ошибки ранней зрелости… Ладно, как пожелаешь, мюзик-холл так мюзик-холл. Простые удовольствия будут в самый раз — к чему лишний трагизм?

Когда хозяин и гость вернулись в кабинет, маленькие часы на каминной полке, циферблат которых был едва различим в полумраке, уже показывали половину второго ночи. В комнатке, полной книг и костей, ничто не изменилось, только усердная служанка наведалась пару раз — подбросить угля в камин, опустить жалюзи и задернуть шторы. В тишине слышалось лишь тиканье часов. Багровые отсветы каминного огня разгоняли тени на потолке и выхватывали из мрака причудливые очертания черепов и костей на стенных полках. Наконец тишину нарушили щелчок замка, стук наружной двери и неверные шаги в коридоре. Затем открылась дверь в комнату, и мерцание камина осветило две мужские фигуры.

Темпл вошел первым, в расстегнутом пальто, глубоко засунув руки в карманы брюк, загорелое лицо раскраснелось от выпивки. Он был немного

озадачен, обнаружив себя в компании Финдли: рождественское обещание давно растворилось в алкоголе, и одурманенный мозг ударился в неуместные воспоминания. Сразу направившись к камину, Темпл застыл на фоне багрового сияния неправдоподобно контрастным черным силуэтом, глядя на огонь.

— В самом деле, — пробурчал он, — глупо было ссориться из-за такой ерунды. Чертовски глупо!

Финдли подошел к рабочему столу и стал нашаривать спички. Руки у него подрагивали.

— Моей вины в том не было… — начал он.

— Ну конечно! Ты же никогда ни в чем не виноват… Финдли-который-всегда-прав!

Хозяин тем временем сосредоточил внимание на лампе, пытаясь выкрутить фитили неверными пальцами; один фитиль застрял, другой пылал факелом. Управившись с ними наконец, Финдли повернулся к гостю.

— Снимай пальто, старина, выпей еще виски… Нет, ну не прелесть ли та девчонка в длинных юбках — как лихо отплясывала, а?

— Вот глупцы! — продолжал Темпл, не слушая. — Что? — обернулся он.

— Я говорю, раздевайся и садись. — Финдли придвинул ближе металлический столик, достал

сигары, бутылку виски и сифон содовой. — Лампа светит отвратительно, что-то не то с керосином, но другого у меня нет… А как тебе тот фокус с разбиванием камней?

Темпл продолжал все так же стоять, выпрямившись и мрачно глядя в огонь.

— Глупо было ссориться! — повторил он.

Финдли и сам выпил немало, и тонкая дипломатия ему не давалась. Сейчас он больше всего хотел положить конец сумбурной попытке примирения со старым врагом, мысли которого уже путались.

— Ни одна женщина не стоит мужской дружбы! — резко бросил Темпл.

Он опустился в кресло, налил себе виски с содовой и выпил. Мысль о дружбе овладела им и вызвала поток воспоминаний о приключениях студенческих лет: «А помнишь то?», «А помнишь это?»…

Финдли немного воспрянул духом.

— Да, славные были времена, — сказал он, подливая виски в стакан гостя.

Внезапно тот снова потемнел лицом.

— Ни одна женщина на свете… — Мыслями его, к досаде хозяина, опять завладела давняя ссора. — Будь они все прокляты! — Он пьяно хо-

хотнул. — В конце концов…

— Черт побери! — вырвалось у Финдли.

— Да тебе-то что чертыхаться? Вот я — другое дело, у меня есть причина! Если бы ты не влез тогда…

— Я думал, с прошлым покончено…

Темпл помолчал, глядя в огонь.

— П-по-кончено, — с трудом выговорил он, еле ворочая языком. Затем произнес неожиданно ясно: — Что-то я совсем пьяный, Финдли.

— Да ерунда! Налей себе еще, старина.

Гость внезапно вскочил с кресла, будто очнувшись.

— А с какой радости мне напиваться?

— Выпей и забудь! Дело прошлое.

— Уф! Мне бы холодной воды на голову. Я должен подумать… Какого дьявола я вообще тут делаю — у *тебя*?!

— Да не валяй ты дурака! Не хочешь пить, так давай поговорим о хорошем — плохое и забудется. Нам что, больше вспомнить нечего? Хотя бы старика Джейсона, боксерские перчатки… Интересно, смог бы ты теперь выйти на ринг?

Темпл молча смотрел на него, повернувшись спиной к огню. В голове мутилось от выпивки, старая ненависть застилала глаза. Он все больше

мрачнел, перебирая в уме оскорбления.

Финдли выругался про себя. Он видел, что собеседник едва сдерживается, да и ему самому сердечное гостеприимство давалось все труднее. Но что поделаешь, надо было продолжать.

— Не забыл Джейсона и его науку? Старик все же сделал из нас боксеров, хоть сам и неуклюж был как слон. Помнишь ту потасовку в забегаловке на Гауэр-стрит?

С показной беспечностью Финдли оттолкнул кресло, выскочил на середину комнаты и завращал кулаками, шутливо подражая манере старого призового бойца[85]. Затем выхватил из стенной ниши боксерские перчатки и натянул их.

Зловещее молчание гостя действовало на нервы. Похоже было, что показным весельем его не пронять, но Финдли не терял надежды.

— Довольно кукситься, приятель! Если мир видится в черных красках, выпей и развеселись. Ни одна женщина не стоит мужской дружбы — так оно и есть, ты совершенно прав! Давай-ка лучше

---

[85] Примечания: 85

То есть бойца эпохи «голых кулаков» (ко времени написания рассказа уже миновавшей), когда в поединках не использовались перчатки, а боксерские стойки отличались более низким и широким положением рук, предназначаясь в основном для ударов в корпус, а не в голову; по-видимому, этой старомодной манерой боксировать и объясняются слова Финдли о том, что Джейсон был «неуклюж как слон».

сразимся в этих новых перчатках на четыре унции[86] — ничто не способно так разогнать кровь и поднять дух.

— Ну ладно, — буркнул Темпл, отвлекаясь от своих мыслей. — Где у тебя другая пара?

— Там, в углу, на шкафчике с минералами. Отлично, черт возьми! Разомнемся, как в старые времена.

Темпл шагнул в угол, ощущая нервную дрожь. Он твердо намеревался победить, хоть и был легче весом, но затея казалась глупым мальчишеством по сравнению с тяжким злом, причиненным ему когда-то. Протянув руку к перчаткам, он задел лежавшую рядом китовую буллу. Искушение обожгло вспышкой молнии. Он надел перчатку на левую руку, а правую сунул в полость буллы. Массивная кость удобно облегала кулак — ну точь-в-точь боксерская перчатка, разве что без большого пальца. Идея сыграть злую шутку сразу подняла настроение. Насколько она будет злой, Темпл еще не решил.

---

[86] Примечания: 86

Унция — здесь: единица массы боксерских перчаток, равная 28,35 г. Налицо, таким образом, явная авторская промашка: четыре унции — это минимальный, практически детский вес; внутрь такой перчатки невозможно было бы поместить смягчающую накладку, рассчитанную на руку взрослого мужчины, — а тем более буллу. Для весовой категории 76–90 кг (среднестатистические мужские весовые параметры) должны использоваться перчатки на 14 унций.

Тем временем Финдли нервно суетился, передвигая рабочий стол в эркер, чтобы освободить место. Лампу он убрал за кресло.

— Ты готов? — спросил он, и Темпл резко развернулся.

Финдли смотрел ему в глаза, держа перед собой полураскрытые кулаки в защитной стойке. Странного вида «перчатки» на руке у противника он не заметил. Выпивка уже туманила взгляд обоих. Они встали друг против друга. Хозяин улыбался, гость — тоже, но сжав зубы. Две темные фигуры качнулись взад-вперед в тусклом мерцании камина и керосиновой лампы, затем Финдли сделал выпад левой, метя в лицо. Темпл уклонился и тут же изо всех сил ударил противника через плечо в голову — правым кулаком, утяжеленным массивной костью. Удар оказался настолько сильным, что Финдли зашатался, полуоглушенный и вне себя от изумления. Ухо и половина лица его онемели. Пытаясь удержаться на ногах, он получил другой удар в корпус, уже обычной перчаткой, и рухнул на пол возле шкафчика с сигарами.

Он пораженно таращил глаза на противника, который сумел его свалить, хотя и весил меньше

по крайней мере на целый стоун[87]. До нокаута было далеко, хотя крови, текущей из уха по щеке, Финдли не ощущал. Натянуто рассмеявшись, он с трудом поднялся на ноги, едва не опрокинув сигарный ящик. Поднял раскрытую ладонь и хотел было заговорить, но Темпл снова бросился в атаку. Он сделал обманный финт левой, однако Финдли, как опытный боксер, предугадал новый страшный выпад правой и сыграл на опережение, вложив во встречный удар левой рукой весь свой вес.

Соленый вкус крови из собственной разбитой губы и вид окровавленной щеки противника заставили Темпла потерять остатки сдержанности, уцелевшие после обильной выпивки, а заодно и весь лоск цивилизованности. Превратившись в дикое первобытное существо, жаждущее только убивать, он с яростным звериным ревом бросился на Финдли. Тот прикрылся перчаткой, но костяная гиря легко пробила защиту, переломив руку выше запястья, и нанесла три быстрых удара в лицо. Издав удивленный возглас, Финдли взмахнул рукой в попытке ответить и рухнул, как вол под обухом мясника.

---

[87] Примечания: 87

Стоун — английская мера веса, равная 6,35 кг.

Темпл тут же навалился сверху. Керосиновая лампа опрокинулась и погасла. Комната погрузилась в полумрак с багровыми сполохами догоравших в камине углей. Лежа на спине, Финдли сумел пробить Темплу по ребрам, но тот, прижав локтем к полу его горло, ударил в лицо буллой, словно кувалдой, а потом еще и еще — пока распростертое тело не перестало дергаться.

Отрезвил его лишь заполнивший комнату отчаянный женский визг. Скорчившись над убитым, он поднял голову и увидел, как закрывается дверь кабинета. Послышался топот удалявшихся по коридору шагов. Темпл опустил взгляд на то, что совсем недавно было лицом Финдли, и бесконечно долгую минуту смотрел на него, приоткрыв рот.

Затем он поднялся на ноги в бликах умирающего пламени и постоял над телом, словно приходя в себя после кошмара. Заметил у себя на руке буллу, покрытую кровью и клочьями волос, и тут осознал, что произошло. Охваченный внезапным ужасом, он отшвырнул от себя дьявольскую штуковину. Она со стуком упала на пол возле сигарного ящика, прокатилась несколько шагов и замерла у двери, где лежала вначале, — почти такая же с виду, похожая издали на человеческий череп. Казалось, булла выполнила свое предназначение и вернулась на прежнее место, став главной и единственной причиной смерти Финдли и самого Темпла.

1895

Красная комната

Перевод С. Антонова.

— Уверяю вас, — сказал я, — что напугать меня под силу только очень материальному привидению. — И я встал возле камина со стаканом в руке.

— Что ж, это ваш выбор, — отозвался сухорукий человек и окинул меня недоверчивым взглядом.

— Я прожил на этом свете уже двадцать восемь лет, — продолжал я, — и до сих пор не встречал ни одного привидения.

Старуха сидела, уставившись на огонь белесыми, широко раскрытыми глазами.

— О! — вмешалась она. — Вы прожили двадцать восемь лет, но, вестимо, никогда не встречали ничего похожего на этот дом. Здесь есть на что взглянуть, когда тебе всего лишь двадцать восемь годков. — Она медленно качала головой из стороны в сторону. — Есть на что взглянуть и о чем кручиниться.

Я заподозрил, что своими монотонными речами старики стараются преувеличить призрачные

ужасы их дома. Осушив стакан и поставив его на стол, я осмотрелся и мельком уловил в дальнем конце комнаты, в причудливом старинном зеркале, собственное отражение, до невозможности укороченное и одновременно расширенное.

— Что ж, — произнес я, — если я что-нибудь увижу нынче ночью, я узнаю много нового; ведь я подойду к делу непредвзято.

— Это ваш выбор, — повторил сухорукий.

До моего слуха донеслись шаркающие шаги и тихое постукивание палки по плитам коридора. Скрипнула на петлях дверь, и в комнату вошел другой старик, более согбенный, морщинистый и дряхлый, чем первый. Он опирался на костыль, на глазах у него были темные очки, полувывернутая бледно-розовая губа отвисла, обнажая гнилые желтые зубы. Он направился к креслу, стоявшему у противоположного конца стола, грузно уселся и затрясся в приступе кашля. Сухорукий бросил на него взгляд, исполненный явной неприязни, меж тем как старуха не обратила на вошедшего никакого внимания и продолжала неотрывно смотреть на огонь.

— Говорю же, это ваш выбор, — снова произнес сухорукий, когда второй старик ненадолго перестал кашлять.

— Это мой выбор, — подтвердил я.

Человек в темных очках впервые заметил мое присутствие и на миг откинул голову назад и вбок, чтобы меня рассмотреть. Я перехватил мимолетный взгляд его глаз — маленьких, блестящих, воспаленных. Потом он снова начал захлебываться от кашля.

— Почему не пьешь? — спросил сухорукий, пододвигая к нему пиво.

Человек в очках дрожащей рукой налил себе полный стакан, расплескав едва ли не больше по дощатому столу. Исполинская тень старика изгибалась по стене, передразнивая его движения. Должен признаться, я вовсе не ожидал встретить здесь этих карикатурных хранителей седой старины. Как по мне, в старости есть что-то недостойное человека, что-то атавистическое и унизительное; кажется, что человеческие качества у стариков день ото дня мало-помалу отмирают. В обществе этих троих, с их мрачной молчаливостью, согбенными спинами и очевидной враждебностью ко мне и друг к другу, я чувствовал себя неловко.

— Если вы покажете мне эту вашу комнату с привидением, — сказал я, — то я прекрасно устроюсь там на ночлег.

Кашляющий старик отдернул назад голову так резко, что я невольно вздрогнул, и его воспаленные глаза снова уставились на меня из-под темных очков. Мне никто не ответил. Я подождал с минуту, окидывая взглядом то одного, то другого.

— Если, — снова заговорил я немного громче, — вы покажете мне эту вашу комнату с привидением, я избавлю вас от необходимости развлекать меня.

— Там за дверью, на плите, есть свеча, — сказал сухорукий, скосившись на мои ноги. — Но если вы собираетесь провести ночь в Красной комнате…

— Когда же, если не сегодня! — перебила его старуха.

— …то идите один.

— Отлично! — отозвался я. — И как мне туда пройти?

— Идите по коридору, — принялся объяснять сухорукий, — пока не покажется дверь; через нее вы попадете на винтовую лестницу; поднявшись по ней до середины, увидите площадку и другую дверь, обитую байкой. Откройте ее и пройдите по длинному коридору; Красная комната — в самом его конце, слева, вверх по ступенькам.

Я повторил его указания и спросил, верно ли все запомнил.

Он поправил меня в одной мелочи.

— Вы и впрямь туда пойдете? — спросил человек в темных очках, в третий раз обратив ко мне лицо, которое неприятно и неестественно подергивалось.

— Когда же, если не сегодня! — прошептала старуха.

— За этим я сюда и приехал, — сказал я и направился к выходу.

Старик в очках тут же встал и, пошатываясь, обошел стол, чтобы быть поближе к остальным и к огню. У двери я обернулся и оглядел собравшихся: они сбились вместе и маячили темными силуэтами на фоне очага, повернув ко мне напряженные дряхлые физиономии.

— Доброй ночи, — пробормотал я, открывая дверь.

— Это ваш выбор, — вновь произнес сухорукий.

Я держал дверь распахнутой настежь, пока свеча как следует не разгорелась, потом затворил ее и двинулся по холодному гулкому коридору.

Признаюсь, странность этих трех пансионеров, в чьем ведении ее светлость оставила замок, и

мрачная старомодная обстановка комнаты кастеляна, где они сообща обретались, странным образом повлияли на меня, несмотря на все мои усилия сохранять хладнокровие. Они, казалось, принадлежали другой, более ранней эпохе, когда к явлениям духовного мира относились с большим доверием, чем сегодня, когда верили в предзнаменования и колдунов, а реальность призраков ни у кого не вызывала сомнений. Самое существование этих людей было призрачным; фасон и покрой их платья — порождением умершей мысли; даже убранство и благоустройство их комнаты — фантазиями людей прошлого, которые скорее гостили, чем жили в сегодняшнем мире. Но усилием воли я отогнал от себя эти мысли. В протяженном, насквозь продуваемом подземном тоннеле, промозглом и пыльном, пламя свечи то и дело мигало, заставляя тени съеживаться и трепетать. Эхо моих шагов разносилось вдоль винтовой лестницы, за мной следовала тень, а впереди над головой скользила во тьму другая. Я ступил на лестничную площадку и на миг остановился, прислушиваясь к почудившемуся мне шороху, затем, убедившись, что везде царит полнейшее безмолвие, толкнул дверь, обитую байкой, и оказался в коридоре.

Увидел я не то, что ожидал: лунный свет, проникавший внутрь через большое окно над широкой лестницей, окутывал предметы вокруг выпуклыми черными тенями или заливал серебристым сиянием. Все находилось на своем месте; можно было подумать, что дом покинут только вчера, а не полтора года назад. В канделябры были вставлены свечи, а пыль на коврах и полированном полу лежала таким ровным слоем, что свет из окна не позволял ее разглядеть. Я уже собирался двинуться дальше — и вдруг резко застыл на месте. В коридорной нише была установлена скульптурная группа из бронзы; ее скрывал от меня выступ стены, однако ее тень, которая необыкновенно четко вырисовывалась на белой панельной обшивке, создавала впечатление, будто кто-то подстерегает меня, сидя в засаде. Пораженный этим зрелищем, я с полминуты стоял оцепенев. Затем, опустив руку в карман, где лежал револьвер, я пошел вперед и обнаружил Ганимеда с орлом, блестевших в лунном свете. Это временно успокоило мои нервы, и фарфоро-

вый китаец на столике в стиле буль[88], беззвучно закивавший, когда я поравнялся с ним, едва привлек мое внимание.

Дверь Красной комнаты и ступени к ней находились в темном конце коридора. Перед тем как войти внутрь, я поводил свечой из стороны в сторону, стремясь более отчетливо рассмотреть уединенное место, в котором очутился. «Вот здесь нашли моего предшественника», — подумалось мне, и при воспоминании об этой истории я ощутил внезапный укол страха. Я оглянулся на озаренного луной Ганимеда и, стараясь не упускать из виду безмолвный коридор, с некоторой поспешностью открыл дверь Красной комнаты.

Войдя туда, я тотчас заперся, повернув ключ, вставленный в замок изнутри, и подождал, обозревая при помощи высоко поднятой свечи сцену предстоящего ночного бдения — знаменитую Красную комнату лотарингского замка, где умер молодой герцог (или, скорее, где он начал умирать, ибо, отворив дверь, он упал ничком на ступеньки, по которым я только что поднялся).

---

[88] Примечания: 88

Буль — декоративный стиль мебели с инкрустацией слоновой костью, перламутром, золоченой бронзой, пластинами из панциря черепахи и т. п.; назван по имени Андре Шарля Буля (1642–1732), крупнейшего французского мастера-мебельщика эпохи Людовика XIV.

Так окончилось *его* бдение, *его* доблестная попытка опровергнуть предание о призраке, якобы обитающем в этом месте. «Никогда еще, — подумал я, — апоплексический удар не оказывал большей услуги суеверию». С этой комнатой были связаны и другие, более давние истории начиная с самой ранней и малодостоверной легенды о боязливой жене, для которой пугающая шутка мужа завершилась трагически. При взгляде на это просторное помещение с его темными оконными проемами, нишами и альковами нетрудно было проникнуться преданиями, которые рождались в его тенистых углах, в его питательном мраке. Крошечный язычок пламени в моей руке не мог озарить противоположный конец комнаты, и за пределами этого островка света колыхался океан тайны и неизвестности.

Я решил произвести систематический осмотр интерьера и тем самым рассеять морок неопределенности, покуда он не обрел власть надо мной. Удостоверившись, что дверь заперта, я начал обходить комнату, вглядываясь в каждый предмет обстановки, поднимая подзор кровати и широко раздвигая занавеси полога. Я приподнял шторы и обследовал задвижки на окнах, перед тем как закрыть ставни; изогнувшись, всмотрелся в

широкий черный зев каминного дымохода; простучал темную дубовую обшивку стен в поисках потайной ниши.

В комнате висели два больших зеркала, обрамленные канделябрами, в которые были вставлены свечи, и, кроме того, на каминной полке стояли свечи в фарфоровых подсвечниках. Я зажег их все одну за другой. В камине лежал уголь (неожиданная предупредительность со стороны старого кастеляна!), и, дабы не замерзнуть, я развел огонь и, когда он как следует разгорелся, отвернулся от очага и вновь огляделся. Подтащив к себе обитое ситцем кресло и стол, я соорудил нечто вроде баррикады. Револьвер я выложил из кармана на столешницу. Тщательный осмотр принес мне пользу, однако царившая в комнате тишина и темнота в отдаленных ее углах по-прежнему чересчур воспламеняли мое воображение. Шипение и треск углей в камине не вызывали у меня ощущения уюта. Тень в алькове в конце комнаты проявляла признаки чьего-то неуловимого присутствия, порождая странное чувство (легко возникающее в безмолвии и уединении), будто там, в темноте, притаилось какое-то живое существо. Наконец я, желая успокоиться, двинулся в ту сторону и удостоверился,

что там нет ничего осязаемого, после чего оставил зажженную свечу на полу алькова.

К этой минуте я уже пребывал в состоянии изрядного нервного напряжения, которое, однако, не мог сколь-либо удовлетворительным образом себе объяснить. В мыслях моих, впрочем, царила полная ясность. Я был уверен, что ничего сверхъестественного не случится, и, дабы скоротать время, принялся слагать вирши в манере Инголдсби[89] на сюжет самобытной местной легенды. Несколько строк я продекламировал вслух, но эхо показалось мне неприятным. По той же причине я прекратил начатую было беседу с самим собой о невозможности явления духов живым людям. Мои мысли вернулись к трем согбенным старикам внизу, на них-то я и попытался сосредоточиться. Мрачное сочетание в интерьере красного и черного угнетало меня; даже при семи зажженных свечах комната тонула в полутьме. Свет в алькове то и дело вспыхивал на сквозняке, огонек трепетал, заставляя

[89] Примечания: 89

Под псевдонимом Томас *Инголдсби* английский писатель Ричард Гаррис Далтон Барэм (1788–1845) опубликовал в 1837–1847 гг. цикл юмористических стихотворных и прозаических повествований «Легенды Инголдсби, или Увеселения и чудеса», комически-гротескно трактующих средневековые легенды; на протяжении всей Викторианской эпохи они пользовались огромным читательским успехом.

тени и полутени непрерывно меняться. Дабы положить этому конец, я огляделся по сторонам и вспомнил про свечки, которые давеча видел в коридоре; собравшись с духом, я со свечой в руке вышел из комнаты, оставив дверь приоткрытой, и оказался в полосе лунного света, откуда вскоре вернулся с целым десятком свечек. Укрепив их на различных фарфоровых безделушках, которыми было щедро украшено помещение, я зажег их и принялся расставлять там, где скапливались наиболее густые тени, — одни на полу, другие в оконных нишах, — до тех пор пока не разместил наконец все семнадцать свечей таким образом, что каждый дюйм комнаты оказался освещен по крайней мере одной из них. Мне подумалось, что, когда призрак явится, я смогу предостеречь его, чтобы он не споткнулся. Комната теперь была ярко озарена. Эти маленькие светильники, струившие ровное пламя, внушали бодрость и веселье и, заняв мое внимание, породили во мне успокоительное чувство бега времени.

Но, несмотря на это, мысль о предстоящем бдении немало тяготила меня. Вскоре после полуночи свеча в алькове внезапно погасла и черная тень отпрыгнула на прежнее место. Я пропустил этот момент — просто обернулся и увидел, что

наступила тьма, как, бывает, вздрагиваешь, внезапно обнаружив присутствие рядом чужака. «Ну и ну! — произнес я. — Какой сильный сквозняк!» Взяв со стола спички, я небрежно пересек комнату, чтобы снова осветить дальний ее угол. Удалось это только со второй спички, и тогда мне почудилось, как что-то мигнуло передо мной на стене. Я невольно повернул голову и увидел, что обе свечи на столике возле камина погасли. Я резко выпрямился.

— Странно, — пробормотал я. — Не сам ли я потушил их по рассеянности?

Проследовав обратно, я зажег свечу, но тут же заметил, что свеча с правой стороны одного из зеркал, мигнув, погасла — и соседка не мешкая последовала ее примеру. Ошибки быть не могло: их пламя исчезло внезапно, как будто кто-то зажал пальцами фитили, которые сразу почернели, не тлея и не дымя. Пока я стоял, разинув рот, потухла свеча в изножье кровати и тени, казалось, подступили ко мне на шаг ближе.

— Нет, так не пойдет! — сказал я, и тотчас одна за другой перестали гореть свечи на каминной полке.

— Да что происходит?! — вскричал я со странной визгливой ноткой в голосе, после чего погасла

свеча, стоявшая на платяном шкафу, а за ней и та, которую я повторно зажег в алькове.

— Спокойно! — сказал я себе. — Нужно зажечь эти свечи в подсвечниках на каминной полке.

Я говорил с полуистеричной шутливостью, одновременно чиркая спичкой. Руки мои тряслись так сильно, что я дважды промахнулся мимо шероховатой стороны спичечного коробка. Когда каминная полка вновь проступила из мрака, две свечи в самом дальнем углу помещения потухли. Однако той же спичкой я зажег свечи побольше — те, что обрамляли зеркала и стояли на полу у порога, — и на миг как будто одержал победу над тьмой. Но затем разом исчезли четыре огонька в разных углах комнаты, и я с торопливой дрожью опять чиркнул спичкой и нерешительно замер, раздумывая, куда ее поднести.

Пока я колебался, две свечи на столе как будто смахнула чья-то незримая рука. Вскрикнув от страха, я ринулся к алькову, потом в угол, потом к окну и успел зажечь три свечи, меж тем как две у камина погасли; затем, измыслив способ получше, бросил спичечный коробок в окованный железом ящик для бумаг в углу и взял подсвечник. Тем самым я избежал проволочки, связанной с зажиганием спичек, — но, несмотря

на это, свечи продолжали гаснуть, тени, которых я боялся и которые пытался одолеть, вернулись и начали красться ко мне, шаг за шагом отвоевывая пространство то с одной, то с другой стороны. Это напоминало неровную грозовую тучу, сметающую звезды с неба: то и дело какая-то из них на минуту появлялась и вновь пропадала. Я совершенно потерял самообладание и пребывал на грани безумия от ужаса перед надвигавшейся тьмой. Задыхаясь, я метался от одной свечи к другой, ведя безнадежную борьбу с этим безжалостно наползавшим мраком.

Я сильно ушиб бедро о стол, опрокинул стул, споткнулся и упал, стащив при этом скатерть со стола. При падении свеча откатилась от меня, и, поднявшись, я схватил другую, но от быстрого взмаха моей руки она, а за ней и две соседние тотчас погасли. Но в комнате все еще оставался свет — красный свет, который отгонял от меня тени. Камин! Конечно же, я мог снова зажечь свечу, просунув ее между прутьями каминной решетки.

Я направился туда, где среди раскаленных углей еще плясали сполохи пламени, отбрасывая вокруг алые отблески, и едва сделал пару шагов к решетке, как огоньки поникли и сошли на нет,

жар схлынул, отблески стушевались и пропали. Просовывая свечу сквозь прутья, я уже был объят тьмой, как будто отнявшей у меня зрение, обвит ее удушающим объятием и лишен остатков самообладания. Выронив свечу, я тщетно пытался оттолкнуть от себя давящий мрак, кричал во всю мочь не своим голосом — раз, другой, третий. Потом я, должно быть, шатаясь, встал на ноги. Вспомнил об озаренном луной коридоре и, склонив голову и закрыв лицо руками, спотыкаясь, устремился к выходу.

Однако я успел позабыть, где находится дверь, и пребольно ударился об угол кровати. Отпрянув, я резко повернулся и получил новый удар — или сам ударился о какой-то другой громоздкий предмет. Смутно припоминаю, как с дикими воплями судорожно метался в темноте взад-вперед, натыкаясь на мебель, и как схлопотал под конец мощный удар по лбу; помню жуткое чувство падения, длившегося целую вечность, и последнюю отчаянную попытку удержаться на ногах… и это все, что я помню.

Я открыл глаза уже при свете дня. Голова моя была неуклюже забинтована, сухорукий всматривался мне в лицо. Я огляделся по сторонам, пытаясь мысленно восстановить случившееся,

но некоторое время мне это не удавалось. Скосив глаза в угол комнаты, я увидел старуху, уже не отрешенную от происходящего вокруг, как прежде; она накапывала в стакан какое-то снадобье из маленького синего флакона.

— Где я? — спросил я. — Кажется, я вас видел раньше, но не могу вспомнить, кто вы.

Тогда они заговорили, и я выслушал историю о Красной комнате, где водится привидение, — выслушал так, словно мне рассказывали сказку.

— Мы нашли вас на рассвете, — сказал сухорукий, — с окровавленным лбом и губами.

Память о пережитом возвращалась ко мне очень медленно.

— Теперь-то вы верите, — спросил старик, — что в комнате обитает привидение? — Он говорил со мной уже не как с незваным гостем, а как с другом, чье бедственное положение вызывало у него печаль.

— Да, — признал я, — в комнате обитает привидение.

— И вы его видели. А нам, прожившим здесь всю жизнь, так и не довелось на него взглянуть — потому что мы не осмелились… Скажите, это и впрямь старый граф, который…

— Нет, — ответил я, — не он.

— А я тебе говорила, — вмешалась старуха со стаканом в руке. — Это бедная молодая графиня, испугавшаяся…

— Нет, — возразил я. — В той комнате нет ду́хов ни графа, ни графини; там вообще нет духов, но есть нечто похуже — гораздо хуже…

— И что же? — хором спросили они.

— Худшее, что может преследовать бедного смертного человека, — ответил я. — И это — *Страх*, голый Страх! Страх, который не терпит ни света, ни звука, не считается с разумом, который оглушает, ослепляет и подавляет. Он следовал за мной по коридору, он боролся со мной в комнате…

Я резко умолк. Воцарилось молчание. Моя рука потянулась к бинтам.

Тогда человек в очках, вздохнув, произнес:

— Так и есть. Я знал это. Власть Тьмы. Навлечь такое проклятие на женщину! Тьма прячется там всегда. Вы можете ощутить ее даже днем, даже в яркий летний полдень, — в занавесях, за шторами, — и сколько бы вы ни оборачивались, она будет у вас за спиной. В сумерках она крадется за вами по коридору, а вы не осмеливаетесь оглянуться. В той комнате… *ее* комнате… живет Страх — темный Страх, и он будет жить там, покуда существует этот дом греха.

1896/1897

Гриб с пурпурной шляпкой

Перевод С. Антонова.

Мистер Кумбс испытывал отвращение к жизни. Удаляясь от своего злополучного дома и чувствуя отвращение и к себе, и ко всякому встречному, он свернул в переулок за газовым заводом, чтобы уйти подальше от города, пересек деревянный мост, который вел через канал к коттеджам Старлинга, и очутился в сыром сосновом бору, где не виднелось и намека на человеческое присутствие. Дольше терпеть он не мог. Разразившись бранью, обычно ему не свойственной, он громко повторял, что дольше этого не потерпит.

Он был невысокого роста, с бледным лицом, темными глазами и черными изящными усами. Его слегка потертый тугой воротник стоял торчком, создавая иллюзию двойного подбородка, а пальто, хотя и поношенное, было отделано каракулем. Светло-коричневые с черными полосками перчатки были порваны на кончиках пальцев. В его облике, как сказала его жена однажды, в дорогие сердцу, безвозвратно миновавшие дни

(иными словами, еще до брака), сквозило что-то воинственное. Ныне же она называла его… нехорошо, наверное, разглашать то, что говорится между супругами, но она называла его червяком. И это не единственное прозвище, которым она его наградила.

Склока опять началась из-за этой невыносимой Дженни. Она была подругой жены мистера Кумбса и каждое треклятое воскресенье безо всякого приглашения с его стороны заявлялась обедать, из-за чего весь день шел кувырком. Это была крупная шумная девушка, любившая носить наряды кричащих тонов и пронзительно смеяться; но в это воскресенье она превзошла сама себя, притащив с собой приятеля с такими же вызывающе-бесцеремонными манерами, как у нее. И теперь мистер Кумбс, в накрахмаленном чистом воротничке и воскресном сюртуке, сидел за домашним столом, молча наливаясь гневом, в то время как его жена и ее гости предавались глупой, ничтожной болтовне и громогласно хохотали. Он кое-как выдержал это, но после обеда (который, «как обычно», припозднился) мисс Дженни не нашла ничего лучше, чем усесться за фортепьяно и заиграть песенки из репертуара банджоэро, как будто был будний день! Челове-

ческая природа не в силах вынести подобного. Это услышат соседи, услышат прохожие на улице — публичный позор неминуем. Отмалчиваться долее было нельзя.

Он почувствовал, что бледнеет и при попытке заговорить у него перехватывает дыхание. Он сидел на стуле у окна — креслом завладел новоявленный гость.

— Воскре-сенье! — предостерегающе произнес мистер Кумбс, повернув голову. — Вос-кре-сенье! — Тон был, что называется, «зловещий».

Дженни продолжала играть, но миссис Кумбс, которая просматривала кипу нотных листов, лежавших на крышке фортепьяно, воззрилась на мужа.

— Сейчас-то что не так? — спросила она. — Людям нельзя поразвлечься?

— Я не против разумных развлечений, — ответил маленький Кумбс, — но не намерен слушать в своем доме легкомысленные пьески в воскресный день.

— А что не так с моими пьесами? — поинтересовалась Дженни, перестав играть, и крутанулась на вертящемся табурете, чудовищно шурша оборками платья.

Кумбс увидел, что назревает ссора, и, как это

обычно бывает с нервными, неуверенными в себе людьми, пошел ва-банк.

— Поосторожнее с табуретом, — предупредил он. — Он не рассчитан на большой вес.

— Вес тут ни при чем, — негодующе произнесла Дженни. — Что вы там говорили у меня за спиной насчет моей игры?

— Вы, конечно же, не имели в виду, что возражаете против толики музыки в воскресный день, мистер Кумбс? — спросил новый гость, откинувшись в кресле и выпуская облачко сигаретного дыма, и снисходительно улыбнулся.

Миссис Кумбс тем временем говорила подруге:

— Не обращай на него внимания, Дженни, продолжай.

— Именно это я и имел в виду, — ответил мистер Кумбс, обращаясь к новому гостю.

— Могу я узнать почему? — спросил собеседник, явно наслаждаясь как сигаретой, так и предвкушением скандала. Это был худощавый молодой щеголь в броском желто-коричневом костюме и при белом галстуке, на котором красовалась серебряная булавка с жемчужиной. «Он выказал бы больше вкуса, надев черный костюм», — подумалось мистеру Кумбсу.

— Потому что меня это не устраивает, — от-

ветствовал он. — Я деловой человек. Я должен считаться со своими клиентами. Разумные развлечения…

— Его клиенты! — фыркнула миссис Кумбс. — Только это он и твердит. Нужно делать это, нужно делать то…

— Если ты не готова считаться с моей клиентурой, — парировал мистер Кумбс, — зачем ты вышла за меня замуж?

— Любопытно, — бросила Дженни и снова повернулась к фортепьяно.

— В жизни не видывала таких, как ты, — сказала миссис Кумбс. — С тех пор как мы поженились, ты совершенно переменился. Прежде…

Дженни опять забарабанила по клавишам: тум-тум-тум.

— Послушайте! — вставая со стула, возвысил голос мистер Кумбс, решившийся наконец дать отпор. — Говорю вам, я этого не потерплю. — Даже сюртук его вздулся от негодования.

— Только без рукоприкладства, — сказал худощавый щеголь, поднимаясь с кресла.

— Да вы-то, черт побери, кто такой? — яростно осведомился мистер Кумбс.

Тут все заговорили разом. Новый гость сообщил, что он «суженый» Дженни и намерен защищать

ее, а мистер Кумбс ответил на это, что тот волен защищать ее где угодно, но только не в его, мистера Кумбса, доме; меж тем миссис Кумбс сказала, что ему должно быть стыдно оскорблять гостей и что он (как я уже упоминал) превращается в натурального червяка; перепалка завершилась требованием мистера Кумбса, чтобы гости убирались прочь, и их отказом, после чего он заявил, что тогда уйдет сам. С пылающим лицом и со слезами на глазах, он устремился в коридор, где некоторое время боролся с пальто (рукава его сюртука упрямо собирались «гармошкой») и смахивал пыль с цилиндра под возобновившееся нахальное бренчание Дженни, которое сопровождало его до самого порога. Тум-тум-тум. Он хлопнул входной дверью лавки с такой силой, что весь дом вздрогнул. Вот, вкратце, непосредственная причина его прескверного настроения. Думаю, теперь вы понимаете, почему он испытывал отвращение к жизни.

Шагая по грязной тропинке под елками (стоял конец октября, и в усыпанных ворохами хвои канавах выросли семейки грибов), он перебирал в памяти грустную историю своего брака. Это была короткая и вполне заурядная история. Теперь он начал довольно ясно сознавать, что жена вышла

за него из природного любопытства и желания избежать тягот трудовой жизни, полной забот и неопределенности; и, как большинство женщин ее класса, она была слишком глупа, чтобы понять, что ее долг — помогать ему в его деле. Она была падка на развлечения, болтлива, общительна — и явно ощутила разочарование, обнаружив, что по-прежнему находится в плену бедности. Хлопоты мужа раздражали ее, и при малейшей попытке контролировать ее поступки она обвиняла его в «брюзжании». Почему он не может быть таким же душкой, как раньше? А Кумбс был безобидный маленький человек, воспитанный на идеях книги «Помоги себе сам»[90], которым двигала скромная амбиция обрести «достаток» посредством самоограничения и конкурентной борьбы. Потом возникла Дженни, этот Мефистофель в юбке, не умолкая тараторившая о своих ухажерах, вечно тащившая его жену в театр и «тому подобное». Вдобавок у жены имелись тетки, двоюродные братья и сестры, которые пожирали его капитал, оскорбляли его самого, расстраива-

[90] Примечания: 90

«Помоги себе сам» (1866) — популярное в Викторианскую эпоху пособие по нравственному самосовершенствованию с многочисленными фактами из биографий знаменитостей, написанное шотландским публицистом и социальным реформатором Сэмюелом Смайлсом (1812–1904).

ли его деловые начинания, досаждали лучшим его клиентам и вообще всячески отравляли ему существование. Это был уже не первый раз, когда мистер Кумбс в ярости, негодовании и каком-то страхе сбегал из дому, истово и громко клялся, что больше этого не потерпит, и так мало-помалу растрачивал свой пыл впустую. Но никогда прежде он не испытывал такого отвращения к жизни, как в этот день. Вероятно, в этом были повинны и воскресный обед, и пасмурное небо над головой. А возможно, он начал наконец понимать, что его прискорбные неудачи в делах — это следствие его женитьбы. В скором времени ему предстояло банкротство, ну а дальше… Быть может, она раскается, когда будет слишком поздно. А меж тем судьба, как я уже вскользь упоминал, обсадила лесную тропинку зловонными грибами, обсадила обильно и густо, и с правой, и с левой стороны дороги.

Печальна участь мелкого лавочника, если ему досталась ненадежная спутница жизни. Весь его капитал был вложен в дело, и оставить жену означало бы для него пополнить ряды безработных в каком-нибудь отдаленном уголке мира. Такую роскошь, как развод, он не мог себе позволить. Так что он был безжалостно связан по рукам и

ногам старой доброй традицией нерасторжимого брака, который нередко заканчивается трагически. Каменщики до полусмерти избивают своих жен, а герцоги изменяют своим супругам; но именно в среде мелких клерков и лавочников ныне все чаще происходят случаи кровавых убийств. Посему не приходится удивляться — и вы должны отнестись к этому как можно снисходительнее, — что мысли мистера Кумбса на некоторое время обратились к столь блистательному финалу его разбитых надежд и ему стали мерещиться бритвы, пистолеты, кухонные ножи и проникновенные письма к коронеру[91], в которых он поименно изобличал своих врагов и смиренно молил о прощении. Затем его свирепость сменилась меланхолией. На венчании он был в этом же пальто, надетом поверх этого же самого сюртука — первого и единственного, которым он обзавелся. Мистер Кумбс припомнил, как в пору его ухаживаний они гуляли по этой тропинке, припомнил годы жесткой экономии

[91] Примечания: 91

Коронер — в Великобритании и некоторых других странах наделенный судебными полномочиями следователь, проводящий дознание в случаях насильственной, а также произошедшей при необычных или подозрительных обстоятельствах смерти; результаты этого дознания представляются коронерскому жюри — коллегии присяжных, которая и решает вопрос о наличии либо отсутствии события преступления.

с целью скопить капитал и радужные надежды медового месяца. И вот к чему все в итоге пришло! Неужели Провидение повсюду так жестоко к человеку? И его вновь стали одолевать мысли о смерти.

Он подумал о канале, над которым недавно шагал по мосту, и засомневался, достаточно ли там глубоко — даже посредине, — чтобы уйти под воду с головой. Как раз в разгар раздумий об утоплении его взгляд упал на пурпурную шляпку гриба. С мгновение мистер Кумбс машинально смотрел на нее, потом остановился и нагнулся, приняв этот предмет за обычный маленький кожаный кошелек. Тут он различил, что это шляпка гриба необычного ядовито-красного цвета — блестящая, липкая, источающая кисловатый запах. Его рука нерешительно замерла в дюйме от гриба, а в голове мелькнула мысль о яде. Тогда он сорвал гриб и выпрямился, держа его между пальцами.

От гриба исходил сильный, резкий, но ничуть не противный запах. Мистер Кумбс отломил кусочек, и свежая мякоть оказалась кремово-белой, а спустя несколько секунд как по волшебству стала желтовато-зеленой. Перемена сулила манящие перспективы. Он отломил еще пару кусочков — явление повторилось. Удивительная штука

эти грибы, подумал мистер Кумбс. Отец часто говаривал ему, что все они страшно ядовиты. Смертельно ядовиты!

Лучшего момента для безрассудного шага нельзя было представить. «Почему бы не здесь и не сейчас?» — сказал себе мистер Кумбс. Он попробовал маленький кусочек — буквально крупинку. Тот был таким острым на вкус, что мистер Кумбс едва его не выплюнул, а потом рот обожгло, словно горчицей с привкусом хрена и грибным оттенком… В волнении мистер Кумбс проглотил его. Понравилось или нет? Он чувствовал себя на удивление беззаботно. Надо попробовать еще. Поистине недурно — совсем недурно. Увлеченный новым опытом, он забыл о своих неприятностях. Это была игра со смертью. Он откусил еще кусок и неторопливо его проглотил. В пальцах рук и ног появилось странное покалывание, пульс участился, в ушах, как вода в мельничном колесе, зашумела кровь. «Еще кусочек», — пробормотал мистер Кумбс. Он повернулся, чтобы оглядеться по сторонам, и обнаружил, что ноги плохо его слушаются. Увидев в десятке ярдов перед собой скопление красных пятен, он ринулся вперед. «Отличная штука, — произнес он. — Э, да тут еще!..» Он покачнулся и упал ничком, протянув

руки к грибам. Но есть их он не стал, ибо внезапно начисто про них забыл.

Он перевернулся на спину и сел с удивленным видом. Его тщательно вычищенный цилиндр откатился к канаве. Он потер рукой лоб. Что-то произошло, но что именно, он толком не мог вспомнить. Так или иначе, его уныние миновало — он ощущал себя бодрым и жизнерадостным. Глотка по-прежнему горела. Неожиданно он рассмеялся — непринужденным, шедшим от сердца смехом. Если перед тем его и угнетала тоска, мистер Кумбс этого не помнил, но в любом случае впредь он тосковать не станет. Он поднялся и неуверенно застыл, дружелюбно улыбаясь окружающему миру. Воспоминания начали возвращаться — правда, довольно смутные, в голове крутилась какая-то карусель. Там, дома, он устроил скандал из-за того, что жене и гостям хотелось поразвлечься. Они были совершенно правы: нужно делать жизнь как можно более счастливой. Надо пойти домой и все уладить, успокоить их. И почему бы не прихватить с собой этих превосходных ядовитых грибов и не угостить их? Набрать полный цилиндр, не меньше. Вот этих красных с белыми крапинками и еще желтеньких. Да, он повел себя как жуткий зануда, враг радости

и веселья; но он все исправит. Забавно будет, скажем, вывернуть рукава пальто наизнанку да понатыкать в карманы жилета несколько веток дрока с желтыми цветками. Что ж, к дому — с песней — навстречу приятной вечеринке.

Едва мистер Кумбс ушел, Дженни тотчас перестала играть, повернулась на табурете и воскликнула:

— Как много шума из ничего!

— Видите, мистер Кларенс, *что* приходится терпеть, — пожаловалась миссис Кумбс.

— Уж очень он вспыльчив, — рассудительно заметил мистер Кларенс.

— Досаднее всего, что он совершенно не понимает нашего положения в обществе. Только об одном печется — о своей жалкой лавчонке. Случись мне собрать небольшую компанию друзей, или купить себе что-то, чтобы выглядеть достойно, или взять немножко денег из суммы, отложенной на хозяйство, — сразу начинается брюзжание. Пускается толковать о «бережливости», «борьбе за жизнь» и тому подобном. Из-за этого он не спит ночами, мучительно раздумывая, как бы сэкономить на мне лишний шиллинг. Однажды потребовал, чтобы мы ели дорсетское

масло![92] Стоит только раз пойти у него на поводу — и все, пиши пропало!

— Само собой, — поддержала ее Дженни.

— Если женщина дорога мужчине, — вновь заговорил мистер Кларенс, откидываясь в кресле, — он должен быть готов идти на жертвы ради нее. Что до меня, — тут его взгляд остановился на Дженни, — я не позволю себе даже думать о браке до тех пор, пока не смогу устроить свою семейную жизнь на широкую ногу. Это было бы отъявленным себялюбием. Мужчина должен самостоятельно одолеть жизненные невзгоды, а не тащить жену…

— Я не вполне согласна с вами, — перебила его Дженни. — Не понимаю, почему бы мужчине не принять помощь женщины, если он не обраща-

---

[92] Примечания: 92

Несомненная аллюзия на сцену из сверхпопулярной в 1870–1890-е гг. (в Великобритании и за ее пределами) социальной комедии английского драматурга Генри Джеймса Байрона (1835–1884) «Наши мальчики» (1875): в третьем акте пьесы удалившийся от дел торговец маслом Перкин Миддлвик, решив помириться с отвергнутым им и живущим впроголодь сыном, приходит к нему в убогую гостиницу и, изучив остатки его скудного завтрака, с ужасом обнаруживает, что юноша употребляет в пищу «низкопробное дорсетское масло». По свидетельству часто упоминаемого Уэллсом Джона Рёскина («Fors Clavigera: Письма к рабочим и мастеровым Великобритании», 1871–1878), эта сцена была памятна многим театралам поздневикторианской поры; что же касается пресловутого масла, то, согласно отзывам в газетах тех лет, оно, хотя и употреблялось повсеместно, было слишком соленым и нуждалось в приправах, способных «перебить» его оригинальный вкус.

ется с нею низко. Низость — это…

— Вы не поверите, — вмешалась миссис Кумбс, — но я совершила глупость, выйдя за него. Уж могла бы понимать, что он собой представляет. Если бы не мой отец, у нас не оказалось бы и свадебного экипажа.

— Боже мой! Он не позаботился даже об этом? — спросил мистер Кларенс, совершенно ошеломленный.

— Говорил, что деньги необходимы ему на какой-то инвентарь или другой подобный хлам. Да что там, он даже не хотел нанимать прислуги, которая раз в неделю помогала бы мне по дому, но тут уж я проявила твердость. А какую шумиху он поднимает из-за денег — приходит ко мне, чуть не плача, с какими-то счетами да векселями и говорит: «Нам бы только этот год продержаться, а там дело пойдет». — «Если мы продержимся этот год, — отвечаю я, — ты скажешь: „Нам бы только следующий год продержаться“. Я уж тебя знаю. И ты не добьешься того, чтобы я заморила себя черной работой и подурнела. Отчего ты не женился на служанке, — продолжаю я, — раз тебе нужна была служанка, а не порядочная девушка?»

Так говорила миссис Кумбс. Но мы не станем и дальше воспроизводить содержание этой мало-

поучительной беседы. Достаточно сказать, что с мистером Кумбсом было должным образом покончено и они уютно проводили время у камина. Потом миссис Кумбс вышла приготовить чай, а Дженни присела на ручку кресла рядом с мистером Кларенсом и кокетничала с ним, покуда с кухни не донеслось дребезжание ложек и чашек.

— Что это такое мне послышалось? — игриво спросила миссис Кумбс, входя в комнату, и затем последовали шутки о поцелуях.

Они как раз расположились за маленьким круглым столиком, когда мистер Кумбс дал знать о своем возвращении лязгом собачки замка в наружной двери.

— А вот и мой повелитель, — сказала миссис Кумбс. — Уходит как лев, а возвращается, вероятно, как ягненок.

Внутри лавки что-то опрокинулось — судя по звуку, стул. Потом как будто кто-то, выделывая ногами затейливые танцевальные па, проследовал по коридору, дверь гостиной отворилась, и на пороге появился Кумбс — но Кумбс преображенный. Его безукоризненный воротничок был небрежно сорван, старательно вычищенный цилиндр, до середины набитый грибным крошевом, зажат под мышкой; пальто вывернуто наизнан-

ку, а жилет украшен пучками дрока с желтыми цветками. Однако все эти легкие странности воскресного костюма были ничто в сравнении с переменой, которую претерпело его лицо: оно выглядело мертвенно-бледным, неестественно расширенные глаза странно блестели, посиневшие губы кривила угрюмая усмешка.

— Увеселений! — воскликнул мистер Кумбс, прервавший свой танец, когда открывал дверь. — Разумных развлечений. Плясок. — Он сделал три причудливых шага вглубь комнаты и остановился, раскланиваясь собравшимся.

— Джим! — взвизгнула миссис Кумбс. Мистер Кларенс сидел окаменев, с отвисшей челюстью.

— Чаю, — продолжал мистер Кумбс. — Чай — замечательная штука. Мухоморы тоже… Повеселимся.

— Да он пьян, — сказала Дженни упавшим голосом.

Никогда еще не видела она у пьяных такой страшной бледности на лице и таких блестящих расширенных глаз.

Мистер Кумбс протянул мистеру Кларенсу горсть пурпурных мухоморов.

— Хорошая штука, — произнес он. — Попробуйте.

В этот миг он был само дружелюбие. Затем, приметив написанный на их лицах испуг, он, как это случается с безумцами, мгновенно переменился и впал в безудержную ярость. Похоже, он вдруг припомнил скандал, случившийся перед его уходом. Зычным голосом, какого миссис Кумбс никогда раньше не слышала, он выкрикнул:

— Мой дом, я здесь хозяин! Ешьте, что дают!

Он гаркнул это так, словно прошептал, — безо всякого усилия, без единого резкого жеста, неподвижно стоя на месте — и все еще протягивал мистеру Кларенсу пригоршню грибов.

Тот откровенно струхнул. Не в силах вынести взгляд Кумбса, исполненный неистовой ярости, он вскочил, оттолкнул кресло и присел за его спинкой. Кумбс ринулся на него. Дженни, улучив момент, слабо вскрикнула и метнулась к двери.

Миссис Кумбс последовала за ней. Кларенс пытался увернуться. С грохотом перевернув чайный столик, Кумбс схватил гостя за шиворот и попытался запихнуть ему в рот грибы. Кларенс безропотно оставил воротничок в руках неприятеля и выскочил в коридор с прилипшими к лицу красными крошками мухоморов.

— Заприте его! — крикнула миссис Кумбс, и это удалось бы сделать, но союзники покинули

ее: Дженни увидела, что дверь, ведущая в лавку, открыта, и, рванувшись туда, заперла ее за собой, а Кларенс тем временем успел укрыться в кухне. Мистер Кумбс навалился всем телом на дверь гостиной, а его жена, обнаружив, что ключ остался с внутренней стороны, стремглав взлетела по лестнице и заперлась в пустой спальне.

Новоявленный жизнелюбец вынырнул в коридор; он уже подрастерял свои украшения, однако солидный головной убор, набитый грибами, все еще торчал у него под мышкой. Он замешкался, раздумывая, какой из трех путей ему выбрать, и затем направился в кухню. Возившийся с дверным ключом Кларенс, бросив попытки загородиться от хозяина дома, ретировался в кладовую, где был застигнут преследователем раньше, чем сумел улизнуть во двор. О том, что произошло дальше, мистер Кларенс вспоминает крайне немногословно. Мимолетная вспышка гнева, овладевшего мистером Кумбсом, как будто улеглась, и он превратился в добродушного славного малого, каким был прежде. И поскольку вокруг в изобилии имелись столовые ножи и тесаки для мяса, Кларенс в приливе великодушия решил потворствовать действиям мистера Кумбса, дабы избежать трагического исхода. Вне

всяких сомнений, мистер Кумбс от души позабавился с мистером Кларенсом; даже знай они друг друга долгие годы, они не смогли бы резвиться более игриво и непринужденно. Кумбс сердечно уговаривал Кларенса отведать грибов и после небольшой уветливой потасовки ощутил раскаяние при виде расквашенной физиономии гостя. Потом мистера Кларенса вроде бы сунули под кран, начистили ему лицо сапожной щеткой (он стоически держался принятого ранее решения сносить все выходки сумасшедшего) и наконец, несколько всклокоченного, расцарапанного, полинявшего, запихнули в пальто и выставили из дому с черного хода — так как выход через лавку был перекрыт Дженни. На ней-то и сосредоточил свои рассеянные мысли мистер Кумбс. Во время бегства ей не удалось отпереть наружную дверь, однако теперь, когда мистер Кумбс попытался открыть с улицы американский замок, она закрылась изнутри на засов и остаток вечера просидела в лавке.

Далее мистер Кумбс, судя по всему, вернулся в кухню, по-прежнему ища развлечений, и, хотя был убежденным трезвенником, выпил (или пролил на лацканы первого и единственного сюртука, которым успел обзавестись) не менее пяти

бутылок портера, приберегаемых миссис Кумбс для поправки собственного здоровья. С жизнерадостным звоном он отбивал их горлышки тарелками, подаренными женой на свадьбу, и в начале своей грандиозной попойки распевал всевозможные веселые песни. Он довольно сильно порезал палец об острый край одной из бутылок, и это кровопролитие (единственное в нашем рассказе) вкупе с икотой, вполне естественной для его не привыкшего к портеру организма, в конце концов, по-видимому, ослабили зловредное действие грибного яда. Но о заключительных событиях этого воскресного вечера мы предпочтем умолчать. Все завершилось глубоким целительным сном в угольном погребе.

Минуло пять лет. Снова наступил октябрьский воскресный вечер, и снова мистер Кумбс прогуливался под соснами по ту сторону канала. Он был все тем же невысоким, темноглазым, черноусым человечком, что и в начале нашего повествования, только его двойной подбородок уже не являлся иллюзией. На нем было новое пальто с бархатными лацканами, изящный отложной воротничок пришел на смену заурядному, жесткому и накрахмаленному. Цилиндр его лоснился, дырочка на кончике пальца почти новой перчат-

ки была аккуратно заштопана. Даже случайный наблюдатель заметил бы, как пряма его осанка и как горделиво он держит голову, — характерные черты человека, исполненного уважения к себе. Теперь у него в подчинении имелось трое помощников. Бок о бок с мистером Кумбсом вышагивала рослая загорелая пародия на него — его брат Том, только что вернувшийся из Австралии. Они вспоминали нелегкие деньки былых лет, и мистер Кумбс как раз обрисовал Тому свое текущее финансовое положение.

— Да, Джим, у тебя славное дельце, — сказал брат Том. — Тебе повезло, что ты сумел так его поставить, при нынешней-то конкуренции. И с женой, опять же, повезло — во всем тебе помогает.

— Между нами говоря, — отозвался Джим, — так было не всегда. Да-да, не всегда. Поначалу моя благоверная была несколько легкомысленной. Девушки — забавные создания.

— Да что ты!

— Да. Ты и представить себе не можешь, до чего она была сумасбродной и как старалась задеть мое самолюбие. Ну а я был слишком уступчивым, любящим и все в таком духе, вот она и вообразила, что весь Божий мир создан только ради нее.

Наш дом она превратила в какой-то караван-сарай, вечно полный ее родственничков, девиц с работы и их ухажеров. Дошло до легкомысленных пьесок в воскресный день, а торговля чуть не пошла прахом. Еще и глазки начала строить разным юнцам! Говорю тебе, Том, я перестал чувствовать себя хозяином в собственном доме.

— Никогда бы не подумал!

— Так и было. Ну… я пытался ее урезонить. Говорил: «Я не герцог какой-нибудь, чтобы содержать жену, словно домашнего зверька. Я взял тебя в жены как помощницу и подругу». Убеждал: «Ты должна помочь мне поставить на ноги дело». Она и слышать об этом не желала. «Ладно, — говорю, — я человек мирный, покуда не выйду из себя, а все к тому идет». Но она не вняла моим предостережениям.

— И что было дальше?

— А что всегда бывает, когда в дело замешана женщина. Она не верила, что у меня хватит духу взбунтоваться. Женщины ее склада (только это между нами, Том) не могут уважать мужчину, если хоть чуточку его не побаиваются. Ну я и показал ей, на что способен. Заявилась к нам девица по имени Дженни, приятельница жены, со своим ухажером. Мы повздорили, я ушел из дому

и забрел как раз сюда — стоял такой же денек, как сегодня, — и все толком обдумал. А потом вернулся да задал им хорошую трепку.

— Серьезно?

— Серьезно. Я словно обезумел, доложу я тебе. Ее я трогать не собирался, но зато как следует взгрел того парня — просто чтобы показать ей, на что способен. Он был здоровый малый, надо сказать. Ну, значит, потрепал я его, перевернул мебель — и нагнал на жену такого страху, что она дала деру и заперлась в спальне.

— И?..

— И все. Наутро я сказал ей: «Теперь ты знаешь, каково это, когда я выхожу из себя». И больше ничего не пришлось добавлять.

— И с тех пор ты живешь счастливо?

— Можно и так сказать. Нет ничего лучше, чем настоять на своем. Не будь того вечера, я бы сейчас бродяжничал по дорогам, а она и ее семейка поносили бы меня за то, что я довел ее до нищеты, — уж я-то их знаю! А теперь у нас все в порядке. И, как ты сказал, у меня славное дельце.

Некоторое время они молча шли по тропе.

— Женщины — забавные создания, — сказал Том.

— Им нужна твердая рука, — отозвался Кумбс.

— А грибов-то вокруг! — заметил Том. — И какой от них прок, не пойму!

Мистер Кумбс огляделся.

— Полагаю, они посланы в этот мир с какой-то мудрой целью, — сказал он.

Вот и вся благодарность, которой удостоился пурпурный гриб за то, что однажды, доведя этого нелепого маленького человечка до бешенства, побудил его к решительным действиям и тем самым изменил всю его дальнейшую жизнь.

1896

Безупречный джентльмен на велосипеде

Перевод Н. Роговской.

Зачем только он связался с велосипедом? Наверное, всему виной весенняя лихорадка, модное веяние и тень насмешки. Особенно тень насмешки. На его беду, девушка ему нравилась, и он ничего не мог с этим поделать. Хотя, откровенно говоря, она не отвечала его запросам и слово «шик» — последнее, что пришло бы в голову любому, кто знает толк в шике; иногда он находил ее — называя вещи своими именами — «простоватой». Изысканные эпиграммы, тонкое остроумие, как правило, вызывали у нее лишь одну реакцию: глаза ее изумленно округлялись и она принималась хохотать — над ним, вне всякого сомнения. И все же стоило этой недалекой жизнерадостной школьнице обронить: «А вы не пробовали выехать за пределы парка, мистер Крэмптон?» — он почувствовал себя уязвленным. Матери он объявил, что задета его честь, ни больше ни меньше.

И вскоре носильщик на платформе в Саттоне[93] с непочтительным любопытством наблюдал, как молодой человек — уже красный от усилий — втаскивает своего железного коня вверх по лестнице (мало какой груз так неудобен для сколько-нибудь элегантного подъема), чтобы дальше верхом ехать в Брайтон — к ней.

Его механический конь, как и он сам, выглядел франтом (не сочтите за критику вообще всех велосипедов): глянцево-шоколадный, с полупрозрачными крыльями и нарядными белыми ручками; кожух над цепью из тончайшего целлулоида с металлической бляхой-медалью. Ездок щеголял в шляпе-треуголке (именно так следовало бы называть этот тип коричневых фетровых шляп, независимо от того, как их называют), дабы отделить себя от велосипедной черни (хотя не только поэтому), предпочел бриджам обычные брюки. Коричневая гамма его костюма вторила цвету его двухколесной машины; красивый белый галстук эффектно довершал картину. И когда горластый кебмен на вокзальной площади в Саттоне крикнул ему вслед: «Гляди-ка, новая

[93] Примечания: 93

Саттон — один из южных пригородов Лондона (ныне один из лондонских боро).

женщина!»[94] — мистер Крэмптон сделал вид, что не слышит, оседлал велосипед и невозмутимо переехал через дорогу, взяв курс на Бельмонт. Завороженное блистательным зрелищем дневное светило выхватывало лучами каждую полоску глянцевой эмали, каждую блестящую металлическую деталь, ослепляя всех, кто шел или ехал мимо. «Тут есть где разыграться! — заходясь от восторга, восклицало солнце. — Полюбуйтесь на это чудо! Когда еще увидишь такое?»

Свое путешествие из Лондона в Брайтон мистер Крэмптон решил начать в Саттоне, полагая, что с географической точки зрения это будет справедливо. Его мать (он был единственным сыном) отправилась в Брайтон на поезде, Фентоны прибыли туда еще раньше, и в такой комбинации угадывался некий умысел. Его мать всю себя посвятила сыну. Полагая, что ее мальчик слишком хрупок для жизни в пансионе — об ужасах частных школ миссис Крэмптон была осведомлена почти как мистер Оскар Браунинг[95], — она дер-

---

[94] Примечания: 94

Новая женщина — феминистский идеал эмансипированной женщины; одним из внешних признаков женской эмансипации считалась езда на велосипеде.

[95] Примечания: 95

Оскар Браунинг (1837–1923) — английский педагог-новатор, просветитель, историк, писатель.

жала его под своим крылом и с помощью череды покладистых домашних учителей старалась сделать из него безупречного джентльмена — сообразно собственным представлениям. Мэдж Фентон, с ее половинной долей в компании, выпускающей «Универсальный бальзам Фентона», была бы идеальной парой для единоличного владельца фирмы «Мясной экстракт Крэмптона». Женить сына и в то же время оставить его в лоне семьи — вполне понятное материнское желание. Сын, кажется, ничего не имел против, наоборот, а вот со стороны Мэдж чувствовалась какая-то неопределенность. Но постоянное давление старших рано или поздно сделает свое дело. Мэдж не станет противиться воле родителей, она девушка благовоспитанная — по нынешним меркам.

На карте дорога из Саттона до Бэр-Хита[96] выглядит точно так же, как другие. Но, в отличие от большинства известных мистеру Крэмптону дорог, эта упорно шла в гору. Подъем начался прямо от саттонского вокзала и дальше становился только круче, хотя на каждом следующем отрезке казалось, что еще чуть-чуть, и можно

[96] Примечания: 96

Бэр-Хит — селение в боро Райгейт и Банстед (где находятся также упомянутые ниже городки *Банстед, Райгейт* и *Хорли*) графства Серрей, на склонах Северного Даунза (см. примеч. на с. 66).

будет перевести дух. Потом поворот с видом на фабричную громаду — и очередное последнее усилие. Уф, наконец ровное место и вскоре даже под горку, к станции Бельмонт, после чего — все сначала! Еще добрую милю откровенно вверх до станции Банстед, а дальше не столь откровенно, под сенью деревьев, однако опять-таки вверх, только вверх! Мистер Крэмптон не мог не удивляться, но впереди был еще целый день, а его механик так тщательно отладил и смазал ходовой механизм, что грех было бы жаловаться. В общем, мистер Крэмптон не сдавался: методично жал на педали и правил одной рукой — в другой на отлете держал сигарету… Пока его не нагнал какой-то хам на раздолбанном велосипеде, судя по клацанью за спиной.

Мистеру Крэмптону была нестерпима мысль, что его обгонит представитель низших слоев. Полагаясь на явное превосходство своей машины, он отбросил сигарету и поехал быстрее. Сзади звякнул звонок — резкий, противный, ну да чего еще ждать от дешевки! — и дребезжание железа стало назойливее и ближе: мистеру Крэмптону, так сказать, сели на хвост. После короткого спур-

та[97] он решил не связываться, и велосипедный хам поравнялся с ним. Что ж, типичный представитель этой породы: крыло над передним колесом закреплено кое-как, звонок в оспинах ржавчины, замызганный серый костюм члена Клуба велопутешественников[98] и потная красная физиономия с прилипшей ко лбу прядкой волос. И у него хватило наглости заговорить с мистером Крэмптоном!

— Красивая коняшка, — фамильярно заметил краснорожий парень.

От неожиданности мистер Крэмптон покачнулся и чуть не врезался в нахала.

— Прошу прощения! — протестующе произнес он.

— Я говорю, шикарный велик у вас.

Мистер Крэмптон потерял дар речи. Но надо было достойно отвадить паршивца.

— Боюсь, не могу сказать того же о вашем, — наконец изрек он.

— Да уж, — весело согласился парень. — Далеко едете? Может, нам…

---

[97] Примечания: 97

Спурт — резкий рывок в беге и других скоростных видах спорта.

[98] Примечания: 98

Клуб велопутешественников — велоклуб, основанный в 1878 г.; его члены носили униформу — серый саржевый жакет, бриджи и кепи.

Впереди показались две девушки (возможно, *приличные* девушки), ехавшие им навстречу. Чего доброго, подумают, что он и этот тип путешествуют вместе.

— Куда я еду, вас не касается, — отчеканил мистер Крэмптон и после пробурчал что-то насчет «неслыханной наглости».

— Вот те на! — удивился назойливый попутчик. — Ладно, без обид…

Еще с минуту он молча переваривал нежданный афронт. Потом вполоборота бросил что-то мистеру Крэмптону (тот не расслышал), вобрал голову в плечи и с диким лязгом помчался вперед: плечи, вторя движениям стоп, заходили ходуном. Отвратительная, плебейская манера!

Мистер Крэмптон сидел, выпрямив спину и непринужденно держа руль одной рукой, дабы всем было ясно, что он не намерен участвовать в гонках. Когда девушки проехали мимо и удалились на порядочное расстояние, он слез с велосипеда. Бесконечный подъем утомил его, и он не собирался догонять нахала. Перейдя на шаг, видишь намного больше: проблески молодой зелени на живых изгородях, и смолистые капли на почках каштана, и усыпанную цветами прошлогоднюю крапиву, которая еще недавно

казалась мертвой. Хорошо после седла пройтись пешком — если ты не какой-нибудь очумелый велогонщик!

Так он добрел до Бэр-Хита и, поскольку дорога пролегала через деревенский центр, снова сел на велосипед. Впереди он заметил скромную кондитерскую и возле нее — драндулет молодого нахала. А вот и хозяин: переминается на крыльце, заложив руки в карманы и дожевывая последний кусок. Парень повернул голову в сторону мистера Крэмптона — и тут же отвернулся, пытаясь сохранить мнимое достоинство.

Потом на спуске мистера Крэмптона обогнал тандем, но на подъеме ездоки спешились, и теперь уже мистер Крэмптон нагнал и обогнал их — мужчину и девушку, по всей видимости отца и дочь. Отец — рыжебородый крепыш с толстенными ногами, а дочка прехорошенькая, с рыжими кудряшками, в зеленовато-сером дорожном костюме. Мистер Крэмптон поздравил себя с тем, что вовремя избавился от неприглядного попутчика. Подъем был крутоват, мистеру Крэмптону пришлось стиснуть зубы, но, разумеется, он не мог прилюдно сдаться. Потом короткий отдых на спуске и новое испытание в виде длинного пологого склона, по которому дорога плавно

взбиралась наверх. Представьте, чего ему стоило удержаться в седле, чтобы не ударить в грязь лицом перед хорошенькой рыжеволосой девушкой, ехавшей позади на тандеме. Едва дождавшись, когда в поле зрения появится Райгейт-хилл, а с ним и повод сделать остановку, мистер Крэмптон устроил свою великолепную машину на травянистой обочине (позаботившись о наиболее выигрышном ракурсе), достал серебряный портсигар и устремил взор на скопление каменных домов внизу и голубые дали Уилда[99]; весь его вид говорил о готовности к новым свершениям. Тандемная пара пешком проследовала мимо. Покуда мистер Крэмптон был вполне доволен путешествием.

Но тут на дороге вновь возник давешний настырный тип, весь красный и взмыленный. Он съехал на траву, не иначе как намереваясь сделать привал, однако вовремя приметил шоколадный велосипед, кинул взгляд на безмятежного мистера Крэмптона и очертя голову умчался вниз, к городу, несолоно хлебавши.

В Райгейте мистер Крэмптон отобедал. Следу-

---

[99] Примечания: 99

Уилд — холмистая местность на юго-востоке Англии, между меловыми откосами Северного и Южного Даунза, некогда полностью покрытая лесами (от *др.* — *англ.* weald — лес).

ющим пунктом на пути к цели был Кроули[100]. Вот тогда-то, во второй половине дня, и начались его приключения. К тому времени мистер Крэмптон порядком устал, поэтому воротам трех старых дорожных застав между Райгейтом и Хорли выпала честь служить ему подпоркой в минуты отдыха. Велосипедистов на дороге прибавилось, и, завидев очередного, мистер Крэмптон принимался демонстративно курить или (накурившись) что-то чертил в изящном сафьяновом блокноте, иначе кто-нибудь мог подумать, будто он обессилел. Среди проскочивших мимо него велосипедистов была очаровательная девушка — одна, без сопровождающих.

При всем интересе к Мэдж мистер Крэмптон был не чужд фантазий о случайной романтической встрече. Надо сказать, велосипед на первых порах невероятно подхлестывает воображение. Всегда иметь возможность вырваться за пределы привычного круга вещей и колесить по незнакомым дорогам навстречу неизвестности, останавливаться или ехать дальше по собственному усмотрению, в любое время дня, ни у кого не спрашивая согласия, — все это неизбежно

[100] Примечания: 100

Кроули — крупный город в 45 км к югу от Лондона в графстве Западный Сассекс.

настраивает на авантюрный лад. Через пару минут после того, как мимо проехала симпатичная девушка, мистер Крэмптон соскочил с переклади-ны ворот и вернулся в седло. И очень скоро, возле перекрестка, от которого шла дорога на Хорли, он настиг ее. Она шла пешком и катила велосипед рядом с собой.

Отлично скроенный дорожный костюм сидел на девушке как влитой, волосы у нее были красивого каштанового оттенка, а ушко, которое он углядел, пока ехал у нее за спиной… ушко просто прелесть! Девушка проколола заднее колесо, только слепой не увидел бы, что шина сдулась.

Не об этом ли втайне мечтает всякий холостяк, отправляясь на велосипеде за город? Протянуть руку помощи, завязать непринужденный разговор — идиллический сценарий! А там… Кто знает, все может быть. Сердце мистера Крэмптона радостно ёкнуло. Сбавив скорость, он спешился, поравнялся с девушкой и любезно предложил свою помощь: у него с собой набор инструментов. До сих пор ему не приходилось латать велосипедные шины, поэтому он не сомневался, что справится. Поначалу юная леди держалась несколько отчужденно (как и подобает юной леди), однако, осознав, что до Кроули целых

четыре мили, а мистер Крэмптон, в сущности, еще мальчик, к тому же явно из хорошей семьи, согласилась воспользоваться его услугами. За уютным разговором они откатили велосипеды на уютный зеленый пятачок возле перекрестка. Мистер Крэмптон перевернул ее машину колесами вверх (саданув себя по колену) и приступил к ремонту, спокойно и методично. Было около трех часов пополудни, солнце припекало вовсю.

Между делом он завязал с ней беседу. Давно ли проткнулось колесо? Она не могла точно сказать, сама только сейчас заметила, что шина «совсем мягкая».

— Да, неприятное открытие, — прокомментировал мистер Крэмптон. — Надо разобраться, в чем тут загвоздка.

— Вы очень любезны, — поблагодарила она. — Но это не нарушит ваших планов?

— Пустяки, я всего-навсего еду в Брайтон, — ответил он. — Как можно бросить вас в беде!

Естественно, мистер Крэмптон ничего не смыслил в устройстве велосипедов, но слышал, что конструкция у них очень простая. Итак, шину нужно снять, это понятно. Вскоре стало понятно, что сначала придется снять колесо. Но как снять колесо, если не отсоединить цепь? Загадка. Зна-

чит, цепь тоже долой. Правда, сперва пришлось повозиться с предохранительной сеткой на колесе и кожухом над цепью.

— Идем методом индукции, — пояснил мистер Крэмптон, прикрывая безмятежным тоном смутное сомнение и приступая к демонтажу кожуха.

— Какая сложная конструкция, — вздохнула девушка.

— И довольно глупая — конструкторы явно перемудрили, — высказал свое мнение мистер Крэмптон.

— Я никогда не решилась бы разобрать все на части, мне бы вашу смелость!

— Поверьте, это вовсе не сложно.

— Я всегда знала, что мужчины намного лучше нас разбираются в технике. — (Мистер Крэмптон не спешил с ответом.) — Смотрите, у вас все пальцы черные!

С ее стороны было очень мило, очень по-товарищески проявлять такое участие, только это немного отвлекало его от работы. Девушка беспокойно переступала на границе все разраставшегося круга из болтов, цепей, гаек, шайб и других велосипедных деталей, в центре которого трудился мистер Крэмптон, и сыпала короткими, в целом уместными репликами, предполагавши-

ми ответную реакцию. Не стоит также забывать, что она была настоящая красотка. Несмотря на перепачканные руки, и жару, и удивительно непрочные гайки ее машины, мистер Крэмптон все еще радовался дорожному приключению.

— Если мы лучше справляемся с починкой техники, то уступаем вам в чем-то другом.

— Сомневаюсь.

— Я имею в виду чувства.

— Но у мужчин тоже есть чувства.

— Как у девушек — велосипеды, — тонко заметил мистер Крэмптон (за разговором не запомнив, куда кладет пин от цепи) и стянул колесо с втулки.

Оставалось снять с колеса шину, и тут все пошло не так. Шина упрямо не желала вылезать из обода.

— Кто придумал эти «съемные» шины! — проворчал мистер Крэмптон.

Пришлось призвать юную леди на подмогу, и в результате их яростных совместных усилий погнулась спица. К тому же он больно прищемил девушке палец. Мистер Крэмптон догадывался, что для успеха операции нужно знать какой-то прием, но стыдно было расписаться в своем неведении, поэтому, когда на дороге показался

велосипедист, он отставил колесо и сделал вид, будто занят чем-то другим. Потом подъехали трое ребятишек и принялись с любопытством следить за его манипуляциями. Мистер Крэмптон прервал работу и выразительно посмотрел на них. Дети попятились — прячась один за другого — и поскорее уехали. Потом какой-то бродяга начал приставать к нему со своими оригинальными, но бесполезными советами, и мистер Крэмптон дал ему шестипенсовик, лишь бы от него отвязаться. Потом появился уже знакомый ему тандем, возвращавшийся в Лондон, и рыжебородый джентльмен настоял, чтобы ему объяснили, в чем проблема. Бывают же такие настырные люди!

— Не можем снять шину, — сказала девушка (напрасно, по мнению мистера Крэмптона).

— Нет ничего проще, — пожал плечами джентльмен, демонстрируя полное отсутствие такта.

Оказалось и впрямь просто — в его руках. Через минуту снятая с обода шина лежала на земле.

— Благодарю, дальше я сам справлюсь, — натянуто произнес мистер Крэмптон.

— Уверены? — спросил благодетель.

— Абсолютно, — ответил мистер Крэмптон, вперив в рыжебородого джентльмена спокойный,

твердый взгляд (как всякий разумный человек, он полагался на инструкцию к ремонтному набору).

— Большое вам спасибо! — поблагодарила джентльмена юная леди.

— Не за что, — отозвался тот, и тандем уехал.

Следующее недоразумение случилось исключительно по вине идиотских, путаных указаний на коробке с ремонтными принадлежностями. Вообще-то, там было сказано, что место прокола следует заклеить с помощью прилагаемой круглой заплаты, но мистер Крэмптон читал невнимательно, поэтому для начала вырезал кружок на воздушной камере. Отверстие получилось не вполне круглое, он немного подправил его, потом еще и еще, пока дыра на камере не стала шире заплаты. Юная леди молчала уже минут десять, не сводя пристального взгляда с лица мистера Крэмптона. Внезапно она спросила:

— Вы уверены, что все делаете правильно?

— Все по инструкции, — сказал мистер Крэмптон и улыбнулся ей. — Но, честно говоря, я не совсем понимаю, как нам приладить эту штуку.

— Видите ли, я планировала добраться до Кроули к четырем, — сообщила девушка.

Не очень вежливо с ее стороны, заметил про себя мистер Крэмптон, но на всякий случай по-

смотрел на часы. Пять минут пятого!

— Боже мой! — сочувственно изумился он. — Как летит время.

Только сейчас он сообразил, что до Брайтона еще двадцать шесть миль.

— Знаете, я вот что подумала… — сказала юная леди. — Если вы не возражаете, я, пожалуй, лучше покачу свой велосипед дальше. Судя по всему, быстро привести его в порядок не получится. А в Кроули найдется механик…

— Я не стал бы чересчур доверять провинциальным мастерам. Конечно, я виноват, что не сумел вмиг все исправить, но…

— Я очень признательна вам за попытку помочь.

— Погодите, — сказал мистер Крэмптон, — у меня идея…

Отчасти он вошел в азарт. Его идея заключалась в том, чтобы попробовать залатать дыру клочком бумаги, намазав его резиновым клеем. Но фокус не удался, и в четверть пятого мистер Крэмптон начал собирать велосипед. Единственным его достижением за целый час потраченного времени было аккуратно вырезанное круглое отверстие в камере. С каждой минутой его энтузиазм таял, да и девушка была не так мила с ним, как прежде.

Непонятно почему колесо отказывалось встать на место, и с цепью тоже возникли трудности. Вероятно, в траве затерялась пара гаек, и теперь из-за такой ерунды ничего не получалось! Мистер Крэмптон с досадой поглядывал на свои черные руки и помятые отвороты на брюках. На него вдруг нахлынула усталость, он уже не рад был, что связался, а нетерпение девушки дополнительно действовало ему на нервы. Впопыхах мистер Крэмптон утратил всякую тщательность и стал использовать гаечный ключ в качестве молотка, если иначе было не справиться. В глазах проезжавших и проходивших мимо читалась ирония.

Странное устройство — велосипед! Мистеру Крэмптону практически удалось восстановить первоначальный облик машины — не считая защитного кожуха, на который он нечаянно наступил, — но, как только ее вернули в нормальное положение, колесами вниз, цепь провисла, и заднее колесо перестало проворачиваться. Он попробовал применить силу — что-то мерзко скрипнуло, щелкнуло, и механизм окончательно заклинило.

Одним словом, на его долю выпал крайне неприятный дорожный инцидент, в котором,

вопреки сложившемуся стереотипу, не было ни грана романтики, несмотря на бесспорную миловидность девицы.

— Кажется, с ним что-то… все-таки… не совсем в порядке, — осторожно высказалась она.

— Боюсь, что не совсем. — Мистер Крэмптон густо покраснел.

Придерживая велосипед за руль и седло, он задумчиво смотрел на результат своих трудов. Скверная ситуация, а главное — что теперь делать? Разумеется, он не попал бы в такой переплет, если бы не был джентльменом — если бы не его рыцарское отношение к слабому полу. Какой-нибудь велосипедный хам не задумываясь промчался бы мимо и пальцем не шевельнул бы, чтобы помочь даме. Мистеру Крэмптону мучительно хотелось выругаться. Предельно ясно было одно: ему давно пора ехать дальше.

С завидным самообладанием и лучезарной улыбкой он поднял голову и сказал:

— Боюсь, эта машина не сдвинется с места.

Девушка пристально смотрела на него. Внешне она ничем не выразила ни гнева, ни досады, только негромко заметила:

— Не нужно было браться, если не умеете, а вы не умеете — это ясно как день.

Мистер Крэмптон сразу понял, что напрасно считал ее леди.

Тем больше оснований, напомнил он себе, не уронить достоинство джентльмена.

— Мне кажется, что в таком случае я вряд ли могу быть вам полезен.

— И мне так кажется! — ответила она, задетая его нежеланием признать свою вину.

На дороге послышалось мерное клацанье, и с ними поравнялся тот самый краснорожий, взмыленный нахал в серой униформе, которого мистер Крэмптон щелкнул по носу в Банстеде. Он все так же усердно крутил педали — теперь уже в направлении Лондона.

— Ого! — пробормотал он себе под нос и, не останавливаясь, крикнул: — Все в порядке?

Очевидно, девушка ответила ему. Мистер Крэмптон не слышал, потому что смотрел в другую сторону — на злосчастный велосипед. Впрочем, последующее развитие событий подтвердило его догадку.

Велогонщик успел проехать несколько ярдов дальше по дороге, однако тотчас спрыгнул на землю — так проворно, что чуть шею себе не свернул. Небрежно отбросив свой драндулет к живой изгороди, он пешком вернулся к ним.

— Что случилось?

— Ничего, — процедил мистер Крэмптон, пристыженный и оттого злой на весь мир.

— Упали, мисс? — спросил нахал, скосив глаза на погнутое крыло, нимало не смущенный его тоном.

— Спасибо, я сам справлюсь, — сказал мистер Крэмптон.

— Давайте все-таки посмотрим.

Парень приблизился и внезапно узнал надменного пижона в коричневом костюмчике. Он вопросительно взглянул на девушку.

— Прошу вас, пусть джентльмен посмотрит, — тихо сказала юная леди.

После этих слов мистер Крэмптон вышел из себя.

— Как вам будет угодно, — сердито буркнул он. — Только я полагал, что починку своей машины вы доверили мне. Я убил на нее целый час!

— Держите себя в руках, — подчеркнуто спокойно сказал ему парень и нагнулся к неисправному велосипеду.

— Не знал, что вы будете останавливать каждого встречного! — выпалил мистер Крэмптон, срывая на девице свою досаду.

— Держите себя в руках, — повторил парень.

Мистер Крэмптон ответил ему миной ледяного презрения.

— Когда вы сегодня нагрубили мне, — вскинув голову, сказал парень, — я вам спустил. Но если вы посмеете грубить этой юной леди, получите по уху. Все ясно? Я механик-моторист, между прочим. Но не нужно быть механиком, чтобы понять, каких дел вы тут натворили. Чуть не угробили дорогую машину.

Мистер Крэмптон задохнулся от гнева:

— Извольте, я готов *заплатить* за ущерб!

Никто не удосужился ответить ему, хотя он выждал, наверное, целую минуту. Дрожа от возмущения, мистер Крэмптон схватил свой велосипед, неуклюже на него взгромоздился и погнал во всю мочь, пока не скрылся за поворотом. Пусть видят, как он зол. Еще какое-то время внутри у него все бурлило. Потом он громко, сардонически расхохотался:

— Однако… приключение! Ха-ха-ха! Вот и помогай после этого ближнему!

Сардоническое настроение не покинуло его. Мистер Крэмптон люто ненавидел всех, кто попадался ему на пути — по дороге в Кроули и в самом Кроули, хоть на правой стороне, хоть на левой. Едва ли не каждый встречный, судя по его виду,

знал, что мистер Крэмптон оскорблен в своих лучших чувствах. В Кроули мистер Крэмптон часок отдохнул, тихо ненавидя человечество и в сотый раз перебирая в уме все, что мог бы сказать или сделать в эпизоде с велосипедным хамом и юной леди. Когда он двинулся дальше, было шесть часов вечера — солнце садилось. В миле от Кроули дорога начала взбираться на длинный темный холм. Неожиданно сгустились сумерки, и с ними пришло ощущение безумной усталости. Он спешился. Потом снова сел в седло. Трудно было понять, какой способ передвижения утомительнее — на ногах или на колесах. В любом случае — то еще удовольствие! Если вдуматься, вся эта езда на велосипеде — неописуемая вульгарность. Для чего так изнурять себя, страдая от пота и грязи, да еще с риском нарваться на велосипедного хама? Мистер Крэмптон в сердцах топнул ногой, потом еще и еще, употребляя выражения, которые он удивительным образом усвоил вопреки неослабной маменькиной опеке. Впереди лежала темная, нескончаемая, непреодолимая дорога. Он заметил очертания мильного столба и подошел ближе — в душе шевельнулась надежда, что Провидение смилостивилось над ним и сократило его путь миль на десять; но нет,

надпись непреклонно извещала: «Брайтон — 20 миль».

А дальше — тайна, покрытая мраком. Через полтора часа мистер Крэмптон подрулил к знаменитому брайтонскому отелю для избранных. В деревне под названием Три Моста[101] имеется железнодорожная станция, но я твердо стою на том, что автор обязан уважать секреты своих персонажей. На железном коне мистера Крэмптона не было компрометирующего багажного билета, и сам он никогда и никому не давал ни малейших оснований заподозрить, будто на каком-либо отрезке пути воспользовался иным транспортом, кроме своего велосипеда. Когда он явился, шляпа у него съехала набок, одежда была перепачкана, рубашка помялась, а руки, лицо и галстук почернели от соприкосновения с велосипедной цепью юной леди.

Мать на радостях кинулась к нему. С наступлением темноты она не находила себе места от беспокойства.

— Наконец-то, Сесил, мальчик мой! — воскликнула она. — Но какой же ты бледный, измученный! А грязный… как трубочист! — Она ласково

---

[101] Примечания: 101

Три Моста — деревня в окрестностях Кроули, железнодорожный узел.

приобняла его за плечи пухлыми ручками.

— Отстань! — резко осадил ее мистер Крэмптон и рухнул в кресло, мрачно насупившись. — Нет бы догадаться налить человеку рюмку с дороги, чем стоять без дела.

Но после ужина он воспрянул духом и разговорился. Среди прочего подтвердил, что Мэдж ему нравится, и робкие мамашины надежды принял благосклонно.

— Только лучше бы она не ездила на велосипеде, — ворчливо заметил он, — это не вполне… комильфо.

На следующий день обедали у Фентонов. Мистер Крэмптон ждал удобного случая, чтобы произвести впечатление на Мэдж, заранее решив как бы невзначай обмолвиться о своем подвиге, и случай представился только под вечер. Миссис Крэмптон давно бы похвасталась перед Мэдж выдающимся успехом сына — шутка ли, проехать зараз весь путь от Лондона! — если бы не его строжайший приказ помалкивать. Наконец, отвечая на чей-то вопрос, он сдержанно возразил:

— Нет, не на поезде. На велосипеде.

Мэдж поразилась:

— Пятьдесят две мили!

— Не знаю, не уточнял, — равнодушно ответил

мистер Крэмптон. — Мне показалось, что путь не такой уж длинный.

Он мгновенно вырос в ее глазах, это было очевидно.

— Сколько же времени вы ехали?

— Часов шесть… нет, семь. Выехал около полудня. Но я не гнал как угорелый. Да еще остановился на полчаса — надо было помочь одной девушке отремонтировать проколотую шину. — Он изо всех сил пытался делать вид, будто не видел в своем поступке ничего особенного.

— Этель, какими судьбами! — воскликнула миссис Фентон, поднимаясь с кресла. — Дорогая!

Мистер Крэмптон вскинул голову. В дверях стояла героиня саги о проколотой шине… Мэдж тоже вскочила, приветствуя подругу, и потому не заметила выражения его лица.

— А это кузен Сесил, — представила она мистера Крэмптона.

Вновь прибывшая с улыбкой приблизилась, потом в изумлении воззрилась на него, слегка замешкалась и холодно кивнула.

Миссис Крэмптон так и не поняла, что, собственно, тогда приключилось. От сына ничего нельзя было добиться, ее расспросы вызывали у него лишь крайнее раздражение. Несомненно, он встречал эту девушку раньше, и отношения у них не сложились. В свете последующих событий миссис Крэмптон пришла к мысли, что Этель, должно быть, порядочная интриганка: настроила Мэдж против Сесила, поскольку сама имела на него виды. Если так, то своей цели она не достигла. Как бы там ни было, брайтонская встреча не принесла желанного результата, и мистер Крэмптон до сих пор не помолвлен. Учитывая его положение, очень странно, что ни одна девица не прибрала его к рукам. Мэдж (глупышка!) три месяца назад обвенчалась с молодым доктором.

1897

Человек, который мог творить чудеса
Пантум[102] *в прозе*

Перевод С. Антонова.

Трудно сказать, был ли его дар врожденным. Лично я склонен думать, что он обрел эту способность внезапно. Во всяком случае, до тридцати лет он оставался убежденным скептиком и не верил ни в какие чудесные силы. И здесь самое время заметить, что это был приземистый человек с темно-карими глазами, пышной рыжей шевелюрой, закрученными кверху усами и с веснушками на лице. Звали его Джордж Макуиртер Фотерингей (имя, никоим образом не обещающее

---

[102] Примечания: 102

Пантум (пантун) — традиционный жанр малайской (позднее индонезийской) народной поэзии, сложившийся в Средние века; представляет собой череду рифмованных катренов, где вторая и четвертая строки предыдущего четверостишия повторяются в первой и третьей строках последующего (за исключением финального четверостишия, в котором последняя строка повторяет первый стих текста, третья и первая — вторую и четвертую предпоследнего катрена, а первая — последнюю строчку первого четверостишия). В XIX в. с формой пантуна начали экспериментировать западные писатели. Кольцевая композиция рассказа Уэллса отчасти следует этому структурному принципу, чем и обусловлен выбор подзаголовка.

чудес), и он служил клерком у Гомшотта. Весьма охочий до споров, он всегда высказывал свои мнения в категорической форме. И как раз посреди очередного диспута, когда он исполненным непреклонной уверенности тоном утверждал, что чудес не бывает, его необыкновенный дар и проявился впервые. Этот знаменательный диспут происходил в баре трактира «Длинный дракон», а главным оппонентом мистера Фотерингея был Тодди Бимиш, который в ответ на все его тирады бросал однообразную, но вескую реплику: «Это *вы* так говорите», которая в конце концов довела противника до белого каления.

Кроме этих двоих, в баре находились пропыленный велосипедист, хозяин заведения Кокс и мисс Мэйбридж — весьма почтенная и довольно дородная официантка «Дракона». Мисс Мэйбридж стояла спиной к мистеру Фотерингею и мыла стаканы; прочие смотрели на него, забавляясь наглядным свидетельством неэффективности категоричных доводов. Раздраженный торриш-ведрашской тактикой[103], которую из-

[103] Примечания: 103

Торриш-ведрашская тактика — изнуряющая противника тактика, сочетающая методы позиционной и партизанской войны и впервые примененная англо-португальскими войсками против французских захватчиков в 1810–1811 гг. у португальского городка Торриш-Ведраш.

брал мистер Бимиш, заядлый спорщик решил прибегнуть к необычному для него риторическому приему.

— Послушайте, мистер Бимиш, — сказал мистер Фотерингей, — давайте-ка разберемся, что такое чудо. Это нечто противоречащее естественному ходу вещей, творимое усилием воли, нечто такое, чего не может произойти без чьего-то желания и намерения.

— Это *вы* так говорите, — парировал мистер Бимиш.

Мистер Фотерингей призвал в союзники велосипедиста, который до сей минуты молчал, и получил его одобрение, выразившееся в смущенном покашливании и взгляде в сторону мистера Бимиша. Хозяин предпочел оставить свое мнение при себе, и мистер Фотерингей вновь обратился к мистеру Бимишу — и был приятно удивлен тем, что оппонент, пусть и с оговоркой, неожиданно согласился с его определением чуда.

— Вот, например… — возобновил разговор мистер Фотерингей, заметно воодушевившись, — вот что, например, можно было бы счесть чудом. В силу законов природы эта лампа не сможет гореть, если перевернуть ее вверх дном, не так ли, Бимиш?

— Это *вы* говорите, что не сможет, — сказал Бимиш.

— А вы? — вскричал Фотерингей. — Вы же не хотите сказать, что…

— Нет, — нехотя подтвердил Бимиш. — Не сможет.

— Отлично, — продолжал Фотерингей. — А теперь вообразите, что сюда заявляется некто — ну, допустим, я, — становится на этом самом месте и, сконцентрировав на этой лампе всю свою волю, говорит ей, как я сейчас говорю: «Перевернись вверх дном, но не разбейся и продолжай гореть, как прежде», — и… Ух ты!

Тут любому было отчего воскликнуть «Ух ты!». На глазах у всех произошло невозможное, немыслимое. Лампа, перевернувшись, зависла в воздухе и по-прежнему ровно горела пламенем вниз. Это была самая настоящая и несомненная, самая заурядная, ничем не примечательная лампа, принадлежавшая бару трактира «Длинный дракон».

Мистер Фотерингей стоял, вытянув вперед указательный палец и сдвинув брови, как человек, ожидающий неминуемого катастрофического падения. Велосипедист, сидевший ближе всех к лампе, пригнулся и перепрыгнул через барную стойку. Все так или иначе повскакивали с мест.

Мисс Мэйбридж обернулась и вскрикнула. В течение трех секунд лампа продолжала висеть неподвижно. Потом послышался слабый возглас, выдававший умственное напряжение мистера Фотерингея: «Я больше не могу ее удерживать!» Он, шатаясь, отступил назад, и перевернутая лампа вдруг вспыхнула, ударилась об угол стойки, отлетела вбок, рухнула на пол и погасла.

К счастью, в ней имелся металлический резервуар, иначе в баре неизбежно возник бы пожар. Первым заговорил мистер Кокс, заявивший (за вычетом не относящихся к делу междометий), что Фотерингей — дурак. Тот не находил в себе сил оспаривать даже столь категоричное утверждение. Он был безмерно удивлен случившимся. Дальнейший разговор нисколько не прояснил ни сути инцидента, ни роли в нем мистера Фотерингея; все дружно поддержали мистера Кокса, притом с большой горячностью. Они наперебой обвиняли Фотерингея в том, что своей глупой выходкой он выставил себя безрассудным нарушителем общественного спокойствия и безопасности. Совершенно сбитый с толку, он был готов согласиться с ними и почти не протестовал, когда ему предложили покинуть трактир.

Он шел домой, охваченный лихорадочным

возбуждением; воротник его пальто был смят, глаза саднило, уши пылали. Каждый из доброго десятка уличных фонарей, попавшихся ему на пути, он окидывал подозрительным взглядом. И, только оказавшись в одиночестве в маленькой спальне своей квартиры на Черч-роу, мистер Фотерингей смог толком восстановить в памяти происшедшее и задал себе вопрос: «Что это, черт побери, такое было?»

Он снял пальто и ботинки и уселся на кровать, засунув руки в карманы. Уже в который раз он повторял в свое оправдание: «*Я* не хотел, чтобы эта треклятая штуковина перевернулась», как вдруг вспомнил, что, отдавая приказание лампе, невольно пожелал, чтобы оно исполнилось; а когда лампа зависла в воздухе, он почувствовал, что способен удержать ее там, хотя понятия не имел, каким образом это можно сделать. Мистер Фотерингей не отличался философским складом ума, в противном случае он непременно задумался бы над пресловутым «невольным желанием», касающимся одного из самых сложных аспектов учения о свободе воли; но все же мысль о чем-то подобном смутно мелькнула в его сознании. От нее (следуя, скажем прямо, какой-то не вполне ясной логике) он пришел к решению проверить

свои интуитивные догадки опытным путем.

Он уверенным жестом протянул руку к свече и, хотя и чувствовал себя глупо, мысленно сосредоточился на ней. «Поднимись», — приказал он. В следующий миг его неуверенность исчезла. Свеча воспарила, на какой-то головокружительный момент повисла в воздухе и затем со стуком упала на туалетный столик, оставив глотавшего ртом воздух мистера Фотерингея в темноте, которую нарушало лишь постепенно меркшее тление фитиля.

Какое-то время мистер Фотерингей неподвижно сидел в темноте.

— Все-таки сработало, — произнес он наконец. — Но *ума не приложу, каким образом*.

Он тяжело вздохнул и порылся в карманах, ища спички. Не обнаружив их, он встал и принялся ощупывать поверхность столика.

— Мне нужна спичка, — проговорил он.

Он взялся за пальто, но и там спичек не оказалось. Тут его осенило, что чудеса возможны и со спичками. Вытянув вперед руку, он грозно уставился на нее в темноте.

— Пусть в этой руке появится спичка! — повелел он.

Он ощутил, как что-то легкое упало ему на ла-

донь, и его пальцы сжали спичку.

После нескольких безуспешных попыток зажечь ее мистер Фотерингей понял, что она безопасная. Он отшвырнул ее, но ему тотчас пришло в голову, что он может приказать ей загореться. Мистер Фотерингей так и сделал, и спичка вспыхнула на салфетке, лежавшей на столике. Он поспешно схватил ее, но она погасла. Почувствовав в себе скрытые возможности, он нащупал свечу и вставил ее в подсвечник.

— А ну-ка, *зажгись*! — скомандовал мистер Фотерингей; свеча незамедлительно воспламенилась, и он увидел в покрывавшей туалетный столик скатерти черную дырочку, из которой вился дымок. Он переводил взгляд с дырочки на фитилек и обратно, а потом поднял голову и встретился глазами с собственным отражением в зеркале. С его помощью мистер Фотерингей некоторое время вел безмолвную беседу с самим собой.

— Ну и что ты теперь думаешь о чудесах? — спросил он наконец у своего зеркального двойника.

Далее мистер Фотерингей погрузился в напряженные, но довольно смутные размышления. Насколько он понимал, все дело было исключи-

тельно в его воле. Происшедшее не располагало его к продолжению экспериментов, по крайней мере пока он как следует не обмозгует прежних. Тем не менее мистер Фотерингей заставил воспарить лист бумаги и окрасил воду в стакане сначала в розовый, а потом в зеленый цвет. Кроме того, он сотворил — и чудодейственным образом уничтожил — улитку, после чего тем же способом обзавелся новой зубной щеткой. Где-то к полуночи он убедился, что обладает необыкновенно редкой силой воли, о наличии которой он до сих пор лишь смутно подозревал. Испуг и замешательство, овладевшие им, когда она проявилась впервые, теперь сменились гордостью от сознания своей исключительности и неясным предчувствием тех преимуществ, которые она могла дать. Услышав, как часы на церковной башне пробили час ночи, мистер Фотерингей решил раздеться и не мешкая лечь спать; ему не пришло в голову, что, применив свой новооткрытый дар, он может отделаться от своих повседневных обязанностей в конторе Гомшотта. И в тот миг, когда он стаскивал через голову сорочку, его осенила блестящая мысль.

— Пусть я окажусь в постели! — вслух пожелал мистер Фотерингей и тотчас очутился там, где хо-

тел. — Раздетый, — добавил он и, найдя простыни холодными, торопливо проговорил: — И в своей ночной сорочке… нет, в превосходной мягкой ночной сорочке из шерсти… Опа! — воскликнул он с безмерным удовольствием. — А теперь пусть мне легко и спокойно спится…

Он пробудился в обычное время и за завтраком пребывал в глубокой задумчивости, гадая, не было ли случившееся накануне вечером и ночью всего-навсего поразительно живым сном. В конце концов он пришел к мысли проделать несколько безобидных опытов. Например, он съел на завтрак три яйца: два из них, добротные, но ничем не примечательные, ему подала квартирная хозяйка, а третье — отборное, свежее гусиное яйцо — он добыл, приготовил и подал себе сам, применив беспримерную силу воли. Не на шутку взволнованный экспериментом, мистер Фотерингей, тщательно скрывая свои чувства, поспешил к Гомшотту — и вспомнил про скорлупу от третьего яйца только вечером, когда об этом завела речь хозяйка. В конторе он, ошеломленный новым знанием о самом себе, так и не смог заняться служебными делами; впрочем, это не доставило ему каких-либо неприятностей, — пустив в ход свой чудодейственный

дар, он выполнил все, что от него требовалось, в последние десять минут рабочего дня.

К вечеру удивление мистера Фотерингея сменилось душевным подъемом, хотя он испытывал досаду, вспоминая о том, как ему пришлось ретироваться из «Длинного дракона», и слушая подтрунивание коллег, до которых успели дойти кривотолки об этом происшествии. Очевидно, ему следует быть осторожным, поднимая в воздух хрупкие предметы; но в целом чем больше мистер Фотерингей размышлял о своем новообретенном даре, тем больше выгод в нем находил. Он вознамерился, в частности, пополнить свое имущество посредством актов творения, неприметных для окружающих. Он вызвал из небытия пару великолепных бриллиантовых запонок, но поспешно отправил их обратно, заметив, как к его конторке приближается младший Гомшотт, и убоявшись вопросов о том, откуда они взялись. Ему было совершенно ясно, что пользоваться этим даром надлежит бережно и осмотрительно, однако, насколько мистер Фотерингей мог судить, овладеть им было не сложнее, чем научиться ездить на велосипеде, — а эту науку он уже освоил. Вероятно, вдохновленный этой аналогией и сознававший, что в «Длинном драконе»

его едва ли ожидает радушный прием, мистер Фотерингей, отужинав, предпринял вылазку в переулок за газовым заводом, дабы втихаря поупражняться в сотворении чудес.

Его опытам, пожалуй, недоставало оригинальности, так как во всем, кроме силы воли, мистер Фотерингей был вполне заурядным человеком. Ему пришло на ум чудо с жезлом Моисея[104], но вечер стоял темный, и обеспечить должный надзор за большими чудотворными змеями было бы затруднительно. Потом он припомнил историю из «Тангейзера»[105], которую когда-то прочел на обороте филармонической программки. Это чудо показалось ему необычайно привлекательным и притом безопасным. Он воткнул свою изящную трость пальмового дерева, известную как «пе-

[104] Примечания: 104

Аллюзия на ветхозаветный эпизод обращения Господом жезла (посоха) пророка Моисея в змея и обратно (см.: Исх., 4: 2–5). Далее в библейском тексте описано аналогичное превращение жезла Аарона, старшего брата Моисея (см.: Исх., 7: 10–12).

[105] Примечания: 105

«Тангейзер и состязание певцов в Вартбурге» (1845) — романтическая опера Вагнера (см. примеч. на с. 38); либретто, варьирующее легенду о средневековом немецком поэте Тангейзере, было написано в 1842–1843 гг. самим композитором по мотивам новелл немецких прозаиков-романтиков Э. Т. А. Гофмана и Л. Тика. Подразумевается финальная сцена III акта оперы: в ней прибывшие из Рима паломники рассказывают, как после смерти Тангейзера, который умер, не получив прощения своих грехов от папы римского, в руке последнего расцвел сухой посох — чудо, говорящее о прощении свыше.

нангский защитник»[106], в дерн, что окаймлял тротуар, и приказал сухой древесине зацвести. Воздух вокруг сразу наполнился ароматом роз, и, чиркнув спичкой, мистер Фотерингей воочию убедился, что это прекрасное чудо в самом деле свершилось. Радость его померкла при звуке приближавшихся шагов. Опасаясь, как бы его дар не обнаружили раньше времени, он поспешно скомандовал цветущей трости: «Вернись обратно!» Мистер Фотерингей хотел сказать: «Превратись обратно!» — но, разумеется, перепутал. Трость стремглав понеслась назад по тротуару, и оттуда тотчас послышался гневный окрик и брань прохожего:

— Что там за болван кидается терновыми сучьями? Ты попал мне по голени!

— Извини, старина, — произнес мистер Фотерингей, после чего, осознав, сколь несуразным было бы его объяснение, принялся нервно крутить усы. Он увидел, как к нему приближается Уинч, один из трех полисменов Иммерлинга.

— С какой целью вы это сделали? — спросил Уинч. — Ба! Так это вы! Тот самый джентльмен,

[106] Примечания: 106

«Пенангский защитник» — трость из пальмового дерева, привезенного с острова Пенанг (Малайзия), удобное средство самообороны, чем и объясняется ее название.

который разбил лампу в «Длинном драконе»!

— Ни с какой целью, — ответил мистер Фотерингей. — Совсем ни с какой.

— Тогда с чего вам взбрело в голову швырнуть палку?

— Вот черт! — вырвалось у мистера Фотерингея.

— И то правда! Вы что, не знаете, что палкой можно нанести увечье? Зачем вы это сделали?

В ту минуту мистер Фотерингей нипочем не мог найтись с ответом. Его молчание, похоже, подогрело ярость мистера Уинча.

— На этот раз вы напали на полисмена, молодой человек, — *вот что* вы сделали.

— Послушайте, мистер Уинч, — сказал мистер Фотерингей, растерянный и раздосадованный, — мне жаль, очень жаль. Дело в том, что…

— Ну!

Ничего, кроме правды, мистеру Фотерингею в голову не приходило.

— Я творил чудо. — Он постарался выговорить эти слова как можно более небрежным тоном, но ему это не удалось.

— Творили чу… Что за вздор! Творил чудо, как же! Чудо! А что, смешно! Вы, который не верит в чудеса… Это еще один из ваших дурацких фокусов

— вот что это такое. Так я вам вот что скажу…

Но мистер Фотерингей так и не узнал, что́ собирался сказать ему мистер Уинч. Он понял, что проговорился и выболтал свою драгоценную тайну всему свету. Прилив гнева побудил его действовать, и он резко повернулся к полисмену.

— Слушайте, вы, — произнес он, — мне это надоело! Ей-богу, сейчас я вам покажу дурацкий фокус! Убирайтесь в преисподнюю! Ну!

Он остался один.

В тот вечер мистер Фотерингей больше не творил чудес и даже не дал себе труд узнать, что сталось с его цветущей тростью. Испуганный и притихший, он воротился в город и, оказавшись дома, сразу прошел к себе спальню.

— Господи! — сказал он. — Какой мощный дар… какой необыкновенно мощный дар! У меня и в мыслях не было заходить настолько далеко, вовсе нет… Интересно, как выглядит преисподняя?

Мистер Фотерингей сидел на кровати, стаскивая ботинки. Вдруг его осенила счастливая мысль, и он переправил полисмена в Сан-Франциско, а потом, не вмешиваясь больше в естественный ход вещей, преспокойно лег спать. Во сне ему явился разгневанный Уинч.

На следующий день мистер Фотерингей узнал

две интересные новости. Кто-то высадил очень красивый куст плетистой розы напротив дома мистера Гомшотта-старшего на Лаллаборо-роуд; а реку до самой мельницы Роулинга собирались обследовать тралом в поисках тела полисмена Уинча.

Весь день мистер Фотерингей был рассеян и задумчив и не сотворил никаких чудес — разве что снабдил Уинча кое-какими припасами да обеспечил безупречно пунктуальное завершение своей работы, несмотря на рой мыслей, жужжавших у него в голове. Его необычная рассеянность и кротость не укрылись от внимания сослуживцев и стали поводом для шуток. Он же бóльшую часть дня думал об Уинче.

В воскресенье вечером он отправился в церковь, и, по странному совпадению, мистер Мэйдиг, немного интересовавшийся оккультизмом, прочел проповедь о «явлениях незакономерных». Мистер Фотерингей был не самым прилежным прихожанином, но теперь присущий ему категорический скептицизм, о котором я уже упоминал, оказался серьезно поколеблен. Содержание проповеди пролило совершенно новый свет на его новообретенный дар, и он решил посоветоваться с мистером Мэйдигом сразу по окончании пропо-

веди. Решение было спонтанным, и, приняв его, мистер Фотерингей даже удивился, почему не сделал этого раньше.

Мистер Мэйдиг, худощавый, нервный человек с необыкновенно длинными кистями рук и шеей, был весьма польщен просьбой о конфиденциальной беседе со стороны молодого человека, чье пренебрежительное отношение к религии давно стало темой пересудов среди жителей Иммерлинга. Покончив с делами, он пригласил мистера Фотерингея в свой домик при церкви, провел в кабинет, усадил поудобнее и, стоя перед весело пылавшим камином (так что ноги его отбрасывали тень Колосса Родосского[107] на стену напротив), попросил изложить суть дела.

Сперва мистер Фотерингей чувствовал смущение, не зная, как приступить к рассказу.

— Боюсь, вы вряд ли мне поверите, мистер Мэйдиг… — В таком духе он изъяснялся некоторое время. Наконец он решил начать с вопроса и поинтересовался у мистера Мэйдига, что тот думает о чудесах.

---

[107] Примечания: 107

Колосс Родосский — 37-метровая бронзовая статуя бога солнца Гелеоса, возведенная в 292–280 гг. до н. э. греческим скульптором Харетом над входом в гавань города-порта Родос на одноименном острове в Эгейском море; в древности считалась одним из «семи чудес света»; уничтожена разрушительным землетрясением ок. 222 г. до н. э.

— Видите ли… — произнес рассудительным тоном мистер Мэйдиг, но гость тут же перебил его:

— Полагаю, вы не верите, что какой-нибудь человек, самый обыкновенный, вроде меня, например, сидя вот здесь, может обладать способностями, позволяющими проделывать разные штуки одной лишь силой воли?

— Это возможно, — ответил мистер Мэйдиг, — что-то подобное, пожалуй, вполне возможно.

— Разрешите мне воспользоваться чем-нибудь из предметов вокруг, и, думаю, я смогу продемонстрировать это на опыте, — предложил мистер Фотерингей. — Возьмем, к примеру, вот эту банку с табаком на столе. Я хотел бы знать, будет ли считаться чудом то, что я собираюсь с ней сейчас сделать. Минутку терпения, мистер Мэйдиг… — Он сдвинул брови, указал на банку с табаком и сказал: — Стань вазой с фиалками.

Банка незамедлительно исполнила то, что ей было велено.

Мистер Мэйдиг вздрогнул от неожиданности и застыл на месте, переводя взгляд с чудотворца на цветы и обратно. Он не проронил ни слова. Потом все-таки отважился склониться над столом и понюхать фиалки: это были свежие, только что сорванные и очень красивые цветы. Тогда

священник снова пристально посмотрел на Фотерингея.

— Как вы это сделали? — спросил он.

Мистер Фотерингей потянул себя за ус.

— Просто приказал — и вот, пожалуйста. Что это — чудо, черная магия или что-то другое? И что, по-вашему, творится со мной? Вот о чем я хотел спросить.

— Это в высшей степени необыкновенное явление!

— А всего неделю назад я знал, что способен на такое, не больше вашего. Это открылось совершенно внезапно. Мне кажется, что-то странное творится с моей волей, и это все, что я в состоянии понять.

— А это… это все? Или вы можете делать что-то еще?

— Господи, конечно! — воскликнул мистер Фотерингей. — Все, что угодно! — Он задумался, а потом вдруг вспомнил виденный когда-то фокус. — Смотрите! — Он простер вперед руку. — Превратись в чашу с рыбой!.. Нет, не так… в стеклянную вазу, полную воды, где плавают золотые рыбки. Так-то лучше!.. Вы видите это, мистер Мэйдиг?

— Поразительно. Невероятно! Вы или самый

необыкновенный… впрочем, нет…

— Я могу превратить это во что угодно, — сказал мистер Фотерингей. — Во что угодно. Смотрите! Стань голубем, слышишь?

Спустя мгновение по кабинету парил сизый голубь, и всякий раз, когда он пролетал мимо мистера Мэйдига, тот невольно втягивал голову в плечи.

— Замри! — приказал голубю мистер Фотерингей, и птица неподвижно повисла в воздухе. — Я могу опять превратить его в вазу с цветами, — продолжал он и, повелев голубю спикировать на стол, сотворил обещанное чудо. — Думаю, вам скоро захочется выкурить трубку, — добавил он, и на столе вновь появилась банка с табаком.

Мистер Мэйдиг наблюдал за всеми этими метаморфозами, храня красноречивое молчание. Затем, внимательно посмотрев на мистера Фотерингея, он опасливо взял в руки банку с табаком, обследовал ее и поставил обратно на стол.

— Однако! — только и смог выдавить он.

— Теперь мне будет проще объяснить вам, зачем я пришел, — заговорил мистер Фотерингей и принялся подробно, хотя и довольно путано, описывать свои удивительные опыты, начав со случая с лампой в «Длинном драконе» и то и дело

сбиваясь на инцидент с Уинчем. По мере рассказа гордость собой, на время взыгравшая в нем при виде замешательства мистера Мэйдига, постепенно сошла на нет, и он снова стал тем самым обыкновенным мистером Фотерингеем, каким был всегда. Мистер Мэйдиг сосредоточенно слушал, держа в руках банку с табаком, и выражение его лица тоже мало-помалу менялось. Когда гость дошел до чуда с третьим яйцом, священник перебил его, энергично взмахнув рукой.

— Это возможно, — сказал он. — Это вполне вероятно. Поразительно, что и говорить, но зато позволяет разрешить немало противоречий. Способность творить чудеса — это дар, особое свойство, сродни гениальности или ясновидению; до сих пор она встречалась крайне редко и лишь у неординарных людей. Но в данном случае… Меня всегда повергали в изумление чудеса, которые творил Магомет, или индийские йоги, или госпожа Блаватская[108]. Но конечно… Да, это просто дар! Он блестяще подтверждает рассуждения великого мыслителя, — мистер

[108] Примечания: 108

Елена Петровна *Блаватская* (1831–1891) — русская эмигрантка, оккультистка, спиритуалистка, писательница и путешественница, основательница религиозного учения, именуемого теософией; в 1875 г. учредила в Нью-Йорке Теософское общество.

Мэйдиг понизил голос, — его светлости герцога Аргайлского![109] Здесь мы сталкиваемся с действием закона более глубокого, нежели обычные законы природы. Да… да. Продолжайте же, продолжайте!

Мистер Фотерингей принялся рассказывать о злоключении с Уинчем, и мистер Мэйдиг, уже оправившийся от благоговейного страха, начал размахивать руками и издавать удивленные возгласы.

— Именно эта ситуация тревожит меня сильнее всего, — признался мистер Фотерингей, — и именно в ней мне особенно нужен ваш совет. Конечно, Уинч в Сан-Франциско — где бы этот Сан-Франциско ни находился, — однако, как вы догадываетесь, мистер Мэйдиг, такое положение дел чрезвычайно неудобно и для него, и для меня. Он, само собой, не может понять, что с ним случилось, но, вероятно, напуган, ужасно разозлен и старается добраться до меня. Должно быть, он пытается уехать оттуда. Не проходит и пары часов, как я опять вспоминаю об этом и силой

---

[109] Примечания: 109

Джордж Дуглас Кемпбелл, 8-й *герцог Аргайлский* (1823–1900) — британский государственный деятель, ученый, публицист, историк, оратор; противник дарвинизма, отстаивавший в ряде работ компромиссную концепцию эволюционного креационизма, в которой идея Бога-творца совмещается с идеей биологической эволюции.

мысли возвращаю его обратно. И он, бесспорно, не в силах уразуметь, что с ним происходит, и это выводит его из себя; и, ясное дело, если он всякий раз покупает билет, это в итоге влетит ему в огромную сумму. Я сделал для него все, что мог, но едва ли он сумеет поставить себя на мое место. Например, я подумал, что его одежда могла обгореть… если преисподняя такова, какой ее представляют… прежде чем он очутился в Сан-Франциско. Если так, то его могли там арестовать. Конечно, как только это пришло мне в голову, я сразу обеспечил его новым костюмом. Но вы понимаете, в какой дьявольский переплет я угодил…

Мистер Мэйдиг слушал его с глубокомысленным видом.

— Да уж, переплет… Положение и впрямь трудное. Как из него выбраться?.. — Он начал неуверенно бормотать что-то, а потом произнес: — Впрочем, забудем на время про Уинча и обсудим более общий вопрос. Не думаю, что это черная магия или что-то в этом роде. Не думаю также, что в этом есть нечто преступное, — решительно ничего, мистер Фотерингей, если только вы не умалчиваете о каких-то существенных фактах. Нет, это чудеса, самые настоящие чудеса

— я бы сказал, чудеса высшего порядка.

Он принялся расхаживать по ковру перед камином, оживленно жестикулируя, а мистер Фотерингей с озабоченным видом сидел у стола, подперев голову рукой.

— Ума не приложу, как мне быть с Уинчем, — вырвалось у него.

— Не тревожьтесь. Дар творить чудеса — несомненно, очень мощный дар — подскажет вам выход, — заверил его мистер Мэйдиг. — Дорогой мой, вы, человек, наделенный поразительными возможностями, — исключительно важная персона. Как свидетель в суде, например. Да и в других отношениях вы способны на такое…

— Да, у меня *есть* одна-две задумки, — согласился мистер Фотерингей. — Но… кое-что выходит кривовато. Вы видели ту, первую, рыбу? И ваза не та, и рыба не та. Вот я и решил, что стоит с кем-нибудь посоветоваться.

— Разумное решение, — одобрительно заметил мистер Мэйдиг, — весьма разумное решение, разумнее не придумать. — Он остановился и взглянул на мистера Фотерингея. — Ваш дар, в сущности, ничем не ограничен. Давайте-ка испытаем вашу силу. Если она *и впрямь*… Если она и впрямь такова, какой выглядит.

И вот, сколь бы невероятным это ни казалось, воскресным вечером 10 ноября 1896 года в кабинете домика за конгрегационалистской церковью мистер Фотерингей, подстрекаемый и вдохновляемый мистером Мэйдигом, начал творить чудеса. Читателю непременно следует обратить особое внимание на дату. Он, конечно, заявит — а возможно, уже заявил, — что некоторые эпизоды рассказанной здесь истории неправдоподобны и что, случись нечто вроде того, о чем поведано выше, на самом деле, об этом наперебой трубили бы все тогдашние газеты. Еще менее правдоподобным покажется ему то, о чем пойдет речь ниже, ибо последующие события, среди прочего, подразумевают, что предполагаемого читателя или читательницу более года назад постигла насильственная смерть, которая произошла при беспрецедентных обстоятельствах. Но не будь чудо невероятным, оно не было бы чудом; а посему примем как данность, что читатель действительно окончил свои дни более года назад насильственной смертью при беспрецедентных обстоятельствах. Всякий разумный и здравомыслящий человек сможет убедиться в этом в ходе дальнейшего рассказа. Впрочем, еще не время заканчивать его — ведь мы едва миновали сере-

дину истории.

Поначалу мистер Фотерингей творил лишь робкие, маленькие чудеса — незатейливые фокусы с чашками и различными комнатными безделушками, такие же ничтожные, как чудеса теософов, — но, несмотря на их ничтожность, его напарник наблюдал за происходящим со священным трепетом. Мистер Фотерингей предпочел бы не мешкая уладить дело с Уинчем, однако мистер Мэйдиг все время отвлекал его. После дюжины подобных «домашних» опытов у обоих выросло осознание собственной силы, разгулялось воображение и взыграло честолюбие. На первое более значительное предприятие их сподвигли голод и нерадивость миссис Минчин, экономки мистера Мэйдига. Ужин, на который священник пригласил мистера Фотерингея, оказался слишком скудным и неаппетитным для двух деятельных чудотворцев; тем не менее они уселись за стол, и, когда мистер Мэйдиг начал, скорее печалясь, чем сердясь, разглагольствовать о недобросовестности своей экономки, гостю пришло в голову, что ему представился случай совершить новое чудо.

— Как вы думаете, мистер Мэйдиг, — спросил он, — не будет ли дерзостью с моей стороны, если я…

— Дорогой мистер Фотерингей, конечно нет!

Мистер Фотерингей взмахнул рукой.

— Что же мы закажем? — спросил он тоном радушного хозяина и составил для мистера Мэйдига роскошное меню. — А мне, — добавил он, окинув взглядом то, что выбрал священник, — больше всего по вкусу кружка портера и гренки с сыром. Их-то я себе и закажу. Я не большой любитель бургундского.

И едва он это произнес, на столе появились портер и гренки с сыром.

Они долго сидели за столом, беседуя как равные (что мистер Фотерингей мысленно отметил с приятным удивлением) о чудесах, которые им предстоит совершить.

— Кстати, мистер Мэйдиг, — сказал мистер Фотерингей, — я, пожалуй, мог бы помочь вам… в ваших делах.

— Я что-то не вполне вас понимаю, — отозвался мистер Мэйдиг, наливая себе чудотворного старого бургундского.

Мистер Фотерингей извлек из пустоты вторую порцию гренок и отхлебнул пива.

— Я подумал, — пояснил он, — что мог бы (чав, чав) сотворить (чав, чав) чудо с миссис Минчин (чав, чав)… исправить ее недостатки.

Мистер Мэйдиг поставил стакан на стол и с сомнением взглянул на собеседника.

— Она… знаете ли, мистер Фотерингей, она очень не любит, когда вмешиваются в ее дела. И вдобавок теперь уже двенадцатый час, она, должно быть, в постели и спит. И, вообще говоря, не кажется ли вам, что…

Мистер Фотерингей обдумал его возражения.

— А почему бы не сделать это, пока она спит?

Поначалу мистер Мэйдиг противился этой идее, но потом уступил. Мистер Фотерингей отдал необходимые приказания, и два джентльмена продолжили ужинать, хотя, вероятно, менее непринужденно. Мистер Мэйдиг пустился рассуждать о переменах, каковые ожидал назавтра обнаружить в своей экономке, и притом с таким оптимизмом, который даже мистеру Фотерингею, пребывавшему после ужина в благодушном настроении, показался несколько наигранным и чрезмерным. Внезапно сверху донесся какой-то невнятный шум. Они вопросительно переглянулись, и мистер Мэйдиг быстро вышел из комнаты. Мистер Фотерингей услышал, как священник позвал экономку и затем начал осторожно подниматься к ней в спальню.

Через минуту-другую мистер Мэйдиг вернулся.

Походка его была легкой, лицо сияло.

— Невероятно! — воскликнул он. — И трогательно! Необычайно трогательно! — Он принялся вышагивать взад-вперед по ковру перед камином. — Раскаяние… самое что ни на есть трогательное раскаяние… сквозь щель в двери! Бедняжка! Просто поразительная перемена! Она проснулась. Должно быть, сразу проснулась. Она поднялась с постели, чтобы разбить бутылку бренди, припрятанную у нее в сундучке. И чтобы покаяться в этом!.. Но это дает нам… это открывает… поистине ошеломительные перспективы! Если уж нам удалось совершить такую чудесную перемену в *ней*…

— Перспективы, похоже, безграничные, — согласился мистер Фотерингей. — Вот и насчет мистера Уинча…

— Совершенно безграничные, — подтвердил мистер Мэйдиг. Отмахнувшись от затруднения с Уинчем, он продолжил расхаживать по ковру и развернул перед гостем череду удивительных планов, которые один за другим рождались у него в голове.

Каковы были эти планы, не имеет отношения к сути нашего рассказа. Достаточно сказать, что они были продиктованы духом бесконечного

человеколюбия — того человеколюбия, которое принято называть послеобеденным, — и что вопрос с Уинчем так и остался нерешенным. Нет необходимости рассказывать и о том, в какой мере эти планы осуществились. Заметим только, что произошли удивительные перемены. С наступлением ночи мистер Мэйдиг и мистер Фотерингей сновали в свете луны по промозглой рыночной площади, пребывая в каком-то экстазе чудотворства: первый все время оживленно жестикулировал, а второй — приземистый и взъерошенный — уже не стеснялся своего величия. Они наставили на путь истинный всех пьяниц в своем избирательном округе, превратили все пиво и другие спиртные напитки в воду (в этом вопросе мистер Мэйдиг взял верх над мистером Фотерингеем); потом они значительно улучшили местное железнодорожное сообщение, осушили Флиндерово болото, облагородили почву на холме Одинокого Дерева, вывели бородавку у викария, после чего отправились посмотреть, что можно сделать с поврежденной опорой Южного моста.

— Завтра, — произнес, задыхаясь, мистер Мэйдиг, — этот город преобразится! Нас ждут всеобщее удивление и благодарность!

В это мгновение церковные часы пробили три.

— Однако! — воскликнул мистер Фотерингей. — Уже три часа ночи! Мне пора домой. В восемь утра я должен быть на службе. И, кроме того, миссис Уиммс…

— Да ведь мы только начинаем, — возразил мистер Мэйдиг, упиваясь сладким чувством безграничного могущества. — Только начинаем! Подумайте, сколько добрых дел мы еще совершим! Когда люди проснутся…

— Но… — начал мистер Фотерингей.

Внезапно мистер Мэйдиг с лихорадочным огнем в глазах схватил чудотворца за руку.

— Дружище! — вскричал он. — Вам незачем торопиться! Взгляните! — И он указал на луну, стоявшую в зените. — Иисус Навин![110]

— Иисус Навин? — переспросил мистер Фотерингей.

— Иисус Навин, — повторил мистер Мэйдиг. — Почему нет? Остановите ее.

Мистер Фотерингей посмотрел на луну.

— Немного высоковато, — проговорил он, по-

---

[110] Примечания: 110

Иисус Навин — персонаж Ветхого Завета, предводитель еврейского народа в период завоевания Ханаана, преемник пророка Моисея; во время битвы с ханаанянами при городе Гаваон остановил на небе солнце и луну, чтобы противник не смог отступить под прикрытием ночной темноты (см.: Нав., 10:12–14).

молчав.

— И что с того? — возразил мистер Мэйдиг. — Конечно, она не остановится. Остановите вращение Земли, понимаете? Тогда и время остановится. Этим мы никому не причиним вреда.

— Гм! — сказал мистер Фотерингей. — Хорошо, — вздохнул он, — я попробую. Вот, смотрите!..

Застегнувшись на все пуговицы и придав голосу всю уверенность, на какую только был способен, он приказал многонаселенному земному шару:

— А ну, перестань вращаться! Слышишь?

В следующее мгновение мистер Фотерингей уже летел вверх тормашками со скоростью десятков миль в минуту. Каждый миг он описывал в воздухе бесчисленные круги, однако не переставал размышлять; ибо мысль — удивительная вещь: порой она медлительна и тягуча, как смола, а порой мчится с быстротой молнии. Ему хватило одной секунды, чтобы мысленно пожелать: «Пусть я опущусь на землю целым и невредимым. Что бы ни случилось, пусть я опущусь на землю целым и невредимым».

Он пожелал этого как нельзя более вовремя, ибо его одежда, нагревшись от быстрого трения

о воздух, уже начала опаляться. Стремительно, но без каких-либо повреждений он врезался в кучу свежевспаханной земли. Гигантская масса металла и каменной кладки, очень похожая на часовую башню, что стояла посреди рыночной площади, рухнула на землю возле него, отскочила и, как взорвавшаяся бомба, разлетелась на обломки породы, кирпичи и куски цемента. Корова, летевшая подобно снаряду, столкнулась с одной из каменных глыб и разбилась всмятку. Раздался грохот, в сравнении с которым все, что мистер Фотерингей слышал прежде, казалось шелестом падающей листвы, а потом последовала череда слабевших от раза к разу раскатов. По всей земле и в небесах бушевал мощный ураган, не позволявший мистеру Фотерингею приподняться и осмотреться окрест. Некоторое время он с трудом переводил дух и был настолько ошеломлен, что не понимал, где находится и что произошло. Первым его побуждением было ощупать голову, дабы убедиться, что он не лишился волос.

— Господи! — выдохнул мистер Фотерингей, еле шевеля губами на ветру. — Я едва не погиб! Что же пошло не так? Буря и гром… а всего минуту назад стояла прекрасная ночь. Это Мэйдиг подбил меня учинить такое. Ну и ветер! Если продолжать

чудить таким образом, то беды не миновать… А где Мэйдиг? Какая кутерьма вокруг!

Он огляделся по сторонам, насколько позволяли развевавшиеся полы его пиджака. Зрелище и впрямь было невообразимо странное.

— Ну хоть небо на месте, — произнес мистер Фотерингей. — Но и только. И даже там как будто назревает буря. Но луна по-прежнему в зените. Светло как днем. А вот остальное… Где городок? Где… где всё? И какого черта поднялся этот ветер? *Я* не вызывал ветер…

Мистер Фотерингей безуспешно попытался подняться на ноги и остался стоять на четвереньках, цепляясь руками за землю. Обратив лицо в подветренную сторону, он обозревал залитый лунным светом мир, и полы пиджака развевались у него над головой.

— Видимо, что-то всерьез разладилось, — предположил мистер Фотерингей. — А что именно — один бог ведает.

Куда ни глянь, в белесой мгле вокруг ничего нельзя было различить сквозь пыльную пелену, которую гнал завывающий ветер, кроме вывороченных пластов почвы и нагромождения развалин, — ни деревьев, ни домов, ни знакомых очертаний — только дикий хаос, в конце концов

тонувший в темноте среди вихревых столбов, громов и молний стремительно надвигавшейся бури. Неподалеку в мертвенно-бледном свете вырисовывалось нечто, что прежде, вероятно, было вязом, который, расколовшись от кроны до корней, превратился теперь в груду щепок; за ним из бесформенной массы руин торчали железные балки — судя по всему, остатки бывшего виадука.

Дело в том, что, остановив вращение Земли, мистер Фотерингей не сделал никаких оговорок насчет всевозможных мелких предметов, находившихся на ее поверхности. А Земля вертится с такой быстротой, что ее экватор за час успевает одолеть более тысячи миль, тогда как наши широты — лишь половину этого расстояния. Посему, когда Земля остановилась, и городок, и мистер Мэйдиг, и мистер Фотерингей, и все и вся понеслись вперед со скоростью девять миль в секунду — то есть гораздо стремительнее, чем если бы ими выстрелили из пушки. И в результате все люди, вся живность, все дома, все деревья, весь привычный нам мир, резко придя в движение, разбились вдребезги и были напрочь уничтожены. Вот и все.

Мистер Фотерингей, разумеется, не мог в пол-

ной мере постичь происшедшее. Однако он понял, что на этот раз чудо не удалось, и его тотчас охватило глубокое отвращение к любым чудесам. Теперь он пребывал в полном мраке, поскольку тучи сомкнулись, скрыв мелькнувшую на миг луну, а в воздухе, терзаемые духами яростного шквала, метались порывы града. Земля и небо утопали в неистовом реве ветра и воды, и, прикрыв глаза рукой, мистер Фотерингей в свете молнии увидел сквозь пыль и ледяной дождь огромный водяной вал, надвигавшийся прямо на него.

— Мэйдиг! — раздался среди буйства стихий его слабый голос. — Эй, Мэйдиг!.. Стой! — приказал мистер Фотерингей приближавшейся воде. — Ради бога, остановись! Одну минуту, — обратился он к грому и молнии. — Замрите на минуту, покуда я соберусь с мыслями… Что же мне теперь делать? Что делать? Господи! Как бы я хотел, чтобы здесь был Мэйдиг!.. Знаю! — продолжил он после паузы. — Только, ради бога, пусть *на этот раз* все выйдет как надо.

Он по-прежнему стоял на четвереньках, лицом к ветру, полный решимости все исправить.

— Так вот, — произнес он. — Пусть ни одно из моих приказаний не исполняется, пока я не

скажу: «Вперед!» Господи, почему я не додумался до этого раньше?!

Он возвысил свой слабый голос, стараясь перекричать ураган, и кричал все громче и громче в тщетном желании услышать самого себя.

— Ну что ж, приступим! Помните о том, что я только что сказал. Прежде всего, когда все, что я прикажу, будет исполнено, пусть я лишусь своей чудодейственной силы, и пусть моя воля станет такой же, как у других людей, и пусть все эти опасные чудеса прекратятся. Они мне не нравятся. Лучше бы я их вовсе не совершал. Это во-первых. А во-вторых, пусть я снова стану таким, каким был до того, как начались чудеса; пусть все вокруг станет таким, каким было прежде, до того, как перевернулась та треклятая лампа. Это, конечно, непростое дело — зато последнее. Все ясно? Больше никаких чудес, и все как было раньше: я снова в «Длинном драконе» и собираюсь выпить свои полпинты. И точка. Вот так!

Он впился пальцами в землю, зажмурился и произнес:

— Вперед!

Кругом воцарилась полная тишина. Он почувствовал, что стоит вытянувшись во весь рост.

— Это *вы* так говорите, — сказал кто-то.

Мистер Фотерингей открыл глаза. Он находился в баре трактира «Длинный дракон» и спорил о чудесах с Тодди Бимишем. У него возникло смутное ощущение, что он забыл нечто важное, но, едва появившись, оно тут же исчезло. Ведь, если не считать утраты мистером Фотерингеем чудодейственной силы, все стало таким же, каким было раньше, а посему его сознание и память тоже сделались такими, какими были в начале этой истории. Посему он пребывал в полном неведении обо всем, что здесь рассказано, — и до сих пор пребывает. И, кроме того, он, конечно, по-прежнему не верит в чудеса.

— Говорю же вам, чудес в строгом смысле слова не бывает, — заявил он, — что бы вы там себе ни воображали. И я готов доказывать это любыми средствами.

— Это *вы* так думаете, — ответил Тодди Бимиш. — Докажите, если сумеете.

— Послушайте, мистер Бимиш, — сказал мистер Фотерингей, — давайте-ка разберемся, что такое чудо. Это нечто противоречащее естественному ходу вещей, творимое усилием воли…

1898

Сердце мисс Уинчелси

Перевод Н. Роговской.

Мисс Уинчелси собралась в Рим. Предстоящая поездка настолько завладела ее воображением, что целый месяц она ни о чем другом не могла говорить, и многие ее знакомые — все те, кто не собирался ехать в Рим ни сейчас, ни в обозримом будущем, — почувствовали себя уязвленными. Одни принялись без малейшего успеха убеждать ее в том, что репутация Рима сильно преувеличена и это не то вожделенное место, куда нужно стремиться; другие начали шушукаться у нее за спиной, дескать, мисс Уинчелси просто помешалась на своем Риме! Пигалица Лили Хардхерст сообщила своему приятелю мистеру Бинсу, что лично ей все равно — пусть мисс Уинчелси хоть насовсем уедет в свой дурацкий Рим, *она* (мисс Лили Хардхерст) плакать не будет. И ласково-фамильярная манера, которую мисс Уинчелси усвоила по отношению к Горацию, Бенвенуто

Челлини[111] и Рафаэлю, Шелли и Китсу[112], вызывала всеобщее изумление — ее необычайный интерес к могиле Шелли[113] сумела бы разделить, пожалуй, лишь безутешная вдова поэта! Ее дорожный костюм мог служить образцом осмотрительности: практичный, но не слишком «туристичный» (мисс Уинчелси решительно не хотела выглядеть «туристкой»), а кричащая красная обложка ее Бедекера[114] была упрятана под скромную серую обертку. Когда настал великий день, в толпе на платформе вокзала Чаринг-Кросс едва ли кто-нибудь обратил внимание на невысокую, подтянутую и вполне приятную с виду молодую особу, а между тем ее распирало от гордости, потому что отсюда начиналось путешествие в Рим. Утро выдалось тихое и солнечное,

[111] Примечания: 111

Бенвенуто Челлини — см. примеч. на с. 122.

[112] Примечания: 112

Джон *Китс* (1795–1821) — крупнейший английский поэт-романтик, умерший и похороненный в Риме.

[113] Примечания: 113

Шелли (см. примеч. на с. 56), с марта 1818 г. проживавший в Италии, утонул в лигурийском заливе Специя 8 июля 1822 г.; спустя десять дней тело поэта было обнаружено, а 21 января 1823 г. его прах захоронили на Новом протестантском кладбище в Риме.

[114] Примечания: 114

Бедекер — популярный туристический путеводитель, названный в честь Карла Бедекера (1801–1859), составителя наиболее распространенных немецких изданий такого рода.

переправа на пароме через Ла-Манш сулила сплошное удовольствие, все складывалось как нельзя лучше. Прекрасное начало рождало в душе мисс Уинчелси еще неизведанное, бодрящее чувство — предвкушение приключений.

В путь она отправлялась вместе с двумя подругами по учительскому колледжу: обе славные, добропорядочные девушки — и не беда, что их успехи в истории и литературе были намного скромнее достижений мисс Уинчелси. И та и другая безоговорочно признавали ее превосходство и смотрели на нее снизу вверх — вопреки своему преимуществу в росте, предполагавшему взгляд сверху вниз. Мисс Уинчелси заранее предвкушала, как «расшевелит» их — расширит горизонты их исторического и эстетического восприятия, заразит их собственным энтузиазмом. Подруги уже заняли места в вагоне и, стоя у двери, возбужденно приветствовали ее. Критически оглядев их, мисс Уинчелси сразу заметила, что Фанни подпоясалась слегка «туристическим» кожаным ремешком, а Хелен нацепила саржевый жакет с накладными карманами, мало того — засунула в них руки. Она не стала портить им настроение ироничными намеками, уж очень обе были довольны собой и предстоящей экспедицией. Когда

первые восторги улеглись (Фанни выражала их несколько простовато и чересчур шумно, на разные лады повторяя: «Подумать только! Мы едем в Рим, боже мой, — в Рим!»), подруги переключили внимание на попутчиков. Чтобы никто из посторонних не сел к ним в купе, Хелен заняла оборону на ступеньке перед входом[115], а мисс Уинчелси выглядывала наружу поверх ее плеча и вполголоса отпускала короткие язвительные замечания по адресу стекавшейся на платформу публики; Фанни хохотала.

Надо сказать, что путешествовали девушки не сами по себе, а с большой группой туристов, которых отправило в турне бюро путешествий Томаса Ганна: четырнадцать дней в Риме за четырнадцать фунтов. Разумеется, они не входили в число тех, кто ехал под присмотром сопровождающего, или «групповода», — мисс Уинчелси позаботилась об этом; и тем не менее они путешествовали с группой, потому что так было удобнее. Их спутники представляли собой диковинную, пеструю и невероятно забавную толпу. Полиглот-сопровождающий в костюме из толстой материи в черно-белую крапинку

[115] Примечания: 115

В Викторианскую эпоху в железнодорожных вагонах первого класса у каждого купе имелся отдельный вход/выход наружу.

— громогласный, краснолицый, чрезвычайно активный малый с непропорционально длинными руками и ногами — без конца выкрикивал какие-то объявления. Перед очередным воззванием к народу он выпрастывал руку в сторону и преграждал движение, заставляя напиравшую толпу дослушать его спич до конца. В другой руке он держал охапку бумаг, билетов и талонов. Его подопечные, похоже, распадались на две категории: одну составляли те, кого он хотел, но не мог отыскать, другую — те, кто совершенно его не интересовал, но непрерывно удлинявшимся хвостом ходил за ним по платформе взад-вперед. Представители второй категории считали, вероятно, что их единственный шанс попасть в Рим заключается в неотступном преследовании групповода. Резвее всех за ним бегали три старушки, и в конце концов их настойчивость так его допекла, что он загнал их в купе и строго-настрого приказал больше на платформе не появляться. В оставшееся до отхода поезда время одна, две или все три их головы высовывались из окна и жалобно справлялись о судьбе какой-нибудь «плетеной корзиночки», стоило ему на секунду возникнуть в поле их зрения. Были там и другие занятные персонажи. Например, низенький коренастый

господин с низенькой коренастой женой, затянутой в блестящий черный атлас. Или старичок с внешностью почтенного трактирщика…

— Этим-то *зачем* понадобилось ехать в Рим? — недоумевала мисс Уинчелси. — Что им там делать?

А вон сразу два викария: один очень длинный — с очень маленькой соломенной шляпой на макушке, другой очень короткий — с длинной треногой для фотоаппарата. Фанни долго смеялась над этой диспропорцией. Потом девушки услыхали, как кто-то окликнул кого-то: «Снукс!»

— Надо же, Снукс! — удивилась мисс Уинчелси. — Я всегда думала, что это имя придумали писатели. Давайте угадаем, *кто* здесь мистер Снукс.

Перебрав присутствующих, они сошлись на упитанном и бойком коротышке в широком клетчатом костюме.

— Если он не Снукс, то по чистому недоразумению, — подытожила мисс Уинчелси.

Но тут групповод раскусил хитрую тактику Хелен и немедленно принял меры.

— Пять свободных мест! — зычно крикнул он, сопроводив свое объявление переводом на язык пальцев.

И в следующую минуту к ним в купе ввалилось семейство — мать, отец и две дочери, все в сильном возбуждении.

— Сейчас, мам, дай-ка я… — сказала одна из дочерей, чуть не сбив с головы матери капор в неуклюжей попытке водрузить баул на багажную полку.

Мисс Уинчелси была невысокого мнения о людях, которые создают вокруг себя шум и толчею, а к матери обращаются «мам».

Пятым к ним присоединился молодой человек, путешествующий в одиночку. Мисс Уинчелси одобрила его одежду — ни малейшего налета «туристичности». В одной руке он держал небольшой элегантный саквояж из хорошей кожи приятного оттенка с парой наклеек, которые свидетельствовали о посещении Люксембурга и Остенде; через другую руку было перекинуто легкое пальто; его башмаки, хоть и коричневые, никто не назвал бы вульгарными.

Не успели вновь вошедшие рассесться по местам, как началась проверка билетов. С нестройным грохотом захлопнулись двери, и — вот он, долгожданный миг! — поезд плавно тронулся, унося их прочь от перрона Чаринг-Кросс. Путешествие в Рим началось.

— Невероятно! — воскликнула Фанни. — Мы едем в Рим! Боже мой, в Рим! Мне все еще не верится.

Мисс Уинчелси сдержанно улыбнулась, призывая Фанни умерить эмоции, а так называемая «мам», их попутчица, принялась во всеуслышанье объяснять, почему они прибыли на вокзал «в последнюю минуту». Две дочки снова замамкали и быстро, хотя и крайне бестактно оборвали маменьку, после чего та, непрерывно бормоча себе под нос, начала инспектировать содержимое дорожной корзинки. Через минуту она сокрушенно подняла голову:

— О господи! Их тут *нет*!

— Ну мам! — в унисон возмутились дочери, но причина их огорчения осталась тайной.

Фанни достала «Прогулки по Риму» Хейра[116], общедоступный и весьма популярный у путешественников путеводитель по Риму. Отец двух дочек углубился в изучение билетных книжек, очевидно рассчитывая отыскать там английские слова. Сперва он разглядывал билеты как полагается, потом перевернул вверх ногами. Затем

[116] Примечания: 116

«Прогулки по Риму» (1871) — путеводитель по Вечному городу, составленный английским писателем-путешественником Огастесом Джоном Катбертом *Хейром* (1834–1903).

извлек из кармана вечное перо и принялся методично проставлять на билетах даты. Молодой человек исподволь оглядел своих попутчиков, раскрыл книгу и начал читать. Когда проезжали Чизлхерст, Хелен и Фанни приникли к окну — Фанни вспомнила, что в Чизлхерсте жила французская императрица[117], бедняжка! — и мисс Уинчелси воспользовалась случаем, чтобы кинуть взгляд на книгу в руках молодого человека. Это был не путеводитель, а тоненький томик стихов — в заказном переплете. Она посмотрела на его лицо — приятное лицо образованного человека; по крайней мере, ей так показалось. На носу у него сидело маленькое пенсне в золотой оправе.

— Интересно, она и сейчас там живет? — задумчиво произнесла Фанни, прервав наблюдения мисс Уинчелси.

Остаток пути по железной дороге мисс Уинчел-

---

[117] Примечания: 117

Имеется в виду императрица Евгения (1826–1920), жена последнего французского монарха Наполеона III. После поражения во Франко-прусской войне (1870–1871) низложенный император с семьей эмигрировал в Англию и поселился в поместье Кэмден-плейс в *Чизлхерсте*, пригороде Лондона, где и умер в 1873 г. До начала 1880-х гг. Кэмден-плейс был главным центром французской бонапартистской партии, а в 1885 г. бывшая императрица перебралась в купленный ранее дом в Фарнборо, графство Гемпшир. Последние годы жизни она провела в уединении на вилле Кирнос, выстроенной для нее в 1892 г. на Лазурном Берегу неподалеку от мыса Мартен.

си в основном помалкивала, а уж если открывала рот, то старалась высказываться как можно более изящно и умно. Голос у нее был ровный, чистый, приятный, и сейчас благодаря ее усилиям он звучал как никогда ровно, чисто и приятно. Когда за окнами выросли белые скалы[118], молодой человек убрал томик стихов, а когда поезд наконец остановился возле парома, галантно изъявил желание помочь мисс Уинчелси и ее подругам справиться с поклажей. Мисс Уинчелси терпеть не могла старомодных «глупостей», но ей польстило, что молодой человек сразу признал в них леди и предложил свои услуги в высшей степени деликатно, очень мило давая понять, что для него простая любезность — не повод навязывать свое общество. Ни одна из них прежде не покидала пределов Англии, поэтому девушки были взволнованы и немного робели, ведь им впервые предстояло переплыть Ла-Манш. Они жались друг к другу, побаиваясь сойти с «хорошего места» в центральной части судна (молодой человек отнес туда баул мисс Уинчелси со словами, что это хорошее место), смотрели на

[118] Примечания: 118

То есть меловые скалы на восточном побережье Великобритании в районе Дувра, с которыми связано поэтическое имя Англии, данное ей древними римлянами, — *Альбион* (от *лат.* albus — белый).

удалявшийся белый берег Альбиона, декламировали Шекспира и втихаря, на английский манер, вышучивали своих разношерстных спутников.

Особенно их забавляли те меры, которые тучные люди принимали, дабы избежать неприятностей от легкого волнения на море. Среди спасательных средств преобладали лимонные дольки и фляги; одна пышная дама возлежала на шезлонге, прикрыв лицо носовым платком; квадратный и очень решительный господин в рыжеватом «туристическом» костюме на протяжении всего вояжа из Англии во Францию вышагивал по палубе, широко расставляя ноги — шире просто некуда. Как бы то ни было, все рецепты сработали — никто не жаловался на морскую болезнь. Подопечные групповода ходили за ним по пятам и наперебой забрасывали его вопросами (неуместное сравнение с курицами, которые носятся по двору за полоской свиной шкурки, само собой возникло у Хелен), и в конце концов он скрылся под палубой. Молодой человек с томиком стихов стоял на корме и неотрывно смотрел на исчезающую вдали Англию, и вид у него был печальный и одинокий, по мнению мисс Уинчелси.

А потом Кале и шквал новизны. Молодой чело-

век не забыл про баул мисс Уинчелси и прочие вещи. Кстати, все три девушки, хотя и сдали экзамен по французскому, ступив на французскую землю, устыдились своего акцента и не могли выдавить из себя ни слова, так что молодой человек оказался чрезвычайно полезен им. Он по-прежнему соблюдал дистанцию: усадив их в вагон, приподнял шляпу и откланялся. Мисс Уинчелси поблагодарила его самым приятным и любезным образом, а Фанни выпалила, что он «просто душка», даже не убедившись, что он отошел на достаточное расстояние и не слышит ее.

— Любопытно, кто он и что он, — сказала Хелен. — Во всяком случае, держит путь в Италию: я успела заметить у него зеленые билеты.

Мисс Уинчелси уже хотела сообщить им о стихах, но передумала. Все внимание девушек устремилось к окнам, и молодой человек был забыт. Им казалось, что они существенно пополняют свой культурный запас поездкой по стране, где самые банальные вывески пестрят французскими идиомами, и мисс Уинчелси пришло в голову непатриотичное сравнение скромных рекламных щитков вдоль железнодорожного полотна с рекламными заборами, портящими пейзаж в родной стране. Впрочем, север Франции

малоинтересен, и через некоторое время Фанни уткнулась в «Прогулки» Хейра, а Хелен предложила подкрепиться. Мисс Уинчелси словно очнулась от блаженной грезы, в которую погрузилась, как она объяснила, пытаясь осознать удивительный факт — что она действительно едет в Рим. Но коль скоро Хелен заговорила о еде, пожалуй, она тоже проголодалась. Подруги весело угостились припасами из своих корзинок. К вечеру все устали и притихли, пока Хелен не устроила чаепитие. Мисс Уинчелси была бы не прочь немного вздремнуть, но знала, что Фанни спит с открытым ртом; а поскольку с ними вместе сидели две весьма приличные и критически настроенные, судя по лицам, дамы неопределенного возраста — достаточно владевшие французским, чтобы на нем изъясняться, — весь остаток пути она незаметно толкала Фанни в бок. Стук колес все громче отдавался в ушах, от бесконечно убегавшего пейзажа за окном уже рябило в глазах. Когда добрались до места, где путешественникам предстояло заночевать, девушки были вконец измотаны дорогой.

Остановку на ночлег скрасило появление знакомого молодого человека. И вновь его манеры были безупречны и его французский очень при-

годился. На их и его дорожных купонах значился один и тот же отель, и, вероятно, по чистой случайности за табльдотом[119] он оказался рядом с мисс Уинчелси. Она, хоть и грезила о Риме, все-таки успела поразмыслить на тему подобной случайности; и когда молодой человек отпустил какое-то замечание о дорожных неудобствах — перед этим вскользь упомянув привычку переодеваться к ужину, — она не только согласилась с ним, но и прибавила кое-что от себя. Так, слово за слово, они принялись сравнивать программы своих путешествий, жестоко игнорируя Хелен и Фанни. Оказалось, что они следуют одним маршрутом: один день на художественные музеи Флоренции («По моим сведениям, этого вряд ли достаточно», — заметил молодой человек) и остальные дни в Риме. О Риме новый знакомый рассуждал очень приятно. Несомненно, он был весьма начитан и даже процитировал пару строк из Горация о Соракте[120]. В свое время мисс

[119] Примечания: 119

Табльдот (*фр.* table d'hôte — стол хозяина) — общий обеденный стол с единым меню в пансионе или гостинице.

[120] Примечания: 120

Соракт — гора в 40 км к северу от Рима. Упоминается в «Одах» (кн. 1, ода 9) знаменитого римского поэта Квинта *Горация* Флакка (65–8 до н. э.): «Смотри: глубоким снегом засыпанный, / Соракт белеет, и отягченные / Леса с трудом стоят, а реки / Скованы прочно морозом лютым». — *Перев. А. Семенова-Тян-Шанского*.

Уинчелси штудировала оды Горация к вступительным экзаменам и теперь, дрожа от радости, продолжила его цитату. Этот эпизод задал тон дальнейшему общению — обычная светская болтовня приобрела налет рафинированности. Фанни время от времени выражала какие-то эмоции, Хелен вставила несколько разумных реплик, но главная роль в беседе с молодым человеком естественным образом досталась мисс Уинчелси.

Еще прежде, чем путешественники прибыли в Рим, приятный молодой человек по молчаливому согласию сторон влился в их компанию. Девушки не знали ни его имени, ни профессии, но им казалось, что он где-нибудь преподает, а мисс Уинчелси разглядела в нем лектора с высших курсов. У нового знакомого было что-то от этой породы людей — вежливых, культурных джентльменов, которые не кичатся своей образованностью и не ставят себя над другими. Она попробовала осторожно выяснить, имеет ли он отношение к Оксфорду или Кембриджу, но ее робкие попытки остались незамеченными: ей не удалось выудить у него характерные обороты речи (мисс Уинчелси наивно полагала, что разби-

рается в оксбриджском[121] жаргоне), хотя эпитет «универский» вместо «университетский» весьма обнадеживал.

В ничтожно малое время, отведенное на Флоренцию, они постарались осмотреть как можно больше из того, на что указывал Рёскин в своей знаменитой книге[122]. С молодым человеком девушки встретились в галерее Питти и больше в тот день не разлучались. Он не скрывал своей признательности за то, что его приняли в дружную девичью компанию, и оживленно поддерживал беседу, благо явно интересовался искусством. Словом, день начался чудесно, все четверо были довольны. Какое счастье — воочию видеть давно любимые по книгам произведения и открывать новые художественные сокровища, пока невежественное большинство беспомощно роется в Бедекере! По наблюдению мисс Уин-

[121] Примечания: 121

Гибрид слов «оксфордский» и «кембриджский», впервые употребленный в романе Уильяма Мейкписа Теккерея «Пенденнис» (1849) и вскоре прочно вошедший в языковой обиход англичан, включая официальные печатные источники.

[122] Примечания: 122

Джон *Рёскин* (1819–1900) — английский писатель, художник, теоретик искусства, литературный критик и поэт; оказал большое влияние на развитие искусствознания и эстетики второй половины XIX — начала XX в. Речь идет о его книге «Утра во Флоренции» (1875; в русском переводе — «Прогулки по Флоренции»).

челси, в молодом человеке не было ни капли самодовольства и желания поучать других: она не выносила чванливых педантов. Его ученость скрадывалась мягким юмором — так, например, он добродушно, не переступая опасной черты, посмеялся над некоторыми чудачествами Фра Беато Анджелико[123]. Но умение подмечать смешное отнюдь не мешало ему серьезно относиться к искусству и мгновенно схватывать моральный урок любой картины. Фанни молча бродила среди шедевров, наперед признавшись, что «совсем не разбирается в живописи» и для нее «все картины прекрасны». От Фанни только и слышно было: «прекрасно, прекрасно»! В конце концов, это слегка надоедает, подумала мисс Уинчелси. И когда на горизонте потухла последняя альпийская вершина, прервав монотонное стаккато Фанниных восклицаний, мисс Уинчелси с облегчением вздохнула. Хелен говорила мало, но мисс Уинчелси другого от нее и не ждала, давно уяснив для себя, что у подруги не вполне развито эстетическое чувство. В ответ на тонкие, деликат-

[123] Примечания: 123

Фра Беато Анджелико (букв. «брат Блаженный Ангельский», собственное имя — Гвидо ди Пьетро; 1385/1400–1455) — итальянский художник эпохи Раннего Возрождения, монах-доминиканец (имя в постриге — Джованни да Фьезоле), католический святой.

но завуалированные шутки молодого человека Хелен то смеялась, то нет; иногда могло показаться, что ей интереснее разглядывать наряды посетителей, чем творения великих мастеров.

В Риме молодой человек не всегда сопровождал их. Время от времени его уводил приятель с «туристическими» наклонностями. И молодой человек с шутливым отчаянием жаловался мисс Уинчелси:

— У меня только две недели в Риме, а мой друг Леонард желает на целый день ехать в Тиволи — смотреть на водопад!

— А кто он, ваш друг Леонард? — в лоб спросила его мисс Уинчелси.

— Большой любитель пеших походов, второго такого еще поискать! — ответил молодой человек весьма находчиво, хотя мисс Уинчелси рассчитывала на несколько иной ответ.

Остальные дни они проводили вместе, и это было великолепно — Фанни не представляла, что бы они делали без него. Любознательность мисс Уинчелси не знала предела, а Фанни обладала неисчерпаемым запасом восторженности. Что бы ни встретилось им на пути — картинные и скульптурные галереи; огромные, заполненные людьми церкви; руины и музеи; иудины

деревья[124] и опунции; тележки развозчиков вина или дворцы, — все, решительно все вызывало у них восхищение. Каждый раз при виде пинии или эвкалипта они вскрикивали: «Пиния! Эвкалипт!» — и точно такую же реакцию вызывал у подруг вид горы Соракт. Обычная дорога превращалась в чудо из чудес благодаря игре воображения. «Здесь мог ходить Юлий Цезарь… — мечтательно говорили они. — Отсюда Рафаэль мог видеть Соракт…» Однажды они вчетвером набрели на гробницу Бибула[125].

— А, старина Бибул!.. — многозначительно произнес молодой человек.

— Древнейший памятник республиканского Рима! — подхватила мисс Уинчелси.

— Я безнадежно глупа, — сказала Фанни. —

---

[124] Примечания: 124

Иудины деревья — средиземноморские растения из семейства бобовых.

[125] Примечания: 125

Частично сохранившаяся прямоугольная гробница I в. до н. э., сложенная из туфа и облицованная травертином, которая в Средние века была встроена в стену одного из домов на склоне Капитолийского холма; в ней захоронены останки Гая Поплиция Бибула — плебейского эдила (магистрата), имевшего, согласно надписи на гробнице, заслуги перед Сенатом и римским народом (других сведений о нем не сохранилось). *«Древнейшим памятником республиканского Рима»* гробница Бибула, безусловно, не является — она относится к *концу* республиканского правления, длившегося несколько столетий и окончившегося в 27 г. до н. э.

Просветите меня, *кто такой* этот Бибул?

Возникла странная заминка.

— А он не тот, кто строил стену? — подала голос Хелен.

Молодой человек быстро взглянул на нее и рассмеялся:

— Нет, того звали Бальб[126].

Хелен покраснела, однако ни молодой человек, ни мисс Уинчелси не пожелали просветить Фанни касательно Бибула.

Хелен говорила меньше остальных, но она и раньше была немногословна. Обычно именно Хелен следила за трамвайными билетами и прочими подобными мелочами, а если ими завладевал молодой человек, не спускала с него глаз и в любую минуту могла напомнить, куда

---

[126] Примечания: 126

Игра слов: Хелен из-за созвучия имен путает Бибула с человеком, который «строил стену», — то есть с *Бальбом* из расхожего примера в типовом школьном учебнике латинской грамматики той поры: «Balbus murum ædificavit», — и собеседник, смеясь, ее поправляет. Подразумеваемая фраза из школьной латыни, неоднократно встречающаяся в британской литературе и до, и после Уэллса, в свою очередь отсылает к словам из письма римского философа, политика и оратора Марка Туллия Цицерона к политику и писателю Титу Помпонию Аттику от апреля 46 г. до н. э.: «А Бальб строит. Какое ему дело?» — и к фигуре Луция Корнелия Бальба Старшего (90-е — после 32 до н. э.), римского политического деятеля, друга и одного из ближайших сподвижников Гая Юлия Цезаря; Цицерон имеет в виду чрезмерное увлечение Бальба личными делами (возведением роскошной виллы в Тускуле) в ущерб государственным.

он их задевал. Что и говорить, они славно проводили время в этом опрятном бледно-коричневом городе воспоминаний, который когда-то был целым миром. Их огорчала только вечная нехватка времени. Разумеется, электрические трамваи, и здания, построенные в семидесятые, и поистине преступная реклама, уродующая Форум[127], оскорбляли их эстетическое чувство, но в таких нелепостях есть немало забавного. Рим настолько восхитителен, что временами мисс Уинчелси, позабыв про свои домашние заготовки, восторгалась совершенно спонтанно, а Хелен, на минуту утратив бдительность, могла узреть красоту в самых неожиданных вещах. Правда и то, что Фанни и Хелен, дай им волю, побежали бы смотреть на витрины в английском квартале, однако бескомпромиссная неприязнь мисс Уинчелси к понаехавшим в Рим соплеменникам исключала такую возможность.

Интеллектуальное и эстетическое родство мисс Уинчелси и ученого молодого человека незаметно для обоих переросло в глубокую взаимную

[127] Примечания: 127

Форум — центральная городская площадь древнего Рима, первоначально рыночная, а впоследствии ставшая местом политических собраний. Застраивалась на протяжении многих веков, большинство сохранившихся памятников относятся к периоду Империи.

симпатию. Экспансивная, простодушная Фанни старалась угнаться за двумя тонкими ценителями искусства, с воодушевлением повторяя: «Прекрасно, прекрасно!» — и демонстрируя ненасытную жажду знаний, как только поступало предложение осмотреть новую достопримечательность: «О, прекрасно, идем скорее!» А вот Хелен под конец немного разочаровала мисс Уинчелси. Хелен отчего-то скуксилась и в галерее палаццо Барберини заявила, что не видит «ничего особенного» в лице Беатриче Ченчи — воспетой Шелли Беатриче Ченчи![128] Вместо того чтобы поддержать общее возмущение электрическими трамваями, Хелен разразилась тирадой в их защиту: «Людям надо как-то добираться из одного места в другое, хотя бы и на трамвае. Уж лучше так, чем гонять несчастных лошадей вверх-вниз по этим несносным горкам». Как только у нее язык повернулся назвать несносными горками семь великих холмов Рима!

Кстати о холмах. Когда они вчетвером поднима-

---

[128] Примечания: 128

Беатриче Ченчи (1577–1599) — дочь римского аристократа Франческо Ченчи, казненная за отцеубийство. В римском *палаццо Барберини* (ныне — часть Национальной галереи античного искусства) хранится ее портрет работы неизвестного художника, долгое время считавшийся творением Гвидо Рени. Шелли посвятил ей трагедию «Ченчи» (1819).

лись на Палатин[129], Хелен неожиданно сказала Фанни (мисс Уинчелси не слышала):

— Умерь прыть, дорогая, *им* вовсе не нужно, чтобы мы их догнали. Да и нам это ни к чему. Опять скажем что-нибудь невпопад.

— Я и не пытаюсь их догнать, — ответила Фанни, резко сбавляя ход, — у меня и в мыслях не было. — Еще пару минут она не могла отдышаться.

Зато мисс Уинчелси переживала час своего счастья. Только потом, оглядываясь назад сквозь морок постигшей ее беды, она в полной мере осознала, как счастлива была, когда бродила по руинам в тени кипарисов и обменивалась с милым другом крупицами самых высокий знаний, какие доступны человеческому разуму, нюансами самых изысканных впечатлений, какие можно выразить словами. Мало-помалу их беседы становились все более эмоциональными, и оба, уже не таясь, взахлеб воспевали красоты Рима, если поблизости не было столь ценимой Хелен современности. Мало-помалу их интерес начал смещаться от всего, что их окружало, навевая чудесные ассоциации, в сторону более

---

[129] Примечания: 129

Палатин — центральный (и обжитый ранее других) из семи холмов, на которых стоит Рим.

личных предметов и чувств. Пусть не враз и не прямо, они кое-что приоткрыли друг другу: она намеками поведала о своей учебе, своих экзаменационных успехах и своей радости, что дни зубрежки позади. Он вполне определенно дал понять, что также избрал преподавательскую карьеру. Они обсудили высокую миссию учителя, необходимость человеколюбия, без которого трудно мириться с издержками профессии, и чувство одиночества, которое иногда настигает их.

Разговор происходил в Колизее и в тот день не продвинулся дальше означенных тем, потому что к ним присоединились подруги, нагулявшись по верхним галереям, куда Хелен утащила недогадливую Фанни. Однако потаенные мечты мисс Уинчелси, и без того уже яркие и вполне конкретные, начали воплощаться в жизнь. В мечтах она видела этого приятного молодого человека, сеющего разумное и доброе, и себя — в скромно-заметной роли его верной подруги и сподвижницы; воображение рисовало ей маленький семейный дом с изысканной обстановкой: два компактных бюро, белые полки с отборными книгами, черно-белые репродукции картин Россетти[130] и

[130] Примечания: 130

Данте Гэбриел *Россетти* (1828–1882) — английский поэт, переводчик, художник, один из основателей Прерафаэлитского братства.

Бёрн-Джонса[131], обои по эскизам Морриса[132], домашние цветы в горшках из кованой меди… Да мало ли что рисовало ей воображение! На смотровой террасе Пинчо[133] им повезло урвать несколько минут наедине (Хелен увела Фанни вниз обозревать «кривую стену» — Муро Торто), и молодой человек незамедлительно воспользовался редкой возможностью объясниться. Он выразил надежду, что их нынешняя дружба — это только начало, ибо он чрезвычайно дорожит ее обществом и даже… испытывает нечто большее.

Разволновавшись, молодой человек дрожащими пальцами придержал пенсне, словно опасался, что под наплывом чувств оно соскочит с переносицы.

— Разумеется, сперва мне надо было бы рас-

---

[131] Примечания: 131

Эдвард Коли *Бёрн-Джонс* (1833–1898) — английский живописец, иллюстратор, дизайнер, близкий к прерафаэлитам, виднейший представитель движения искусств и ремесел.

[132] Примечания: 132

Уильям *Моррис* (1834–1896) — английский художник, дизайнер интерьеров, издатель, писатель, мыслитель-социалист, оказавший значительное влияние на мировоззрение молодого Уэллса.

[133] Примечания: 133

Пинчо — один из холмов Рима, на котором в IV в. до н. э. располагалось имение патрицианского рода Пинциев (отсюда его название); вошел в городскую черту во времена Империи. В XVI в. на холме была возведена вилла Медичи, с террасы которой открывается великолепный вид на город. Расположенная вблизи Пинчо наклонная часть стены

Аврелиана, построенной в 275–271 гг. до н. э. для защиты Рима от вражеских нападений, именуется *кривой стеной* (*лат.* Murus ruptus, *ит.* Muro Torto).

сказать о себе, — неуверенно произнес он. — Я понимаю, что мое признание может показаться неожиданным. Но таково и наше с вами знакомство: оно произошло по воле случая… или Провидения… и я боюсь упустить свой шанс. Отправиться в Рим, чтобы совершить одинокое путешествие, и вдруг — такая нежданная удача!.. Я так рад, так счастлив! В последние дни мне кажется… я смею думать…

Тут он обернулся и вместо того, чтобы продолжить, отчетливо произнес: «Черт!» Мисс Уинчелси простила ему секундное отклонение от приличий: мужчина есть мужчина. Она подняла глаза и увидела, что к ним идет его друг Леонард. Приблизившись, он поднял шляпу, поклонился мисс Уинчелси и понимающе улыбнулся.

— Я всюду ищу тебя, Снукс! Ты обещал встретить меня на Испанской лестнице[134] полчаса назад, — попенял он приятелю.

Снукс! Мисс Уинчелси вздрогнула, словно ее ударили по щеке, и на мгновение оглохла. Позже, вспоминая эту сцену, она подумала, что Леонард,

---

[134] Примечания: 134

Испанская лестница — построенная в 1721–1725 гг. парадная лестница в 137 ступеней, спускающаяся от расположенной на вершине Пинчо церкви Сантиссима-Тринита-деи-Монти к Испанской площади (Пьяцца-ди-Спанья), одно из самых известных сооружений позднего римского барокко.

должно быть, немало удивился ее отсутствующему взгляду. Ей и по сей день неведомо, представил ли ее молодой человек своему приятелю и что она при этом сказала. Ее сознание было парализовано. Из всех неблагозвучных фамилий на свете — Снукс![135] Хуже не придумаешь.

Между тем вернулись Хелен и Фанни, произошел обмен дежурными любезностями, и приятели откланялись. Ей стоило невероятных усилий ничем не выдать себя под вопросительными взглядами подруг. Остаток дня она героически сопротивлялась возмутительному открытию — говорила о пустяках и осматривала достопримечательности, пока червь по имени Снукс точил ее сердце. В тот миг, когда богомерзкое имя резануло ей слух, мечты о счастье были повержены. Все, о чем грезила мисс Уинчелси, было поругано и разрушено вопиющей вульгарностью фамилии молодого человека.

О каком изысканном доме может идти речь, о каких репродукциях, обоях Морриса и элегантных бюро, если поверх всего огненными буквами начертана непотребная надпись: «Миссис Снукс»!

---

[135] Примечания: 135

Снукс — фамилия, образованная от существительного «snook» (дразнящий жест «длинный нос») либо от глагола «snooker» (надувать, облапошивать).

Допускаю, что для читателя этот довод — сущая чепуха, но надо же принимать во внимание взыскательность мисс Уинчелси. Поставьте себя на ее место, представьте, что ваш утонченный ум жаждет изящества буквально во всем, а после распишитесь — «Снукс». Она будто наяву слышала, как несносные особы обращаются к ней «миссис Снукс», и ловила скрытую издевку в их тоне. Перед ее мысленным взором возникала визитная карточка с элегантной надписью серебром на сером фоне: «Уинчелси», которую победная стрела Амура превращает в… «Снукс»! Позорное признание женской ничтожности! То-то радость будет некоторым ее подружкам, не говоря о кузинах, дочках бакалейщика, — всем, от кого она отдалилась, преследуя высокий идеал изысканности. Какими крупными буквами выведут они ее новое имя на письме с ехидными поздравлениями! И если положить все это на одну чашу весов, а его милое общество — на другую, что перевесит? «Нет, невозможно, — вслух пробормотала она, — немыслимо!.. *Снукс!*»

Ей было жаль его, но себя еще больше. На него она даже чуточку сердилась. Зачем надо быть таким любезным, таким рафинированным, когда в действительности ты просто Снукс! Так долго

держать камень за пазухой, прикрывать благородством манер постыдную родовую отметину — это ли не предательство? Выражаясь языком сентиментализма, мисс Уинчелси чувствовала себя жертвой коварного обмана.

Не обошлось, конечно, без метаний и шатаний, и в один момент, ненадолго поддавшись чему-то вроде страсти, она чуть было не отбросила всю свою взыскательность. В ней все еще сидел не до конца искорененный пережиток вульгарности, который отчаянно пытался доказать, что Снукс — не самая скверная фамилия. Окончательно ее колебания развеяла Фанни. Подруга вошла к ней с таким видом, будто случилась вселенская катастрофа, и с порога заявила, что потрясена не меньше мисс Уинчелси. *«Снукс!»* — в ужасе вымолвила она, понизив голос до шепота. В итоге, ненадолго оставшись наедине с молодым человеком на вилле Боргезе[136], мисс Уинчелси уклонилась от прямого ответа, но пообещала написать ему.

Свою записку она вложила в томик стихов, который взяла у него почитать, — тот самый томик стихов, с которого все началось. Ее ответ состоял

---

[136] Примечания: 136

Вилла Боргезе — обширный пейзажный парк с памятниками садово-парковой архитектуры XVIII–XIX вв. на холме Пинчо.

из туманных намеков и экивоков. Не могла же она откровенно назвать причину отказа! Это все равно что пенять калеке на его горб. Молодой человек, верно, сам стеснялся своей неудобосказуемой фамилии. Недаром он ни разу не произнес ее — теперь-то она понимала почему. Мисс Уинчелси сослалась на «обстоятельства», которые «не может открыть», но которые «делают то, о чем он говорил, совершенно невозможным». Поневоле передернувшись, она написала имя адресата: «Э. К. Снуксу».

Дело обернулось даже хуже, чем она опасалась: он потребовал объяснений. Но *как* объяснишь? Два последних дня в Риме превратились в сущий кошмар. Изумление и растерянность, написанные на его лице, преследовали ее как наваждение. Она понимала, что дала ему повод — или поводы — надеяться, хотя ей не хватало смелости заглянуть в себя и выяснить, насколько далеко простирались ее авансы. Немудрено, если теперь он считает ее самой взбалмошной и ветреной особой на свете. Решив полностью отступиться от него, мисс Уинчелси даже пропустила мимо ушей намеки на возможность переписки. Однако в этом вопросе он проявил изобретательность, в которой мисс Уинчелси усмотрела признаки

деликатности и романтичности его натуры. Он предложил Фанни быть посредницей между ним и мисс Уинчелси. Фанни не умела хранить секреты и в тот же вечер все рассказала подруге под благовидным предлогом услышать ее совет.

— Только представь, мистер Снукс хочет писать мне! — выпалила она. — Вот уж не думала! Как быть? Позволить ему?

Девушки всесторонне обсудили этот нежданный поворот. Умело скрывая свои чувства, мисс Уинчелси выразила сожаление, что его намеки остались втуне: отчего бы время от времени не получать от него весточки — как ни мучительно для нее любое напоминание о его злосчастной фамилии? Короче говоря, мисс Уинчелси не возражала против посредничества Фанни. Пожелав подруге спокойной ночи, Фанни как-то особенно прочувствованно поцеловала ее, прежде чем выйти за дверь. А мисс Уинчелси еще долго сидела у окна своего маленького гостиничного номера. На небе светила полная луна, в отдалении мужской голос пел «Санта-Лючию»[137] — так проникновенно, так нежно… Она сидела словно в оцепенении. Потом с ее губ почти беззвучно

---

[137] Примечания: 137

«Санта-Лючия» — неаполитанская народная песня.

слетело слово, и слово было: «Снукс». Тяжко вздохнув, она поднялась и пошла спать.

На следующее утро он со значением сказал ей:

— Я буду справляться о вас у вашей подруги.

Когда девушки покидали Рим, мистер Снукс вызвался проводить их — все с тем же несчастным, растерянно-вопросительным выражением на лице, и, если бы не бдительная Хелен, баул мисс Уинчелси так и остался бы у него в руке в качестве своеобразного энциклопедического сувенира. На обратном пути в Англию мисс Уинчелси раз шесть брала с Фанни слово писать ей подробные, непременно подробные письма. Как оказалось, Фанни планировала поселиться неподалеку от мистера Снукса. Ее новые курсы — она вечно записывалась на новые курсы — располагались всего в пяти милях от Стили-Бэнка, а в стилибэнкском политехническом колледже и еще на каких-то тамошних престижных курсах преподавал мистер Снукс. Может быть, он даже навестит ее по-соседски. Подруги не могли много говорить о нем — всегда только «о *нем*», никогда «о мистере Снуксе»! — потому что Хелен тут же отпускала какую-нибудь колкость. По наблюдению мисс Уинчелси, она очень очерствела со времен учительского колледжа, стала неприятно

резкой и циничной. Хелен находила лицо молодого человека безвольным, ошибочно принимая рафинированность за слабость, как свойственно людям ее склада, а когда узнала его фамилию, заявила, что ожидала чего-то подобного. После этого мисс Уинчелси старалась не провоцировать ее, чтобы самой не расстраиваться, но Фанни была не столь осмотрительна.

В Лондоне девушки расстались, и мисс Уинчелси, обогащенная новым жизненным интересом, вернулась в женскую школу, где последние три года числилась практиканткой, постоянно укрепляя свою репутацию ценного сотрудника. Ее новым жизненным интересом сделалась Фанни в качестве постоянной корреспондентки. Желая подать подруге пример, мисс Уинчелси через две недели после возвращения написала ей пространное письмо. Фанни ответила — но как! Полное отсутствие у Фанни литературного дара не стало новостью для мисс Уинчелси, но ее полная бездарность в дружеских отношениях поистине удручала. В безопасной тиши кабинета мисс Уинчелси даже высказалась вслух по поводу Фанниного письма, в сердцах окрестив его «ахинеей». Письмо целиком состояло из сведений, аналогичных тем, которые содержались в письме

самой мисс Уинчелси, — то есть из подробностей учебного процесса. А о мистере Снуксе всего ничего: «Я получила письмо от мистера Снукса, и он приезжал ко мне две субботы подряд, говорил о Риме и о тебе. У нас с ним только и разговоров что о тебе. Наверное, у тебя уши горят, моя дорогая…»

Подавив желание призвать подругу выражаться яснее, мисс Уинчелси вновь разродилась очаровательным и обстоятельным посланием. «Напиши о себе, дорогая, мне все интересно. Эта поездка вдохнула новую жизнь в нашу стародавнюю дружбу, и я не хочу ни на день терять тебя из виду». Мистер Снукс был упомянут на пятой странице: она, мисс Уинчелси, очень рада, что Фанни повидалась с ним, и, если он будет справляться о ней, пусть Фанни передаст ему *сердечный* (подчеркнуто) привет. На редкость бестолковая Фанни ответила в духе «стародавней дружбы», припомнив уйму разных глупостей из безвозвратно ушедших времен совместной учебы в колледже. И ни слова о мистере Снуксе!

Мисс Уинчелси была так раздосадована очевидной непригодностью Фанни в роли посредницы, что целую неделю не могла заставить себя написать ей. Потом все же написала — не столь

пространно, как прежде, — и уже без околичностей спросила: «Ты видела мистера Снукса?» Она получила неожиданно содержательный ответ. «Да, я видела мистера Снукса», — сообщила Фанни, и тут ее словно прорвало: мистер Снукс то, мистер Снукс это, в каждой строчке мистер Снукс! Среди прочих подробностей — ему предложили прочесть публичную лекцию. В первую минуту у мисс Уинчелси отлегло от сердца, однако полного удовлетворения письмо ей не принесло. Фанни ни словом не обмолвилась о том, что мистер Снукс справлялся о мисс Уинчелси, как и о том, что он бледен и томен, хотя именно так ему полагалось бы выглядеть. И вдруг, еще прежде, чем мисс Уинчелси написала ответ, от Фанни пришло второе письмо на ту же тему, сумбурно-восторженное, на шести страницах, исписанных размашистым женским почерком.

И в этом втором письме обнаружилась одна странность, которую мисс Уинчелси заметила только с третьего раза, и вот почему: природное женское начало было выражено у Фанни столь ярко, что против него оказались бессильны даже традиции учительского колледжа с их упором на округлую ясность, — она принадлежала к тем прирожденным женщинам, у которых все «м»,

«н», «и», «п», «т» и «ш» совершенно неразличимы, «а» и «е» едва намечены, а «ц» и «щ» потеряли хвостики. Лишь тщательно сравнив одно и то же слово в обоих письмах, мисс Уинчелси удостоверилась, что мистер Снукс на деле вовсе не «Снукс»! В первом из Фанниных экзальтированных посланий он и вправду был «Снукс», но во втором написание изменилось на «Сенукс». Мисс Уинчелси перелистывала страницы трясущейся рукой — это маленькое различие так много значило в ее судьбе! С недавних пор ее начали одолевать сомнения, не слишком ли дорогую цену она заплатила, чтобы не называться миссис Снукс, и тут откуда ни возьмись — непредвиденная возможность! Она снова прошлась по всем шести страницам, испещренным судьбоносным именем, и везде между первой и второй буквой было вставлено «е»! Несколько минут она мерила комнату шагами, прижимая руку к сердцу.

Целый день мисс Уинчелси обдумывала свое открытие и мысленно составляла уточняющее письмо, которое, не выдав ее, достигло бы цели; обдумывала она и свой следующий шаг — после того как дождется ответа. Если за лишней буквой стоит не просто Фаннина блажь, она тотчас же сама напишет мистеру Снуксу. Мисс Уинчелси

достигла той стадии, когда некоторые тонкости этикета не имеют значения. Она пока не придумала повод для письма, но общий смысл был ей предельно ясен, вплоть до намека на некие «обстоятельства» в ее жизни, которые с их последнего разговора «в корне переменились». Однако намекать не понадобилось. Фанни прислала третье письмо — вот уж поистине, то пусто, то густо! — где в первых же строках объявила, что в целом свете нет девушки счастливее ее.

Не читая дальше, мисс Уинчелси смяла письмо в руке и долго сидела с каменным лицом. Письмо ей вручили за минуту до начала утренних уроков, и она распечатала его, когда юные математички погрузились в решение задач. Через некоторое время с видом полнейшей невозмутимости она вернулась к письму. Только отчего-то после первой страницы сразу перешла к третьей и пропуска даже не заметила. Третья страница начиналась со слов: «…прямо сказала ему, что мне не нравится его фамилия». И далее: «А он признался, что ему и самому она не нравится. Ты знаешь, за ним это водится — такая внезапная откровенность». Мисс Уинчелси знала, не сомневайтесь. «Тогда я говорю: „Почему бы вам не сменить ее?“ Сперва он не понял. Видишь ли,

дорогая, он объяснил мне, откуда она пошла — от Севеноукс[138], представляешь? Потом сократилась до Снукс, вернее, до Снукс и Нукс, — и то и другое звучит страшно вульгарно, хотя на самом деле это лишь сокращенные формы вполне благородного Севеноукса. Тогда я и говорю ему (даже у меня бывают светлые мысли): „Если фамилия Севеноукс со временем превратилась в Снукс, нельзя ли вернуться назад и снова превратить Снукс в Севеноукс?“ В общем, если коротко, дорогая, он не смог отказать мне и сразу изменил написание на Сенукс, чтобы в объявлениях о публичной лекции уже не было никакого Снукса. Когда мы поженимся, вставим еще одну буковку — и получится Севнукс. Ну не душка ли он после этого? Другой бы обиделся, а он без разговоров исполнил мой каприз. Но в этом весь он: столь же добр, сколь и умен. И ведь не хуже меня знает, что я все равно вышла бы за него, будь он хоть десять раз Снукс. Но все-таки захотел сделать мне приятное».

Внезапно тишину в классе нарушил звук яростно разрываемой бумаги. Ученицы испуганно вскинули головы и увидели смертельно блед-

[138] Примечания: 138

Севеноукс (Севенокс) — город на западе графства Кент, в 35 км от центра Лондона.

ную мисс Уинчелси, сжимавшую в руке ворох клочков. Несколько мгновений они во все глаза смотрели на нее, а она на них, пока ее лицо не приняло более или менее привычное выражение. «У кого готово решение третьей задачи?» — ровным голосом спросила она. С этой минуты она сохраняла спокойствие, но нерадивых в тот день не пощадила. Два вечера подряд мисс Уинчелси усердно сочиняла разнообразные по духу письма, пока не нащупала приемлемый поздравительный тон. Доводы рассудка были бессильны против внутреннего убеждения, что Фанни повела себя в высшей степени вероломно.

Даже самой утонченной особе в сердце может проникнуть яд. И яд разлился в сердце мисс Уинчелси. Временами у нее случались приступы мужененавистничества, когда она без снисхождения стригла всех под одну гребенку. «Он же с ума сходил по мне, — твердила она, — но Фанни такая розовенькая, миленькая, мягонькая, глупенькая! Как раз то, что нужно мужчине». В качестве свадебного подарка она послала Фанни изящно переплетенный томик стихов Джорджа Мередита[139], и Фанни ответила неприлично

[139] Примечания: 139

Джордж *Мередит* (1828–1909) — английский прозаик и поэт, один из крупнейших романистов Викторианской эпохи.

счастливым письмом, в котором уверяла, что и книжка, и стихи «прекрасны». Мисс Уинчелси надеялась, что когда-нибудь мистер Сенукс возьмет в руки этот томик и на минуту вспомнит о дарительнице. По мере приближения свадьбы Фанни щедро делилась с ней всеми подробностями своего безмерного счастья, продолжая задушевную линию «стародавней дружбы». А мисс Уинчелси впервые после поездки в Рим написала Хелен, не поскупившись на изъявления теплых чувств — и обойдя молчанием Фаннину свадьбу.

В Рим три подруги ездили на Пасху, а летом, в августовские каникулы, Фанни вышла замуж. Мисс Уинчелси получила от нее письмо, полное всякого вздора, включая переезд в новый дом и обустройство «малюсенького» семейного гнездышка. Между тем в ностальгических воспоминаниях мисс Уинчелси образ мистера Севнукса без особых на то оснований начал приобретать ореол исключительной рафинированности, и ее воображение отказывалось видеть столь грандиозную культурную величину в каком-то «малюсеньком» гнездышке! «Сейчас пытаюсь создать веселенький уютный уголок, — сообщила Фанни в конце третьей страницы, — так что извини, на этом пока все». Мисс Уинчелси отве-

тила в самой изящной манере, с мягким юмором прокомментировав Фаннины хлопоты и выразив твердую надежду, что ее письмо будет прочитано также и мистером Севнуксом. Если бы не эта надежда, ничто не заставило бы ее взяться за перо и ответить не только на августовское, но и на два последующих письма, полученные в ноябре и под Рождество.

В двух упомянутых посланиях содержалось настойчивое приглашение приехать в Стили-Бэнк на рождественские каникулы. Мисс Уинчелси хотелось думать, что это *он* попросил Фанни позвать ее, хотя желание делиться со всеми своей радостью было в характере Фанни. Мисс Уинчелси уверяла себя, что он уже осознал свою ошибку, и всерьез надеялась со дня на день получить от него письмо, открывающееся словами: «Милый друг...» Едва уловимая трагическая нота, в которой звучала бы горечь расставания и боль непонимания, так поддержала бы ее сейчас! Допустить, что он легко променял ее на другую, было бы невыносимо. Но он не написал письма «милому другу».

Целых два года мисс Уинчелси не могла собраться с духом и повидаться с ними, несмотря на постоянные приглашения миссис Севеноукс

(на втором году брака фамилия вернулась к исходной форме). Но в канун пасхальных каникул она вдруг почувствовала себя страшно одинокой — ни единой родственной души на всем белом свете! — и в голове у нее возникло видение так называемой платонической дружбы. Фанни счастлива своим новым положением хозяйки дома, и грустить ей некогда, это ясно; но так же ясно, что *он* иногда остается наедине с собой. Вспоминает ли он о Риме, о тех невозвратных днях? Никто не понимал ее, как он, никто в целом мире. Беседа с ним доставила бы ей удовольствие, пусть и с привкусом печали, и никому не причинила бы вреда. Зачем отказывать себе в такой малости? Вечером она сочинила сонет — не справилась только с концовкой второго катрена — и на следующий день короткой изящной запиской известила Фанни о своем приезде.

Итак, она снова встретилась с ним.

С первого взгляда было заметно, что он изменился — стал солиднее, спокойнее, увереннее; и в его разговоре уже с трудом угадывались следы прежней очаровательной изысканности. Пожалуй, теперь она отчасти согласилась бы с критическим отзывом Хелен — при определенном освещении лицо его *и впрямь* выглядело

безвольным. Он производил впечатление страшно занятого человека, у которого все мысли только о делах, и в целом вел себя так, словно мисс Уинчелси приехала к ним ради Фанни! Он очень вдумчиво обсуждал с Фанни обеденное меню. У них состоялся только один разговор наедине, но и тот ни к чему не привел. Вместо того чтобы предаться воспоминаниям о Риме, он долго возмущался неким джентльменом, который украл у него идею учебного пособия. Такой поворот в беседе мисс Уинчелси сочла не самым удачным. К тому же он забыл добрую половину художников, чьими полотнами они вместе восхищались во Флоренции.

Этот недельный визит принес мисс Уинчелси большое разочарование, и она была рада проститься с хозяевами. От повторного визита она под разными предлогами уклонялась. Со временем гостевую комнату оккупировали двое маленьких сыновей, и Фанни перестала слать приглашения. Оживленно-доверительный тон ее писем еще раньше сошел на нет.

1898

Сон об Армагеддоне

Перевод А. Круглова.

Человек с бледным лицом вошел в вагон на станции Регби. Несмотря на спешку носильщика, шагал он медленно, и еще на платформе я отметил его болезненный вид. Опустившись со вздохом на сиденье в углу напротив, он кое-как поправил дорожный шарф и застыл неподвижно, уставившись перед собой отсутствующим взглядом. Заметив, видимо, мое любопытство, посмотрел на меня и вяло потянулся к газете. Потом снова покосился в мою сторону.

Не желая смущать его, я притворился, что читаю, однако вскоре с удивлением услышал его голос.

— Прошу прощения? — переспросил я.

— Эта книга о снах, — повторил он, вытянув костлявый палец.

— Без сомнения, — подтвердил я, поскольку сочинение Фортнума-Роско называлось «Ста-

дии сна»[140], а название было напечатано на обложке.

Сосед помолчал, будто подбирая слова.

— Да, — продолжил он наконец, — но они ничего вам не скажут.

Я задумался, силясь понять, что имеется в виду.

— Они не знают, — добавил он.

Я взглянул на него внимательнее.

— Бывают сны, — сказал попутчик, — и… сны.

Я промолчал. Такие заявления нет смысла оспаривать.

— Полагаю… — Он замялся. — Вы видите когда-нибудь сны? Ну то есть яркие, цветные?

— Очень редко, — ответил я. — Пожалуй, не чаще трех за год.

— Угу, — кивнул он и вновь умолк, собираясь с мыслями. Затем внезапно спросил: — А никогда не путали сны с явью? Не казалось вам, что все было на самом деле?

— Да нет… разве что на пару секунд, и то изредка. Думаю, мало кто путает.

— А здесь об этом пишут? — Он кивнул на книгу.

---

[140] Примечания: 140

Фортнум-Роско, «Стадии сна» — вымышленные автор и сочинение.

— Пишут, что порой такое случается, и объясняют, как обычно, слишком яркими впечатлениями и тому подобным, отсюда и редкость. Полагаю, вы знакомы с подобными теориями?

— Не слишком. Знаю только, что все они ложны.

Он задумчиво потеребил иссохшей рукой ремень оконной рамы. Я решил было вернуться к книге, но это лишь подстегнуло незнакомца.

— Но ведь бывают и так называемые последовательные сны, — сказал он, подавшись вперед, будто хотел коснуться меня. — Они снятся подряд ночь за ночью и продолжают друг друга…

— Да, конечно. Такие сны упоминаются во многих книгах о душевных расстройствах.

— Что ж, пожалуй. Среди душевных расстройств им самое место… Но я не о том. — Он опустил взгляд на костяшки своих тощих пальцев. — Всегда ли это сны — вот в чем вопрос. Может, не сны, а что-то другое? Совсем другое, а?

Я бы осадил назойливого собеседника, если бы не лихорадочное волнение на его лице и особый взгляд потускневших глаз с воспаленными веками — должно быть, вам знаком такой взгляд.

— Я спорю не просто так, — вздохнул он. — Они меня убивают.

— Сны?

— Если их можно назвать снами. Из ночи в ночь, и такие яркие, подробные! Вот это все… — он указал на проносившийся за окном пейзаж, — просто серая картинка по сравнению с ними! Едва помнишь, кто ты на самом деле такой, где работаешь… — Он помолчал. — Даже теперь…

— Что, так до сих пор и снится?

— Нет, закончилось.

— То есть…

— Я умер.

— В каком смысле?

— Раздавлен и убит, и мое «я» из того сна мертво. Мертво навсегда, его больше нет. Там я был совсем другим, знаете ли, и жил в другой части света, да еще и в другое время. Я был им каждую ночь — просыпался не собой, в иной жизни, понимаете? Все по-другому, целая череда событий… вплоть до самого последнего.

— Того, когда вы умерли?

— Да, когда умер.

— И с тех пор…

— Слава богу, больше ничего. Это был конец сна.

Мне стало ясно, что от рассказа о странном сне уже не отвертеться. Впрочем, ехать оставалось

еще целый час, за окном быстро темнело, а Фортнум-Роско писал скучновато.

— В другое время, говорите? — хмыкнул я. — Даже век другой?

— Да.

— Прошлое?

— Нет, будущее. Далекое.

— Трехтысячный какой-нибудь год?

— Какой точно, не скажу… То есть во сне я знал, но не теперь… когда я не сплю. Уйму всего забыл, когда проснулся, хотя помнил, пока… пока спал? Не знаю, как это назвать. Годы в том веке считали не как у нас, а… мм… — Он потер лоб. — Нет, не припомню уже.

Слабо улыбаясь, он вновь уставился в никуда, и я уже опасался, что так и не узнаю, о чем был сон. Вообще-то, терпеть не могу тех, кто их пересказывает, но незнакомец меня заинтриговал. Я даже решил ему помочь:

— Это началось…

— Сон был ярким с самого начала, — заговорил он. — Я вдруг будто просыпался в нем и, что любопытно, никогда не вспоминал жизнь, которой живу сейчас. Должно быть, событий во сне мне хватало с лихвой. Наверное… Но сперва я постараюсь припомнить как можно больше. Первое

воспоминание: сижу на крытой террасе с видом на море. Свежий и бодрый, ни капли сонливости, только что проснулся — потому что девушка перестала обмахивать меня веером.

— Девушка?

— Да, девушка. Не перебивайте, а то собьюсь! — Он вдруг нахмурился. — Вы же не считаете меня сумасшедшим?

— Нет, — ответил я. — Вам просто приснился сон. Расскажите мне его.

— Так вот, я проснулся, потому что меня перестали обмахивать веером. Совсем не удивился, обнаружив себя там, никакого ощущения внезапной перемены — как будто всегда жил в том месте. Вся память о настоящей жизни здесь, в девятнадцатом веке, тут же вылетела из головы, как сон. Моя фамилия была уже не Купер, а Хидон, и я отлично знал, кто я в том мире такой. С тех пор уже многое позабылось, не хватает связности — но тогда, во сне, все казалось ясным и логичным. — Попутчик ухватился за оконный ремень, подался вперед и жалобно взглянул на меня. — Вам кажется, что все это бред?

— Нет, что вы, продолжайте! — воскликнул я. — Расскажите про террасу, где вы сидели, — какая она была?

— Ну не то чтобы терраса, скорее лоджия — маленькая, на солнечную сторону. Затененная крышей, лишь сверху виднелся полукруг неба, а вдали — море. В углу стояла девушка, а я лежал в шезлонге — металлическом с полосатыми светлыми подушками. Девушка стояла ко мне спиной, опершись на перила. Лучи заходящего солнца падали сбоку, освещая ее изящную белую шею с ниспадающими колечками локонов и плечо, а прелестное тело скрывалось в прохладной голубоватой тени. Одежда… не знаю, как выразиться, — свободная такая, плавно ниспадающая. Короче, девушка стояла там, и я вдруг понял, насколько она прекрасна и желанна, как будто видел впервые. И когда наконец я вздохнул и приподнялся, она повернула ко мне лицо… — Рассказчик на миг запнулся. — Я прожил в нашем мире пятьдесят три года. У меня были мать, сестры, друзья, жена и дочери — я хорошо изучил и помню их лица. Но лицо той девушки… оно кажется мне куда реальней. Могу вызвать его в памяти как наяву, даже нарисовать, и вообще…

Я молча слушал.

— То лицо из сна… лицо мечты! — продолжал он. — Оно поражало красотой, но не суровой и холодной, как у святых, и не той, что пробужда-

ет бурные страсти, а словно излучающей свет. Милая спокойная улыбка, глубокий взгляд серых глаз… Двигалась девушка так грациозно, что вызывала в памяти все самое приятное и изящное…

Он смущенно потупился, скрывая лицо. Затем снова взглянул на меня и продолжил, больше не пытаясь скрыть твердой убежденности в реальности своей истории:

— Ради той девушки я отринул все прежние планы и устремления, все, над чем работал и чего желал. У себя на севере я был влиятелен и богат, пользовался большим уважением, но все это казалось ничтожным по сравнению с ней. Я оставил прошлое на произвол судьбы и отправился в солнечный город наслаждений, чтобы провести с любимой хотя бы остаток своих дней. Пока я любил, не зная еще, важен ли для нее, решится ли она… решимся ли мы, — вся жизнь казалась мне прахом и тленом. Да она и была прахом и тленом. Ночь за ночью и долгие дни напролет я томился желанием… моя душа боролась с запретами. Не в человеческих силах передать мои чувства — как все оттенки мерцающего света. Но когда он есть, вокруг меняется все… В результате я уехал и бросил их всех в том кризисе — пускай

справляются сами.

— Кого бросили? — спросил я озадаченно.

— Людей севера. Я же был значительной персоной в том сне — из тех, кому верят, за кем идут. Миллионы тех, кто ни разу меня не видел, были готовы идти на риск, делать что угодно из одного доверия ко мне. Я годами вел большую игру, хитрую и сложную политическую игру среди предательств и интриг, речей и народных волнений. В том огромном бурлящем мире я в конце концов практически возглавил сопротивление Банде — так их называли, — своего рода заговору крупных мошенников и мерзавцев, игравших на примитивных эмоциях толпы. Их громкие слова и рекламная шумиха застилали миру глаза и вели его год за годом к непоправимой катастрофе… Трудно ожидать, что вы поймете все хитросплетения и нюансы той эпохи, далекой от нас. Однако там, во сне, они были у меня в памяти вплоть до мельчайших подробностей. Даже когда я просыпался и протирал глаза, тающие очертания тех странных событий еще маячили перед глазами, и после копания в тамошней грязи я благодарил Бога за солнечный свет.

Итак, я сидел в шезлонге, разглядывал девушку и радовался… радовался, что оставил всю эту

глупость и суету, пока не стало слишком поздно. В конце концов, разве любовь и красота, восторг и желание не лучше унылой возни ради великих, но туманных целей? Не к чему стремиться к лидерству, если можно посвятить свои дни любви. С другой стороны, если бы не дни молодости, проведенные в суровых испытаниях, я растратил бы себя на пустых и тщеславных женщин. При этой мысли меня вновь охватывали невероятная любовь и нежность к моей милой спутнице, что явилась наконец и принудила меня силой своих неотразимых чар отринуть прежнюю жизнь.

«Ты достойна этого, — произнес я тихонько, чтобы она не слышала. — Ты достойна этого, моя драгоценная, достойна гордости и поклонения и всего на свете. Любовь моя! Обладание *тобой* стоит всех сокровищ мира!»

Она обернулась на мой шепот.

«Иди сюда! Ты только глянь! — воскликнула она, и ее голос до сих пор звучит у меня в ушах. — Смотри, как солнце встает над Монте-Соларо!»[141]

Помню, как вскочил на ноги, подошел к перилам и встал возле нее. Она положила белую руку

---

[141] Примечания: 141

Монте-Соларо — самая высокая вершина итальянского острова *Капри*.

мне на плечо и указала на громады песчаника, подернутые румянцем рассвета и словно пробуждающиеся к жизни. Но сперва я полюбовался, как лучи солнца ласкают очертания ее щек и шеи. Как описать то, что мы видели перед собой тогда? Дело было на Капри…

— Я тоже там бывал, — заметил я. — Поднимался на Монте-Соларо и пил на вершине «Веро Капри»[142] — такой мутный напиток наподобие сидра.

— А! Тогда, может, вы скажете, правда ли это был Капри, — сказал человек с бледным лицом, — я-то сам в этой жизни ни разу там не бывал. Я сейчас опишу… Мы жили в комнатке, солнечной и очень прохладной, одной из великого множества комнаток, выдолбленных в известняковом массиве какого-то мыса очень высоко над морем. Весь остров представлял собой один гигантский отель с крайне сложной планировкой, а вдали на целые мили протянулись плавучие отели и широченные платформы, на которые садились летающие машины. Все это называлось «Городом наслаждений». В ваше время ничего этого еще нет… ну то есть в *наше*. Конечно же наше!

---

[142] Примечания: 142

«Веро Капри» — марка местного дешевого вина.

Комната занимала самую оконечность мыса, так что выходила и на восток, и на запад. С востока возвышался огромный утес — может, в тысячу футов высотой, — холодный и серый, лишь с краю окрашенный ярким золотом, а за утесом открывался вид на Остров Сирен и покатый берег, подернутый рассветным туманом. На западе лежала крошечная бухта с небольшим уютным пляжем, где еще властвовала тень. Из тени отвесно поднималась гора Монте-Соларо, увенчанная, точно короной, золотым гребнем, позади нее в небе плыла белесая луна. А перед нами с востока на запад раскинулось многоцветное море, усеянное точками парусов. На востоке они были серыми, но на западе сияли тем же солнечным золотом, словно язычки пламени. А прямо под нами виднелась скала с пробитой волнами аркой. Морская синь разбивалась о скалу зелеными брызгами и пенилась вокруг, а из-под арки выходила гребная лодка.

— Знаю эту скалу, — кивнул я. — Чуть не утонул там. Она называется Фаральони.

— Фаральони? Да, она называла ее так, — ответил человек с бледным лицом. — Там случилась какая-то история… но…

Он снова потер лоб.

— Нет, забыл… Так вот, это самый первый из снов, с которого все началось. Комната, погруженная в тень, воздух, небо и моя драгоценная спутница — ее сияющее лицо, белые руки и элегантное платье. Мы сидели и разговаривали полушепотом — не потому, что кто-то мог услышать, просто все для нас было настолько внове, что мысли будто пугались претворения в слова.

Проголодавшись, мы вышли из комнаты и двинулись по странному коридору с движущимся полом, пока не оказались в большом обеденном зале, где искрился брызгами фонтан и играла музыка. Удивительно приятное место, залитое солнцем, с плеском воды и переборами струн. Мы ели, улыбались друг другу, и мне совсем не хотелось замечать мужчину за соседним столиком, который явно наблюдал за мной.

Потом мы перешли в танцевальный зал, великолепие которого не поддается описанию. Невероятно просторный, он превосходил все известные в наши времена, а высоко на галерее были вмурованы в стену старинные ворота Капри. Золотые стебли и побеги словно по волшебству вырастали из изящных колонн и затейливо переплетались под потолком, струясь рассветными лучами, а круглую площадку для

танцев, сжимая в лапах светильники, обступали причудливые фигуры драконов и химер. Искусственный свет в зале посрамил бы и солнечные лучи новорожденного дня. Мы шли сквозь толпу, и люди оборачивались вслед — весь мир знал мое имя, мое лицо и что я, отбросив гордость, удалился сюда. Они с любопытством разглядывали девушку, которая шла рядом, ведь историю ее появления в моей жизни мало кто знал, да и то больше по слухам, — и мало кто не завидовал моему счастью, несмотря на позор и бесчестье, покрывшие мое имя.

Воздух полнился музыкой и изысканными ароматами, гармонией и ритмом танца. Тысячи красивых людей, пышно разодетых и увенчанных цветами, сновали по залу, толпились на галереях, отдыхали в укромных уголках. Другие танцевали под белыми статуями античных богов, торжественные процессии юношей и девушек радовали глаз. Мы тоже танцевали, и не в уныломонотонном стиле вашей… то есть нашей эпохи, а в пьянящей радостной манере. Моя любимая в те минуты до сих пор у меня перед глазами. Сохраняя серьезность и достоинство, она все же улыбалась мне глазами и ласкала взглядом мое лицо… Музыка там совсем не такая, как теперь, —

пробормотал он. — Трудно описать словами… но она бесконечно глубже и богаче, чем все, что я слышал наяву.

И вот тогда-то… когда мы закончили танцевать, ко мне подошел мужчина — подтянутый, энергичный и одетый слишком сдержанно для такого места. Тот самый, которого я заметил в обеденном зале и потом, идя по коридору, также избегал его взгляда. Но теперь, когда мы уселись в маленькой нише, счастливо улыбаясь веселой публике в сияющем зале, он подошел, тронул меня за плечо и заговорил, так что мне пришлось его выслушать. Он просил о приватной беседе.

«Нет, — ответил я, — у меня нет секретов от моей дамы. О чем вы хотите рассказать?»

Он сказал, что разговор будет скучный и сухой, даме неинтересный.

«А вы уверены, что он интересен мне?» — парировал я.

Он глянул на нее почти умоляюще, затем спросил, слыхал ли я о громком и мстительном заявлении, которое сделал Грешем. Прежде тот был моим соратником во главе крупной партии на севере. Напористый, жесткий и бестактный, он всегда рубил сплеча, и только я умел смягчать и сдерживать его нрав. Думаю, мой уход так

расстроил всех скорее из-за него, чем из-за меня, поэтому новость о его заявлении пробудила во мне минутный интерес к политическому прошлому, которое я оставил позади.

«Давно уже не слыхал вестей с севера, — ответил я. — Так что же заявил Грешем?»

Узнав подробности, я поразился безрассудной глупости Грешема и его грубому языку угроз. Посланник не только изложил содержание речи, но также попросил совета и дал понять, насколько нуждаются во мне бывшие соратники. Пока он говорил, моя девушка сидела, подавшись вперед и обводя взглядом наши лица.

Старые навыки расчетливого организатора тут же проснулись во мне, и я представил себе, какой мощный эффект произвело бы мое неожиданное возвращение на север. Судя по рассказу посланника, наша партия в разброде, но не пострадала, и я, вернувшись, стану сильнее, чем прежде… А потом я вспомнил про свою девушку. Как бы вам объяснить… Наши с ней отношения делали ее присутствие рядом со мной невозможным. Пришлось бы оставить ее, более того, для продолжения борьбы на севере пришлось бы открыто от нее отречься. Посланник понимал, как и она сама, что мой долг предполагал бы сперва разлуку, а

затем — полный разрыв с нею. Лишь один намек на это вмиг развеял мысли о возвращении. Я резко повернулся к собеседнику, который было уже решил, что его красноречие меня убедило.

«Какое мне теперь дело до этого всего? — усмехнулся я. — С политикой покончено! Или вы думаете, я кокетничаю, заставляю себя упрашивать?»

«Нет, — замялся он, — но…»

«Почему бы вам не оставить меня в покое? Повторяю: я покончил с политикой, стал частным лицом».

«Да, но все же подумайте… Эти воинственные речи, безрассудный вызов, неприкрытая агрессия…»

Я встал.

«Не желаю ничего слушать! Я давно уже все взвесил, принял решение и уехал».

Он явно прикидывал, стоит ли настаивать дальше. Перевел взгляд на девушку, которая внимательно смотрела на нас обоих.

«Война…» — произнес он негромко, словно про себя, и, печально отвернувшись, удалился.

Я стоял, охваченный водоворотом мыслей о неожиданных новостях, и тут услышал голос своей спутницы:

«Милый, если они никак не могут без тебя…»

Оборванная фраза повисла в воздухе. Я обернулся, глядя в дорогое лицо, и в моей душе что-то дрогнуло.

«Всего лишь хотят, чтобы я сделал то, на что они сами не осмеливаются, — ответил я. — Если не доверяют Грешему, пускай сами разберутся с ним».

Она взглянула на меня с сомнением.

«Но война…»

Такое же выражение у нее на лице я видел и раньше — сомнение и во мне, и в себе, первый проблеск осознания того, что способно разлучить нас навеки. Однако я был старше и опытней, так что умел переубедить ее.

«Милая, не стоит переживать, — начал я. — Войны не будет, поверь. Эпоха войн давно уже минула, я в этом хорошо разбираюсь. Никаких прав на меня у них нет, ни у кого нет. Я сам решаю, как жить, и выбрал то, что выбрал».

«Но *война*…» — повторила она.

Я присел рядом, обнял ее за талию и взял за руку. Нужно было развеять ее сомнения, заставить вновь думать о приятном. Я лгал и ей, и себе самому… а она слишком сильно хотела мне верить, хотела забыться…

Очень скоро тень, омрачавшая наше счастье, растаяла, и мы поспешили в купальни на Гротта-дель-Бово-Марино, где привыкли бывать ежедневно. Мы весело плескались, бурлящая вода давала божественное ощущение легкости и силы. Мокрые и счастливые, мы выбрались из воды и стали бегать между скал, а затем, переодевшись в сухое, долго нежились на солнце. Вскоре я начал клевать носом и пристроил голову у девушки на колене, а она принялась ласково перебирать мне волосы. Дрема овладела мною… и тут будто лопнула скрипичная струна! Я проснулся в собственной постели в Ливерпуле, в обычной нашей сегодняшней жизни.

Далеко не сразу я смог убедить себя, что пережитые только что яркие и счастливые минуты — всего-навсего сон.

В самом деле, поверить было трудновато, несмотря на всю отрезвляющую реальность вокруг. Я по привычке умылся и оделся, однако, пока брился, недоумевал, с какой стати вдруг я должен бросать любимую женщину ради какой-то немыслимой политики в суровых и холодных северных краях. Что мне за дело, даже если Грешем втянет мир в войну? Я всего лишь простец с обычной человеческой душой, и не мне брать на

себя божественную миссию наставлять мир на истинный путь!

Я, знаете ли, не имею привычки так относиться к делам — в смысле, к своим настоящим делам. Я адвокат, у меня твердые принципы. Однако мое видение настолько не походило на сон… Даже мелкие подробности то и дело всплывали в памяти! Так, узор на обложке книги, что лежала на швейной машинке жены, вдруг живо напомнил мне золоченую отделку диванчика в нише, где я беседовал с посланником от брошенной мною партии. Вам когда-нибудь доводилось слышать о подобном?

— То есть?..

— Ну, когда уже потом вспоминаются детали, которые вы во сне видели лишь мельком?

Я задумался. Никогда не обращал на это внимания, но он был прав.

— Нет, — ответил я, — вроде как со снами такого не бывает.

— Вот именно! Однако так оно и было… Вы должны понять, я поверенный, у меня работа в Ливерпуле. Что, скажите, подумают обо мне клиенты, деловые люди, с которыми я общаюсь у себя в конторе, если я вдруг сообщу им, что влюблен в девушку, которая родится через сотни лет,

и беспокоюсь о политических проблемах своих прапраправнуков? В тот день я оформлял договор аренды здания на девяносто девять лет. Надо было тщательно увязать все пункты, застройщик спешил и нервничал, во время разговора он чуть не сорвался на меня, и, когда я отходил ко сну, мое раздражение еще не улеглось. Той ночью мне ничего не снилось и следующей тоже — во всяком случае, не запомнилось.

Постепенно яркость и убедительность воспоминаний рассеялись, и я почти уверился, что видел сон… а потом он приснился вновь!

Приснился дня четыре спустя, и все уже было иначе. Думаю, там у них тоже прошло четыре дня. На севере за это время случилось многое, тень от этих событий снова пролегла между нами, и на сей раз ее не так легко было рассеять. С какой стати, размышлял я, возвращаться до конца дней своих к тяжкому труду, терпеть упреки и оскорбления ради спасения сотен миллионов, к которым я не испытывал любви, а чаще попросту презирал, от ужасов войны и тирании? В конце концов, я ведь могу и не справиться! Каждый из них преследует свои узкие, личные цели, так почему бы… почему бы и мне не жить как обычные люди?!

Мои размышления прервал ее голос. Я поднял взгляд и обнаружил, что не просто бодрствую, а гуляю. Мы уже высоко поднялись над Городом наслаждений, почти до вершины Монте-Соларо, и смотрели оттуда на бухту. Стоял тихий ясный вечер. Слева вдали в золотой дымке между морем и небом проступала Искья[143], на холмах выделялся строгой белизной Неаполь, тонкая струйка дыма от Везувия тянулась к югу, а рядом блестели на солнце развалины Торре-дель-Аннунциата[144] и Кастелламмаре…[145]

— Значит, вы все же бывали на Капри? — прервал я рассказ попутчика.

— Только в том сне, — ответил он, — только во сне… Вдоль всего залива по ту сторону Сорренто стояли на якоре плавучие дворцы Города наслаждений, а к северу — широкие платформы для посадки аэропланов. Они опускались с неба ежедневно, тысячами доставляя на Капри искателей развлечений из всех уголков земли.

Все это расстилалось внизу перед нами, но

---

[143] Примечания: 143

Искья — остров у западной оконечности Неаполитанского залива.

[144] Примечания: 144

Торре-дель-Аннунциата — южный пригород Неаполя.

[145] Примечания: 145

Кастелламмаре — юго-восточная часть Неаполитанского залива.

мы глянули туда лишь мельком, привлеченные другим, совершенно необычайным зрелищем. В небе на востоке маневрировала пятерка военных машин, которые до того хранились в забытых арсеналах в устье Рейна. Грешем потряс весь мир, когда извлек их оттуда и отправил патрулировать местность. Это была очередная угроза в большой игре, которую он вел — фактически блефовал! — и которая застала врасплох даже меня. Таких напористых идиотов, казалось, посылает само небо, чтобы устраивать катастрофы. На первый взгляд, суетливость Грешема и впрямь походила на эффективность, но у него не было ни воображения, ни изобретательности, лишь тупая сокрушительная воля и безумная вера в «удачу». Мы стояли над мысом, глядя на кружившую вдали эскадрилью аэропланов, и я вдруг со всей ясностью понял, что́ это означает и к чему приведет. Даже тогда еще было не слишком поздно. Надо вернуться, подумал я, чтобы спасти мир. Северяне пойдут за мной охотно… но только если проявить уважение к их моральным принципам! А восток и юг доверяют мне, как никому из северян. Я знал, что достаточно сказать ей об этом, и она отпустит меня… но не потому, что не любит!

Вот только уезжать я как раз и не хотел, на-

оборот. Едва разделавшись с демоном ответственности и дезертировав, я противился даже ясному осознанию своего долга. Мне хотелось жить в свое удовольствие и доставлять радость любимой. Однако, пусть даже ощущение невыполненной миссии не могло изменить моего решения, тягостные переживания никуда не делись и лишали дни радости, а ночи наполняли мрачными раздумьями. Я смотрел в небо, где нарезали круги аэропланы Грешема, будто птицы, несущие дурное знамение, а моя девушка стояла рядом и глядела на меня, еще не до конца осознавая грозящие беды. В ее глазах стоял вопрос, на озадаченном лице уже лежала тень вечерних сумерек. Она удерживала меня не по своей вине — сама сразу попросила оставить ее, а ночью в слезах просила снова.

В конце концов ощущение ее присутствия рядом вывело меня из задумчивости. Я повернулся к ней и предложил сбежать наперегонки вниз по склону.

«Нет», — ответила она, цепляясь за свою печаль, но я настоял — трудно оставаться бледной и подавленной, когда перехватывает дыхание, — и помчался вниз, подхватив ее под локоть. Мы пробежали мимо двоих мужчин, которые, зная меня

в лицо, с изумлением проводили нас взглядом. На полпути воздух над головой странно зазвенел, и мы замерли, глядя на вереницу военных монстров, пролетавших над горой…

Рассказчик замолчал, подбирая слова.

— Какие они были? — полюбопытствовал я.

— Им еще не приходилось воевать, — ответил он, — вроде как теперешним броненосцам[146]. На что они способны, как и их отчаянные пилоты, никто не знал, даже не гадали. А сами летающие машины походили на треугольный наконечник копья с пропеллером на месте древка.

— Стальные?

— Нет.

— Алюминиевые?

Он покачал головой.

— Нет, что-то другое. Довольно известный в то время сплав — обычный, как у нас, скажем, латунь. Называли его… мм… Нет, опять забыл, — пожаловался он, потирая лоб.

— На них были пушки?

— Да, небольшие, но с взрывчатыми снарядами

---

[146] Примечания: 146

Вымысел Уэллса, позднее развитый им в псевдодокументальном фронтовом очерке «Сухопутные броненосцы» (1903), прообраз танков, которые выйдут на поля сражений Первой мировой войны лишь спустя полтора десятилетия.

большой силы. Заряжались спереди, а стреляли назад. В теории, конечно, они ведь ни разу не применялись в бою, так что никто не мог точно предсказать эффекта. А пока, наверное, было очень приятно кружить в воздухе, будто стая ласточек, и не думать, какова будет реальная схватка. Меж тем военные аэропланы были всего одной из великого множества жутких военных игрушек, созданных во время долгого мира и ждавших своего часа. Чего только тогда не напридумывали — смертоносного и бессмысленного, просто на всякий случай. Мощнейшие двигатели, гигантские пушки, чудовищная взрывчатка… Вы сами знаете бездумную манеру технических гениев — они как бобры, которые строят свои плотины, не беспокоясь, что реки разольются и затопят все вокруг.

Пока мы в сумерках шагали обратно в отель по извилистой тропинке, я представлял себе, что будет дальше. Жестокая и тупая политика Грешема ясно и неотвратимо вела к войне, и я с ужасом понимал, какой страшной будет эта новая война. Однако даже теперь, когда мои возможности остановить ее иссякали, я не желал возвращаться.

Он тяжко вздохнул.

— Это был мой последний шанс… Небо уже усыпали звезды, а мы с девушкой все бродили туда-сюда по скалистому уступу, и она… она убеждала меня вернуться.

«Дорогой, это смерть! — говорила она, обратив ко мне свое милое личико. — Жизнь, которую ты ведешь, — это смерть! Вернись к ним, исполни свой долг… — По щекам ее текли слезы, она сжимала мою руку и все повторяла: — Вернись, вернись!»

Потом вдруг умолкла, и, взглянув ей в лицо, я тут же понял, что она решила сделать. Такое сразу замечаешь.

«Нет!» — воскликнул я.

«Нет?» — Услышав ответ на свои мысли, она удивилась и испугалась.

«Ничто, — сказал я, — не толкнет меня назад. Ничто! Это мой выбор. Я его сделал, и пускай весь мир катится в тартарары. Что бы ни случилось, я буду жить как хочу… ради *тебя*! Ничто не свернет меня с пути, даже если ты умрешь! Если ты умрешь…»

«Что тогда?» — прошептала она.

«Тогда умру и я!»

И, не дав ей ответить, я стал со всем красноречием, каким отличался в той жизни, всячески

превозносить любовь, выставляя нас чуть ли не славными героями, а все, что я оставил позади, — низким и тягостным существованием, недостойным продолжения. Я старался убедить девушку как мог, а вместе с нею убеждал и себя самого. Слушая, она льнула ко мне, разрываясь между благородными побуждениями и сладкой жизнью, к которой уже привыкла. В конце концов мне удалось убедить ее в своей правоте и даже нависшую катастрофу выдать за блестящее обрамление нашей несравненной любви. Бедные, заблудшие души, мы упивались, стоя под звездами, этой великолепной иллюзией.

Так я и упустил свой последний шанс.

Пока мы прогуливались по горам, лидеры юга и востока принимали судьбоносные решения и готовили решительный силовой ответ, которому предстояло навсегда разрушить блеф Грешема. По всей Азии, по всему югу и над океанами вибрировали провода и дрожал эфир, разнося воинственные призывы.

Видите ли, никто из живущих в то время понятия не имел, что такое война и какие ужасы могут принести новые изобретения. Думаю, представления большинства ограничивались яркой военной формой, криками «ура», победными

шествиями, флагами и оркестрами — и это когда доброй половине мира надо везти продовольствие за тысячи миль!..

Человек с бледным лицом умолк, уставившись себе под ноги. В окне промелькнула маленькая станция с чередой грузовых вагонов, сторожевая будка и задняя стена какого-то дома, а затем ограда железнодорожного моста, в которой эхом отдавался стук наших колес.

— После этого, — продолжил рассказчик, — сон приходил часто — недели три он становился моей ночной жизнью. Хуже всего были бессонные ночи, когда я ворочался в постели в *этой* ненавистной жизни, а *где-то там*, упущенные мною, происходили события, судьбоносные, страшные… Я жил по ночам, а дни бодрствования, вся здешняя жизнь потускнели и превратились в полузабытый сон, унылую оправу, книжный переплет.

Он задумался.

— Я мог бы пересказать вам все, каждую мелочь из сна, а то, чем занимался днем, не сумел бы — просто не помню. Память подводит меня, привычная жизнь с ее хлопотами ускользает…

Подавшись вперед, он прижал ладони к лицу и долгое время молчал.

— А потом? — спросил я.

— Война разразилась, будто ураган.

Он уставился перед собой, разглядывая что-то невидимое и ужасное.

— А дальше? — не унимался я.

— Хватило бы легкого штриха нереальности, — тихо пробормотал он, словно говоря сам с собой, — чтобы счесть это кошмаром. Но это был не кошмар… никакой не кошмар. *Нет!*

Он умолк так надолго, что я уже боялся, что не услышу конца истории. Однако он продолжил — все тем же тоном, будто сам в себе сомневаясь:

— Что еще оставалось, кроме бегства? Почему-то я не думал, что война затронет Капри, настолько не вязался он в моем сознании с чем-то неприятным, но две ночи спустя поднялись шум и суматоха и значок партии Грешема оказался на одежде каждого мужчины и почти каждой женщины. Вместо прекрасной музыки отовсюду неслись лязгающие марши, на каждом шагу записывали в добровольцы, а в танцевальных залах шла строевая подготовка. Весь остров бурлил слухами о уже начавшихся где-то боях… Такого я не ожидал. Не успев еще пресытиться удовольствиями своей новой жизни, я не мог понять этой внезапной тяги к насилию. Остался

в стороне, с горечью сознавая, что мог бы, так сказать, предотвратить взрыв на пороховом складе, но упустил время. Здесь я был никем, любой тщеславный сопляк со значком Грешема значил больше, чем я. Вокруг — толкотня и рев возбужденной толпы, в ушах звон от проклятых маршей… Какая-то женщина принялась орать на мою девушку, потому что у той не было значка, и мы, помятые и обиженные, вернулись к себе, она бледная и молчаливая, а я — дрожащий от злости. Настолько, что если бы заметил хоть тень упрека в ее взгляде, то мог бы рассориться с ней. Вся моя великолепная самоуверенность растаяла как дым. Я мерил шагами нашу келью в скале, за окном хмурилось море, а на южном горизонте вспыхивали и проплывали какие-то огни.

«Надо отсюда уехать, — повторял я снова и снова. — Выбор сделан, и я не хочу участвовать во всем этом. Мне нет дела до этой войны. Мы изгнали политику из своей жизни. Тем не менее здесь нам не укрыться. Давай уедем!»

А на следующий день мы уже бежали прочь от войны, охватившей весь мир. Началось бегство — повальное бегство.

Рассказчик погрузился в мрачное раздумье.

— Долго это продолжалось? — спросил я. Он не

ответил. — Сколько дней?

На бледном изможденном лице его ничего не отразилось. Он все так же молчал, сжимая кулаки.

Я продолжал задавать вопросы, стараясь привлечь его внимание:

— Куда же вы уехали?

— Когда?

— Когда покинули Капри.

— На юго-запад, — отозвался он, подняв на меня взгляд, — на корабле.

— Я было подумал о летающей машине…

— Их все конфисковали военные.

Я ничего больше не спрашивал, но вскоре он вновь монотонно заговорил, пустившись в рассуждения:

— Ну почему так выходит? Если в самом деле жизнь состоит из битв, кровопролития и несчастий, то зачем нам дано стремление к красоте и удовольствиям? Если для мира и покоя на земле нет места, если наши мечты о тихом убежище — глупость и западня, почему мы вообще мечтаем? Нас вели не подлые инстинкты, не низкие намерения, а любовь! Любовь явилась ко мне в ее глазах, облаченная в ее красоту, как лучшее, что есть в жизни, — и позвала за собой. Я заставил

умолкнуть все голоса, ответил на все вопросы и пошел на ее зов. Но вдруг оказалось, что на свете нет больше ничего, кроме войны и смерти!

Тут меня осенило, и я спросил:

— Слушайте, а может, это все-таки был просто сон?

— Сон?! — воскликнул он, мгновенно вскипая гневом. — Какой же сон, если… если даже сейчас…

Его бледное лицо впервые оживилось, на восковых щеках появился легкий румянец. Он стукнул себя кулаком по колену и продолжил, глядя в сторону:

— Мы всего лишь призраки, да что там, призраки призраков! Страсти наши — тени облаков на земле, желания — солома, гонимая ветром. Нужда и привычки влекут нас за собой, как поезд — блики своих огней… — пускай! Но есть нечто реальное и незыблемое, что не навеяно сном, вечное и несокрушимое. Это основа всей моей жизни — остальное подчинено ей или вовсе бессмысленно. Я любил ее, ту женщину из снов, и мы, я и она, умерли вместе!

Сон! Как может оно быть сном, если вся моя жизнь утонула в невыносимой печали, если все, ради чего я жил, стало бессмысленным и

ненужным?

Я верил, что у нас еще есть шанс сбежать, до самого ее убийства. Всю ночь и все утро, плывя с Капри на Салерно, мы говорили о бегстве. Мы были полны надежды и лелеяли ее до самого конца — надежду на совместную жизнь, подальше от борьбы и битв, от пустых безумных страстей и жестокого произвола окружающего мира: «ты должен» и «ты не должен». Мы возносились над ним, словно паломники к святыне, которая называется «любовь»...

Даже когда с борта корабля стало видно, что чистый лик величественного утеса Капри уже изуродован шрамами и рытвинами для орудийных платформ и огневых точек будущей крепости, мы еще не могли представить себе будущего побоища, хотя клубы дыма и пыли вздымались повсюду, выдавая яростную суматоху военных приготовлений. Впрочем, я заметил это и пустился рассуждать об увиденном. Скала все еще радовала глаз, несмотря на шрамы. Бесчисленные окна, арки и переходы тянулись ярус за ярусом на тысячу футов ввысь. Серая громада была покрыта ими, словно резьбой, которая перемежалась виноградными террасами, апельсиновыми и лимонными рощами, заросля-

ми агавы и опунции, пышной пеной цветущего миндаля. Из-под арки над Пиккола-Марина[147] выплывали другие корабли, а когда мы обогнули мыс и оказались в виду материка, то увидели новую цепочку суденышек, шедших по ветру на юго-запад. Вскоре их собралось великое множество, и самые дальние казались всего лишь мазками ультрамарина в тени восточного утеса.

«Любовь и здравый смысл, — заметил я, — бегут от безумия войны».

Мы увидели в южной стороне эскадрилью аэропланов, но тогда не придали ей значения. Череда крохотных точек в небе удлинялась к юго-востоку, пока не покрыла четверть горизонта. Теперь они казались тонкими голубыми полосками, которые то и дело ярко вспыхивали, одна или сразу множество, отражая солнечные лучи. Взмывая и снижаясь, они близились и росли в размерах, будто огромная стая морских чаек, или грачей, или других похожих птиц, но изумительно держали строй и все гуще заполняли небо. Гигантским облаком, похожим на острие копья, они перечеркнули солнце, затем развернулись к востоку и понеслись прочь, тая у горизонта. А севернее,

[147] Примечания: 147

Пиккола-Марина (правильно: Марина-Пиккола) — порт на южном берегу Капри.

над Неаполем, зависли в вышине, словно туча вечерней мошкары, боевые машины Грешема.

Казалось, все это имеет не большее отношение к нам, чем летящие стаи птиц.

Даже рокот орудий далеко на юго-востоке мало что для нас тогда значил.

В последующие дни в каждом новом моем сне мы все еще верили в лучшее, все еще надеялись отыскать укромный уголок, где могли бы спокойно жить и любить. Усталость и грязь, боль и страдания, страх при виде мертвецов и всеобщего хаоса — очень скоро война охватила весь полуостров — лишь укрепляли нас в решимости найти убежище. Моя девушка оказалась удивительно терпеливой и храброй. Она никогда прежде не сталкивалась с превратностями бродячей жизни, но обладала мужеством, которого хватало на нас обоих. Мы кочевали то здесь, то там, пытаясь выбраться из страны, где все было реквизировано полчищами вояк либо разграблено. Приходилось все время идти пешком. Поначалу встречались и другие такие же беглецы, но мы не присоединялись к ним. Кто-то пробирался на север, кто-то смешался с толпами крестьян на больших дорогах, некоторые обратились за помощью к военным, и многих мужчин мобилизовали. Мы

держались от всего этого подальше: чтобы уехать на север, не хватало денег, и я боялся, как бы моя девушка не угодила в руки солдатни. Первоначально мы высадились в Салерно, но путь в Каву[148] был перекрыт. Попытались добраться до Таранто[149] через перевал у Монте-Альбурно[150], но вернулись из-за нехватки еды и начали спускаться к болотам Пестума[151] — туда, где одиноко стоят древние храмы. У меня была смутная надежда раздобыть там лодку и снова выйти в море… Возле Пестума нас и застало сражение.

Мною овладела какая-то апатия. Стало ясно, что мы в ловушке. Великая война взяла нас в свои чудовищные клещи. Много раз в горах мы издали замечали пришедших с севера солдат, которые прокладывали дороги для доставки

---

[148] Примечания: 148

Кава — город к северо-западу от *Салерно*.

[149] Примечания: 149

Таранто — город в южноиталийской области Апулия, в верховьях одноименного залива Ионического моря.

[150] Примечания: 150

Монте-Альбурно — гора на юге итальянской области Кампанья, высотой 1742 м.

[151] Примечания: 151

Пестум (в древности Посейдония) — бывшая греческая колония в области Базиликата на юге Италии, в 55 км к западу от Сорренто и в 85 км к юго-востоку от Неаполя, знаменитая своими развалинами дорических храмов VI в. до н. э.

боеприпасов и устанавливали орудия. Однажды нам показалось, что в нас стреляли, приняв за шпионов, во всяком случае, пуля просвистела совсем близко. Не раз приходилось и укрываться в лесу от пролетавших аэропланов.

Впрочем, теперь все эти ночи страха и боли не имеют значения… В конце концов мы добрались до огромных заброшенных храмов в Пестуме, в дикой каменистой местности, поросшей колючим кустарником и такой плоской, что эвкалипты дальней рощи были видны до самых корней. Этот вид до сих пор у меня перед глазами. Моя спутница отдыхала под кустом, усталая и ослабевшая, а я стоял, пытаясь прикинуть, насколько далеко от нас стреляют. Тогда противники еще не сошлись и обстреливали друг друга издалека из нового ужасного оружия, которое дотоле не использовалось. Артиллеристы даже не видели своих целей, а летающие машины были способны… впрочем, чего от них ожидать, никто еще толком не представлял.

Я понимал, что мы очутились между двух армий и они сближаются. Устраивать привал в столь опасном месте было нельзя! Но сознавал я это как бы машинально, не слишком разбираясь в военных делах, а думал все больше о своей

спутнице, испытывая душевную боль. Впервые за долгий путь она ощутила свое бессилие и залилась слезами. Я слышал ее рыдания за спиной, но не оборачивался, считая, что ей стоит выплакаться, — она и так держалась слишком долго ради меня. Пускай отдохнет, думал я, и тогда мы двинемся дальше — я понятия не имел, какой ужас навис над нами. До сих пор вижу, как она сидела тогда: щеки ввалились, чудесные волосы рассыпались по плечам.

«О, если бы мы расстались! — всхлипнула она. — Если бы я отпустила тебя…»

«Нет! — ответил я. — Даже теперь я не раскаиваюсь и не раскаюсь никогда. Я сделал выбор и буду держаться его до конца».

И тогда…

В небе над нами что-то сверкнуло и взорвалось, а потом вокруг дробно застучало, словно пригоршня брошенного на пол гороха. Раскалывались камни, тучами взлетала кирпичная крошка…

Человек с бледным лицом на миг прикрыл ладонью рот, затем облизал пересохшие губы.

— При вспышке я обернулся… и увидел, как она поднялась на ноги. Встала, шагнула ко мне… как будто хотела дотянуться…

У нее было пробито сердце!

Рассказчик умолк, глядя на меня, и я вдруг ощутил неловкость, свойственную нам, англичанам, в таких случаях. Встретился с ним взглядом и отвернулся к окну. Молчание тянулось долго, а когда я вновь посмотрел на него, он сидел в углу, сложив руки на груди, и нервно кусал костяшки пальцев.

Затем принялся грызть ногти.

— Я поднял ее на руки, — продолжил он наконец, — и понес к храму… Мне казалось, это важно — не знаю почему. Наверное, потому, что это было святилище, столько веков простояло… Должно быть, она умерла почти мгновенно… но я… я весь путь разговаривал с ней.

Снова молчание.

— Помню те храмы, — вставил я. В самом деле, те молчаливые, залитые солнцем колоннады из ветхого песчаника сразу всплыли в памяти при его рассказе.

— Тот был коричневый… и высокий. С телом на руках я уселся на поваленную колонну… и уже ничего не говорил… Повылезали ящерки, начали бегать повсюду, как будто ничего не случилось… ничего особенного. Такая жуткая тишина… солнце в зените, тени замерли — даже от травы на

развалинах, — только в небе вокруг что-то грохотало и взрывалось.

Кажется, аэропланы прилетели с юга, и битва, насколько помню, сместилась на запад. Одну машину подбили, она перевернулась и стала падать. Я запомнил, хотя в тот момент это меня нисколько не интересовало. Аэроплан бился в воде, как раненая чайка, — я видел его темный силуэт сквозь колоннаду на фоне ярко-синего моря.

Несколько взрывов раздалось у берега, но потом все стихло. Каждый раз ящерки прятались и снова вылезали — вот и весь результат, разве что разок случайная пуля чиркнула о камень совсем рядом и оставила яркий след…

Когда тени стали длиннее, тишина будто еще сгустилась…

Что любопытно, я ни о чем не думал, — заметил он вдруг почти непринужденно. — Совсем! Сидел среди камней, держал тело на руках… и все. В каком-то оцепенении.

Даже не помню, как проснулся от того сна… как одевался в тот день. Уже в рабочем кабинете перед ворохом распечатанных писем вдруг поразился абсурдности своего занятия — ведь на самом деле я сидел в храме Пестума с мертвой женщиной на руках! Я машинально читал пись-

ма и тут же забывал, что в них…

Он умолк, теперь надолго. Я вдруг заметил, что наш поезд уже идет под уклон от Чок-Фарм к Юстону. Время пути пролетело незаметно… Чем же закончился странный сон? Повернувшись к попутчику, я спросил с нетерпением:

— А потом еще что-нибудь снилось?

— Да. — Он отвечал с усилием и еле слышно, будто заставляя себя договорить. — Один раз, и то лишь на несколько минут. Я словно пробудился от своего оцепенения и понял, что все так же сижу на камнях. Тело лежало рядом, совсем иссохшее, как будто не ее. Так скоро, представляете? Уже не ее… Издали слышались голоса… кажется. Так или иначе, я знал, что в наше уединение вторглись чужие, и это стало последним мучительным испытанием. Я встал и пошел сквозь колоннаду и вскоре увидел их — сначала одного, с желтым лицом, в грязно-белой, окантованной голубым форме, а потом еще нескольких. Они вскарабкались на вершину стены древнего города и засели на ней с оружием, осторожно выглядывая, — совсем крошечные снизу, освещенные солнцем. Дальше на стене я заметил и других, потом еще — длинную неровную цепь солдат. Тот, которого я увидел первым, встал и выкрикнул команду.

Солдаты спрыгнули со стены и, путаясь в колючках, побрели к храму. Офицер шел впереди. Приблизившись, заметил меня и остановился.

Поначалу я наблюдал с любопытством, но, когда понял, что они собираются войти в храм, шагнул вперед и воскликнул:

«Сюда нельзя! Здесь я. Охраняю покойную!»

Офицер уставился на меня, затем что-то вопросительно выкрикнул на незнакомом языке.

Я повторил свои слова.

Он снова что-то крикнул, но я застыл неподвижно, скрестив руки на груди. Приказав что-то солдатам и обнажив саблю, он направился ко мне.

Я жестом велел не приближаться, но он продолжал идти.

«Не нужно входить сюда! Это древний храм, здесь моя покойная», — вновь повторил я, терпеливо и четко.

Вблизи я разглядел его лучше: узкое лицо с черными усами, тускло-серые глаза, шрам на верхней губе. Грязный, небритый, он продолжал выкрикивать что-то невразумительное. Кажется, задавал какие-то вопросы.

Теперь я понимаю, что он боялся меня, но тогда мне это не пришло в голову. Когда я пытался

объясниться, он перебивал надменным тоном — должно быть, приказывал отойти в сторону. Затем попытался обойти меня, но я его удержал.

Он отпрянул с искаженным лицом.

«Дурак! — выкрикнул я. — Ты что, не понимаешь? Она мертва!»

В его взгляде сверкнула решимость… и жестокое удовлетворение. Он с ухмылкой поднял саблю — и ткнул в меня.

Человек с бледным лицом прервал свой рассказ.

Стук колес изменился, послышался скрип тормозов, вагон дернулся, качнулся. Реальный мир вступал в свои права, шумно напоминая о себе. В затуманившемся окне электрические огни осветили с высоких мачт серый туман, мимо потянулись ряды пустых неподвижных вагонов на запасных путях, а за ними вспыхнуло в унылых лондонских сумерках зеленое с алым созвездие семафора. Я снова глянул в искаженное лицо попутчика.

— Удар пришелся точно в сердце, — продолжал он. — Клинок пронзил мое тело, но я не ощутил ни страха, ни боли, а только изумление. Никакой боли, понимаете? Совсем!

За окном сперва быстро, потом все медленнее

поплыли желтые фонари платформы и наконец рывком замерли, освещая тусклые силуэты снующих туда-сюда людей.

— Станция Лондон-Юстон! — громко разнеслось по вагонам.

— Вы хотите сказать… — начал я.

— Да-да, никакой боли, укола или ожога, одно лишь изумление… а затем все заволокла тьма. Яростное, жестокое лицо передо мной, лицо убийцы, стало расплываться и отступать… Потом оно исчезло…

— Лондон-Юстон! — напомнил голос снаружи. — Конечная!

Дверь вагона открылась, впуская вокзальный шум, и перед нами возник носильщик. Хлопали другие двери, стучали копытами лошади кебменов, а издалека доносился ровный грохот колес по лондонской брусчатке. Мимо по платформе прогремела тележка с зажженными фонарями.

— Тьма, поток темноты разлился и поглотил все вокруг…

— Багаж, сэр? — осведомился носильщик.

— Такой, значит, был конец, — кивнул я.

Человек с бледным лицом помолчал, словно колеблясь, и почти неслышно произнес:

– *Нет*.

— В каком смысле?

— Я не мог добраться до нее. Она осталась там, с другой стороны храма. А потом…

— Что? — нахмурился я. — Что потом?

— Кошмары! — выкрикнул он. — Страшные, жуткие! Господи! Огромные птицы дрались над телом и рвали его на части.

1901/1911

Мой первый аэроплан

Перевод С. Антонова.

Мой первый аэроплан! Какие живые воспоминания из времен молодости он во мне пробуждает!

Далекой весной 1912 года я приобрел «Alauda Magna», или «Большого жаворонка», — так я его окрестил. В ту пору я был стройным юнцом двадцати четырех лет от роду, с пышной белокурой шевелюрой на безрассудно смелой юной голове, и выглядел весьма молодцевато, несмотря на слабое зрение, вынуждавшее меня носить очки на выразительно очерченном, выдающемся орлином носу — типичном носу летуна. Я хорошо бегал и плавал, был убежденным вегетарианцем, одежду предпочитал исключительно из чистой шерсти и стойко придерживался крайних взглядов по любому вопросу. В ту пору ни одно мало-мальски заметное начинание не обходилось без моего участия. У меня было два мотоцикла, и на увеличенной фотографии, относящейся к тем давним денькам и доселе украшающей ка-

минную полку в моем кабинете, я запечатлен в кожаном шлеме, защитных очках и перчатках с крагами. Кроме того, я слыл мастером по части управления боевыми змейковыми аэростатами и опытным скаутским вожатым на добровольных началах. Поэтому, как только вспыхнул авиационный бум, мне, само собой, захотелось ринуться в самое пекло.

До поры до времени я тихо роптал, видя слезы своей вдовицы-матери, и наконец объявил ей, что дольше сдерживаться не в силах.

— Если я не стану первым авиатором в Минтончестере, — заявил я, — то уеду отсюда. Я сын своей матери, и этим все сказано!

Не прошло и недели с момента этого разговора, как она согласилась.

Намедни в ящике стола, полном причудливых гравюр, запечатлевших не менее причудливые изобретения, я нашел один старый каталог. Какое это было время! Скептически настроенный мир наконец поверил, что может летать, и к легиону производителей автомобилей, мотоциклов и тому подобного добавились сотни новых, дотоле неизвестных фирм, выпускавших аэропланы любых требуемых форм и размеров. Цены тоже были впечатляющие — самое малое три с поло-

виной сотни гиней за аппарат! Я обнаружил в каталоге аэропланы и за четыреста пятьдесят, и за пятьсот гиней — притом что многие из них летали не лучше дубового бревна! Вдобавок они продавались без каких-либо гарантийных обязательств и с жалкой пародией на техническую документацию. В те ранние годы авиации некоторые компании — производители летательных машин платили своим пайщикам чуть ли не по двести процентов.

Как свежи в памяти тогдашние мечты — и сомнения!

Мечты были сплошь о волшебстве пребывания в воздухе. Я грезил о том, как изящно взмываю с мамочкиного выгона, как в конце концов перемахиваю через живую изгородь, кругами набираю высоту над грушевыми деревьями в саду викария и проношусь между церковным шпилем и холмом Уитикомб, направляясь к рыночной площади. Боже мой! Как все будут взирать на меня! «Снова молодой мистер Беттс! — скажут они. — Мы *знали*, что он сделает это!»

Я заложу вираж и, пожалуй, помашу платком. Потом я собирался пролететь над садами Лаптона к владениям сэра Дигби Фостера. Быть может, из окна дома выглянет одна его прелестная обита-

тельница…

Ах, молодость, молодость!

Сомнения же мои всецело касались конструкции аэроплана, который мне предстояло приобрести, и типа двигателя, который мне предстояло выбрать…

Помню, как я мчался на мотоцикле в Лондон, чтобы найти нужную мне модель и сделать заказ, как весь день лавировал между забрызганными грязью экипажами, мечась от одного офиса к другому, как росло мое раздражение, когда повсюду я слышал: «Распродано! Гарантировать поставку раньше первых чисел апреля не можем».

Как бы не так!

Наконец в скромной конторе на Блэкфрайерс-роуд я купил «Alauda Magna». Заказ на него был передан этой фирме другим производителем аэропланов в одиннадцатом часу утра из-за кончины покупателя, и, чтобы заполучить его, я превысил возможности своего скромного банковского счета — даже сегодня я не признаюсь, сколько тогда уплатил. Бедная мамочка! В течение недели детали аппарата были доставлены на ее выгон и двое не слишком смышленых механиков собрали из них летающую машину.

Какую радость я испытал, увидев его! И чувство

предвкушения опасного предприятия, заставившее меня задрожать. Я не брал уроков летного мастерства — все квалифицированные инструкторы уже были наняты за огромные деньги на много месяцев вперед; но останавливаться перед такими препятствиями — не в моем характере. Я не выдержал бы и трехдневной отсрочки полета. Мамочку ради ее спокойствия я заверил, что брал уроки, — грош цена сыну, если он не способен солгать во имя родительского блага.

Помню то восторженное смятение, которое я испытывал, слоняясь вокруг крылатой машины, приобретавшей все более законченный вид, и сознавая, что добрая половина жителей Минтончестера глазеет на меня поверх зеленой изгороди; от вторжения зевак удерживали лишь новый щит с предупреждающей надписью да хмурый взор Снейпа, нашего верного садовника, который косил траву и одновременно нес караульную службу, препятствуя набегам на нашу лужайку. Закурив сигарету, я глубокомысленно наблюдал за действиями механиков. Стремясь уберечь аппарат от посягательств незваных гостей, мы наняли безработного старика Снортикомба в качестве ночного сторожа. Не следует забывать: в те дни аэроплан был для всех вокруг знамением

и чудом.

Для того времени «Alauda Magna» смотрелся великолепно, хотя сегодня, полагаю, его облик вызвал бы саркастический смешок у любого школьника в стране. Это был моноплан, в общих чертах напоминавший изобретение Блерио[152], снабженный превосходнейшим, на диво сработанным семицилиндровым мотором фирмы «Джи-кей-си» в сорок лошадиных сил с маховиком марки «Джи-би-эс». Я около часа пытался отрегулировать мотор, который издавал глухой рык, немного напоминавший треск пулемета, — покуда викарий не прислал сказать, что он пишет проповедь о покое и умиротворении и из-за шума никак не может сосредоточиться на избранной теме. Я смиренно принял его упрек, дал мотору последний шанс завестись, после чего окинул аэроплан долгим взглядом и отправился бродить по городу.

Несмотря на все старания держаться скромно, я не мог не чувствовать, что нахожусь в центре всеобщего внимания. Я проявил беспечность, забыв переодеться, и на мне были галифе и

---

[152] Примечания: 152

Луи *Блерио* (1872–1936) — французский авиатор, изобретатель и предприниматель; 25 июля 1909 г. на моноплане собственной конструкции впервые перелетел через пролив Ла-Манш.

гетры, купленные специально для полетов, а также кожаный шлем с «ушками», которые не были пристегнуты и позволяли слышать, что говорится вокруг. Не успел я дойти до середины Хай-стрит, как за мной вытянулась хвостом чуть ли не половина жителей Минтончестера моложе пятнадцати лет.

— Собираетесь полететь, мистер Беттс? — спросил один щекастый мальчуган.

— Как птица! — ответил я.

— Не летите, пока мы не вернемся из школы, — попросил другой.

Тот вечер стал для меня чем-то вроде путешествия короля по стране. Я навестил Лаптона, пожилого ученого-садовода, и от меня не укрылось, что он расценивает мой визит как большую честь для себя. Он продемонстрировал мне свою новую оранжерею, упомянув, что теперь у него целых три акра теплиц, и показал всевозможные хитрые приемы, которые он применял для интенсивного роста; потом мы проследовали в дальний конец его старого цветника и полюбовались на пчел. Когда я вышел на улицу, оказалось, что моя свита все еще ожидает меня и к тому же успела пополнить свои ряды. Обогнув «Параморз», я заглянул в таверну «Бык и лоша-

ди» — просто так, пропустить стаканчик содовой с лимонным соком. Кругом только и говорили что о моем аэроплане. Стоило мне переступить порог, как посетители на мгновение умолкли, а затем засыпали меня вопросами. Забавно сегодня вспоминать, какое царило тогда возбуждение. Я удовлетворил их интерес, стараясь не слишком важничать, после чего направился с мисс Флайтмен в комнату для коммивояжеров, где мы принялись листать различные иллюстрированные журналы, сравнивая изображенные там аэропланы с моим аппаратом, — очень тихо и скромно. Все, буквально все, от мала до велика, подталкивали меня к полету.

Я особо подчеркиваю это потому, что, как мне скоро довелось узнать, приливы и отливы общественной благосклонности относятся к числу самых необъяснимых и переменчивых явлений на свете.

Лучше прочих мне помнится старый Чизмен, колбасник (чьих свиней я впоследствии задавил), снова и снова повторявший полным убежденности тоном: «Взлететь вам не составит никакого труда, не сомневайтесь. Взлететь будет нетрудно». Приговаривая это, он подмигивал и кивал другим видным лавочникам, собравшимся во-

круг.

Взлететь и правда не составило труда. «Alauda Magna» оказался легок на подъем и, едва позади меня раздался рокот вращающегося мотора, оторвался от земли — хлоп, хлоп, — колеса приподнялись над полозьями, и аэроплан быстро понесся над лужайкой в сторону живой изгороди, окружавшей дом викария. Он двигался вперед, покачиваясь из стороны в сторону, точно дородная, но очень энергичная дама.

Я мельком увидел на нашей веранде свою храбрую мамочку, пытавшуюся сдержать слезы и полную гордости за меня; рядом с ней стояли обе служанки и старина Снейп. Потом мне пришлось сосредоточить все внимание на штурвале, чтобы не завалиться на груши в саду викария.

Еще при взлете я почувствовал несколько еле ощутимых толчков, и мне почудилось, будто я слышу гулкий удар по нашему новому предупредительному щиту с надписью «Лица, вторгшиеся на данную территорию, будут преследоваться по закону»; я также увидел толпу людей на дорожке между изгородями, разбегавшихся кто куда при моем оглушительно громком приближении. Но лишь после того, как полет завершился, я узнал, до чего додумался этот болван Снортикомб. Долж-

но быть, он решил, что чудовище необходимо держать на привязи (объяснить по-другому ход его мысли я не могу), и прикрепил к концам крыльев канаты в дюжину ярдов длиной, прочно привязав их к двум железным стойкам, на которые обычно натягивали сетку для игры в бадминтон. Взлетая, «Жаворонок» рывком выдернул эти стойки из земли, и теперь они волочились за аэропланом, плясали, подскакивали и снова ныряли вниз — и отчаянно колошматили по всему, что оказывалось в пределах досягаемости. Как мне потом рассказывали, на узкой дорожке сильнее всего досталось старику Темплкому — на лысую голову бедняги обрушился жестокий удар. Затем мы раскурочили парники с огурцами в огороде викария, зашибли насмерть его попугая, рассеяв по ветру перья, раздробили верхнюю раму в окне его кабинета и едва не задели служанку, которая как раз высунулась из окна спальни в верхнем этаже. Разумеется, в те минуты мне об этом было неведомо — все вышеупомянутое происходило гораздо ниже линии полета. Я старался обогнуть дом викария (что удалось мне чудом) и не зацепить груши в дальнем конце сада (им я нанес легкую травму, и прицепленный к аэроплану груз оставил за собой россыпь листьев

и веток). Хвала небесам, что маленький мотор фирмы «Джи-кей-си» был столь прочным!

После этого я некоторое время летел без помех, набирая высоту.

Управлять машиной оказалось намного труднее, чем я ожидал; мотор адски ревел, а штурвал дергался и сопротивлялся, как живое существо. Но я все же сумел направить аэроплан в сторону рыночной площади. Мы с рокотом пронеслись над лавкой зеленщика Станта — железные стойки несколько переделали его складское помещение, безжалостно превратив черепицу кровли в крошево, а дымовую трубу — в груду битого кирпича, лавиной рухнувшую на оживленный тротуар. Потом аппарат нырнул вниз — полагаю, одна из стоек на миг зацепилась за стропила крыши Станта, — и лишь ценой немалых усилий я сумел избежать столкновения с конюшнями «Быка и лошадей». Впрочем, это не совсем так: напоминающие лыжи посадочные полозья скользнули по коньку крыши, а левое крыло погнулось о верхушку дымовой трубы и в неуклюжих попытках высвободиться помялось еще сильнее.

Как мне позднее рассказывали, привязанные к аэроплану стойки промчались над запруженной

людьми рыночной площадью в самой что ни на есть дьявольской манере, поскольку машина сперва сделала нырок, а затем опять устремилась вверх, — но мне сдается, что эта часть истории грешит изрядными преувеличениями. Никто не погиб, и между моим появлением над лавкой Станта, скольжением по крыше конюшни и столкновением с теплицами Лаптона прошло не больше полуминуты. Если бы толпа внизу проявила разумную осторожность, вместо того чтобы глазеть на меня, никто бы не пострадал. Не оповещать же заранее всех вокруг, что их может огреть железной штуковиной, которой вздумалось отправиться со мной в полет, — у меня и без того забот хватало. Если кто и должен был предупредить их, так это болван Снортикомб. Сказать по правде, все мое внимание было приковано к поврежденному невзначай левому крылу и к перебоям в работе одного из цилиндров, о чем я догадался по угрожающе-прерывистому рокоту мотора.

Пожалуй, мне можно поставить в укор, что старый Дадни навернулся с империала гостиничного омнибуса, однако за дальнейшие маневры последнего (он, проредив рыночные ряды, врезался в витрину лавки Чизмена) я определенно

никакой ответственности не несу. Равным образом нельзя упрекать меня в том, что толпа дурно воспитанных бездельников решила удариться в бегство через груды беспечно расставленной здесь и там глиняной посуды и низвергнуть палатку, где торговали маслом. На меня просто свалили вину за их неприглядную выходку.

Утверждение о том, что я «упал» на теплицы Лаптона или «проехался» по ним, не вполне точно. «Срикошетил» — так одним словом можно описать мой путь через его участок.

Находясь внутри этой большой, паривше в воздухе конструкции, которая, если так можно выразиться, составляла со мной единое целое и, наперекор всем моим стараниям управлять ею, то взмывала вверх, то с треском падала на крышу очередной теплицы, я испытывал в высшей степени странное чувство. Наконец после пятого или шестого наскока я ощутил безграничное облегчение: машина стала уверенно набирать высоту!

Все неприятности, казалось, тотчас забылись. Сомнения в том, пригоден ли «Alauda Magna» для полета, исчезли: в воздушной стихии он, бесспорно, чувствовал себя вольготно. Мы пророкотали над стеной, которой замыкался участок;

железные стойки, волочившиеся позади, все еще молотили по земле, но, кроме удара по корове, издохшей на следующий день, не причинили ни малейшего вреда никому и ничему на лугу Чизмена. Затем я начал подниматься — медленно, но неуклонно — и, убедившись, что аэроплан послушен моей воле, спикировал на свинарники Чизмена, желая еще раз продемонстрировать согражданам свое мастерство.

Я намеревался взлететь по спирали над деревьями и постройками и заложить крутой вираж вокруг церковного шпиля. До этого, сосредоточенный на нырках и рывках чудовища, которым управлял, и оглушенный шумом мотора, я почти не обращал внимания на то, что происходило внизу. Теперь же мне удалось различить небольшую группу людей во главе с потрясавшим вилами Лаптоном, которая наискось пересекала по краю луг Чизмена, и я с недоумением спросил себя, кого им вздумалось преследовать.

Устремляясь все выше, рокоча и покачиваясь, я окинул взглядом Хай-стрит и увидел ужасающий беспорядок, царивший на рыночной площади. В ту минуту я еще не связывал этот несусветный разгром со своим полетом.

Сотрясение от удара о флюгер заставило мотор

заглохнуть. Ума не приложу, как меня угораздило налететь на эту злосчастную вертушку; возможно, погнутое о крышу дома Станта левое крыло помешало машине слушаться штурвала. Как бы то ни было, я ударился об эту аляповатую штуковину, покорежил ее и затем на протяжении нескольких бесконечно долгих секунд ожидал, что вот-вот рухну прямиком на рыночную площадь. С величайшим трудом я все-таки удержал аэроплан в воздухе (полагаю, люди, которых я не раздавил, могли бы выдавить из себя хоть слезинку благодарности за это), понесся дальше, цепляясь за верхушки деревьев Уитикомба, миновал их и понял, что мотор глохнет. Времени обозревать окрестности в поисках пригодного для приземления места не оставалось — равно как и возможности изменить курс. Я же не виноват в том, что четверть населения Минтончестера высыпала на луг Чизмена. Это был единственный шанс посадить машину, не разбившись в лепешку, и я им воспользовался. Я круто спланировал вниз, сделав все, что было в моих силах.

Не исключено, что при посадке я сбил с ног нескольких человек; но у технического прогресса есть свои издержки!

И да, мне пришлось угробить свиней Чизмена.

Но выбор был невелик: или приземлиться посреди стада, что позволяло резко затормозить, или с разгону врезаться в располагавшиеся далее свинарники из гофрированного железа. Во втором случае мне нипочем не удалось бы уцелеть. А свинки и так рождены для того, чтобы отправиться на убой.

Когда аэроплан замер на месте, я с трудом поднялся во весь рост и обернулся. С первого взгляда мне стало ясно, что сограждане вознамерились самым неблагодарным образом отобрать у меня скромные лавры учредителя Дня авиации.

Воздух полнился визгом пары свиней, придавленных аэропланом, и криками столпившихся поблизости зевак. На среднем плане я увидел Лаптона, который сжимал вилы с очевидным намерением воткнуть их мне в живот. В минуты опасности я всегда сохраняю хладнокровие и сообразительность. Вот и на сей раз я пулей выскочил из бедного «Alauda Magna», пронесся через свинарник, пересек сад Фробишера, перемахнул через стену, ограждающую двор за коттеджами Хинкса, проник через черный ход в полицейский участок — и проделал все это в мгновение ока, оставив своих преследователей не менее чем в пятидесяти футах позади меня.

— Привет! — сказал инспектор Нентон. — Угрохал свою колымагу?

— Нет, — ответил я, — но у людей, похоже, что-то недоброе на уме. Я хочу, чтобы меня заперли в камере…

И знаете ли, целых две недели мне не позволяли приблизиться к собственной машине. Когда первоначальное всеобщее возбуждение немного улеглось, я покинул полицейский участок и поспешил к дому — окольной дорогой, через Лав-лейн и Чарт, дабы недовольство горожан не вспыхнуло с новой силой. Мамочку я, само собой, нашел в страшном негодовании от того, как со мной обошлись. И вот, представьте себе, я очутился на осадном положении в комнатах второго этажа, а «Alauda Magna», мой выносливый малютка, виднелся в отдалении на лугу Чизмена, и все кому не лень шастали вокруг и глазели на него — все, кроме меня! Чизмен вообразил, что аппарат — его трофей. Как-то ночью мое сокровище сильным ветром опять швырнуло через живую изгородь на теплицы Лаптона, после чего тот прислал мне глупейшую записку, гласившую, что, если мы не уберем аэроплан с его участка, он его продаст с целью возместить убытки; в следовавшей далее пространной тираде говорилось

о причиненном ущербе и привлечении к делу поверенного. Мамочка поспешила к Клампам — перевозчикам мебели из Апнортон-Корнер, те раздобыли подводу для транспортировки бревен, и к моменту ее прибытия общественные настроения успели смягчиться настолько, что я смог лично руководить возвращением машины.

Аэроплан раскинулся над развалинами земледельческих построек Лаптона, точно огромный мотылек, почти невредимый, если не считать нескольких пробоин в корпусе, погнутых стоек и ребер левого крыла да сломанного полоза. Ну и конечно, он был забрызган свиной кровью и грязью.

Инстинктивно, не медля ни секунды, я кинулся осматривать мотор, и к тому времени, когда приехала подвода, он работал идеально.

Шествие домой вернуло мне некоторую популярность среди сограждан. Кучка здоровяков помогла взгромоздить и надежно установить «Alauda Magna» на подводе, я вскарабкался в кресло пилота, чтобы следить за равновесием машины, и семерка лошадей разной масти потащила ее восвояси. Мы тронулись в путь около часу дня, и собравшаяся вокруг детвора разразилась возгласами и насмешками. Мы не могли

проследовать по узкой Пукс-лейн с ее высокими изгородями, за одной из которых находился дом викария, и направились в объезд — через луг Чизмена к пустоши Стоуксов и общинному выгону.

И тут я поступил весьма неблагоразумно (теперь-то, конечно, я это сознаю) — но, сидя в своей триумфальной колеснице, в средоточии людской толпы, я не смог удержаться от волнующего упоения славой. На деле я собирался всего-навсего, крутанув мотор, выразить ликование, однако меня подняло в воздух. Р-р-р! Как будто что-то взорвалось, и на тебе! — я оторвался от подводы, воспарил над выгоном и устремился во второй полет.

— Боже! — невольно вырвалось у меня.

Я решил набрать небольшую высоту, развернуться и посадить машину на мамочкин выгон, но первые аэропланы нередко вели себя крайне непредсказуемо.

Что ж, в конце концов, приземлиться в саду викария было не худшим выходом, и именно так я и сделал. И я не усматриваю своей вины в том, что вся семья викария и целая компания его друзей в этот момент обедали на лужайке. Они, понятное дело, устроили это с расчетом увидеть обратный путь «Alauda Magna» в родные пенаты,

не выбегая из дому. Они явно ликовали, желая позлорадствовать над каждой подробностью моего позорного возвращения. Это ясно уже из того, где они накрыли стол. И если Судьбе было угодно, чтобы возвращение оказалось менее позорным, чем они ожидали, и швырнуть меня на их головы, я тут ни при чем.

Они ели суп, очевидно собираясь оставить меня на десерт.

До сего дня не могу понять, как викарий сумел уцелеть. Передняя кромка левого крыла зацепила его за подбородок и отбросила назад на целую дюжину ярдов. Вероятно, его шейные позвонки были из стали; но если и так, остается только диву даваться, что ему не оторвало голову. Возможно, он держался за что-нибудь снизу, — впрочем, ума не приложу за что. Не будь я зачарован видом его лица с вытаращенными глазами, я не врезался бы в веранду, — но это зрелище застало меня врасплох, и столкновения было не избежать. Крушение удалось на славу. Деревянная веранда, должно быть, прогнила под слоем зеленой краски; так или иначе, и она, и вьющиеся розы, и гонт, покрывавший крышу, и все прочее с треском сломались и обрушились, словно театральная декорация, а я, мотор и добрая половина корпу-

са машины через французские окна гостиной влетели внутрь. Мне крупно повезло, что окна были распахнуты. Нет ничего неприятнее, чем пораниться осколками, пробив тонкое оконное стекло; думаю, мне следовало это знать. Тут на меня хлынул поток неприятных упреков и нравоучений — хорошо еще не из уст викария, который был выведен из строя. Ах, какие глубокомысленные, высокопарные сентенции прозвучали! Но возможно, эти излияния способствовали тому, что страсти вскоре улеглись.

Так закончил свои дни «Alauda Magna», мой первый аэроплан. Я даже не дал себе труда забрать его с места крушения; мне не хватило на это мужества…

А потом разразилась буря.

Идея, по-видимому, заключалась в том, чтобы заставить мою мамочку и меня заплатить за все, что обрушилось или сломалось в Минтончестере когда бы то ни было с начала времен. Да-да! И за каждое ни с того ни с сего подохшее животное, которое смог припомнить старейший из жителей городка, — тоже. Тарифы впечатляли не меньше. Коровы оценивались в двадцать пять — тридцать фунтов и выше; свиньи шли по фунту за штуку, без скидки за убийство оптом; веранды… веранды

устойчиво держались на отметке в сорок пять гиней. Столовые сервизы тоже котировались высоко — равно как и укладка черепицы и другие виды строительных работ. Похоже, некоторым согражданам показалось, что над Минтончестером взошла заря невиданного процветания — ограниченного разве что нашей с мамочкой платежеспособностью. Викарий попытался было прибегнуть к традиционной форме шантажа, подразумевавшей «распродажу для покрытия убытков», — на что я кротко выразил согласие.

Я ссылался на неисправность мотора, на Провидение, всеми правдами и неправдами старался переложить вину на фирму с Блэкфрайерс-роуд, а также, дабы дополнительно себя обезопасить, подал в суд заявление о банкротстве. За мной не числилось никакой собственности (хвала мамочке!), кроме двух мотоциклов (эти негодяи их конфисковали), темной комнаты для проявки фотопленок да множества книг в переплетах — сплошь по аэронавтике и вопросам прогресса цивилизации. Мамочку, само собой, привлечь к ответственности было невозможно — не она же затеяла полет над городом!

Несмотря на все это, неприятности продолжали сыпаться на меня точно из рога изобилия.

Стоило мне выйти на улицу, как всякий сброд из школяров, подносчиков клюшек для гольфа и неоперившихся юнцов принимался горланить мне вслед; глупцы вроде старика Лаптона, которым было невдомек, что человек не может расплатиться тем, чего у него нет, угрожали мне физической расправой; жены различных джентльменов, полагавшие, что их благоверным следует отдохнуть от трудов праведных из-за якобы полученных ими увечий, ежедневно донимали меня; я был завален всевозможными судебными повестками, где перечислялись всевозможные обвинения, одно нелепее другого: злонамеренное членовредительство, убийство по неосторожности, умышленная порча чужого имущества, нарушение границ частных владений… Чтобы разом со всем этим покончить, я покинул Минтончестер и уехал в Италию, оставив мою бедную мамочку улаживать обрушившиеся на меня невзгоды с присущей ей невозмутимостью и твердостью духа, — что она, надо признать, и делала, не жалея сил.

Так или иначе, получить с нее сполна согражданам не удалось. Однако ей все же пришлось распрощаться с нашим домиком в Минтон-

честере и присоединиться ко мне в Арозе[153], несмотря на ее нелюбовь к итальянской кухне. По прибытии она обнаружила меня в шаге от славы, поскольку я успел установить своего рода рекорд, свалившись за три дня в три ледниковые расселины. Но это уже совсем другая история.

Полагаю, что мой первый полет — от старта до приземления — обошелся мамочке в девятьсот с лишним фунтов. Если бы я не воспрепятствовал ее первоначальному намерению возместить все убытки, ей пришлось бы выложить три тысячи… Но приключение стоило этих затрат. Да, стоило. Хотелось бы пережить все это заново! И наверняка не один старый чудак вроде меня сидит сейчас дома и тоскует по тем счастливым, полным опасных авантюр и навсегда ушедшим временам, когда любой юнец, наделенный удалью и отвагой, был волен отправиться в полет куда угодно — и разнести вдребезги что угодно, — а потом на досуге подсчитывать, во сколько ему это обойдется, и размышлять о том, что его за это ждет.

1910

---

[153] Примечания: 153

Ароза — коммуна в швейцарском кантоне Граубюнден, высокогорный альпийский курорт; ее локализация в Италии — авторская вольность.

Странная история с газетой мистера Браунлоу

Перевод А. Бродоцкой.

1

Я назвал свой рассказ «Странная история», поскольку история эта необъяснима. Когда я услышал ее от Браунлоу в первый раз — урывками, — мне сразу подумалось, что она странная и невероятная. Однако оставаться невероятной она упорно отказывается. Сначала я напрочь отверг услышанное, потом засомневался и, тщательно все пересмотрев, капитулировал под натиском доказательств, затем отверг все эти доказательства как искусную мистификацию и заявил, что не желаю больше ничего знать об этой истории, после чего был вынужден вернуться к ней из непреодолимого любопытства и проделать все заново — и в конце концов волей-неволей пришел к выводу, что Браунлоу говорил правду (насколько он вообще способен говорить правду). Вот только правда получается какая-то странная — странная

и будоражащая воображение. Чем достовернее становится эта история, тем она страннее. Она не дает мне покоя. У меня от нее лихорадка; она заразила меня — не микробами, а вопросительными знаками и неутоленным любопытством.

Признаться, Браунлоу склонен к розыгрышам. Я знаю, что ему доводилось сочинять небылицы. Однако я не припомню, чтобы он сочинял что-то столь же замысловатое и последовательное. На такое Браунлоу попросту не способен — он слишком ленив и легкомыслен. И он бы рассмеялся. Рано или поздно он обязательно рассмеялся бы и выдал себя. Настаивая на правдивости поведанной им истории, он ничего не выигрывал. Так или иначе, его честь никак не затрагивалась. И вдобавок есть же этот клочок газеты, этот надорванный конверт с адресом…

Я сознаю, что испорчу многим читателям впечатление от своего рассказа, но не могу не упомянуть, что в тот вечер, когда все началось, Браунлоу определенно находился в легком подпитии. Едва ли он был в состоянии делать холодные взвешенные наблюдения и тем более объективно описывать происходящее. Все виделось ему в преувеличенно радужном свете. Он что-то замечал, восторгался и тут же переключался на

другое. Пределы пространства и времени были ему нипочем. Разговаривали мы уже за полночь. Браунлоу только что отужинал с друзьями.

Я спросил его, кто эти друзья, и в ответ он назвал два-три вполне ожидаемых имени. Просто друзья, как сказал мне Браунлоу, «которые к случившемуся не имеют никакого отношения». Как правило, в таких случаях я не требую разъяснений, но тут сделал исключение. Понаблюдал за собеседником и, улучив момент, повторил вопрос. Нет, это был самый заурядный ужин, разве что на удивление хороший. Его устроил Редпат Бейнс, адвокат, в своем доме в Сент-Джонс-Вуд. Как выяснилось, там присутствовал и Гиффорд из «Ивнинг телеграф», с которым мы шапочно знакомы, от него-то я и узнал потом все, что хотел. Застольная беседа была искрометной и несколько сумбурной, и Браунлоу, преисполнившись вдохновения, изобразил, как его тетушка леди Клизерхолм распекает нерадивого водопроводчика во время ремонтных работ в поместье Клизерхолм. Эти детские воспоминания были встречены весьма весело — Браунлоу всегда прекрасно изображал леди Клизерхолм, — и Браунлоу ушел из гостей явно обрадованный своим успехом в обществе и приятной атмосфе-

рой ужина в целом. Не упоминались ли во время трапезы Будущее, Эйнштейн[154], Дж. У. Данн[155], спросил я, не затрагивались ли другие серьезные и возвышенные темы? Нет, не упоминались и не затрагивались. Может быть, заходила речь о современных газетах? Нет. Среди собравшихся не оказалось никого, кто был бы склонен ко всякого рода розыгрышам, а уехал Браунлоу один, на такси. Это мне особенно хотелось узнать. Такси благополучно доставило его к главному входу Сассекс-Корта.

Ничего из ряда вон выходящего не произошло и во время его поездки в лифте на шестой этаж Сассекс-Корта. Я спросил дежурного лифтера, сказал ли Браунлоу на прощание: «До свидания». Лифтер не помнил. «Обычно он говорит: „Всего доброго“», — заметил он и, как ни старался, так

---

[154] Примечания: 154

Знаменитый немецкий и американский физик Альберт *Эйнштейн* (1879–1955) упомянут здесь как создатель специальной (1905) и общей (1907–1916) теории относительности, постулировавших, в частности, различное течение времени в разных инерциальных системах отсчета.

[155] Примечания: 155

Джон Уильям Данн (1875–1949) — ирландский авиаинженер, философ, писатель, автор упоминаемой ниже книги *«Эксперимент со временем»* (1927), в которой постулирована идея одновременности прошлого, настоящего и будущего, доступной человеческому сознанию лишь в состоянии *прекогниции* (проявляющейся во сне паранормальной способности получать знания о будущих событиях).

и не сумел дополнить свой ответ чем-либо достойным внимания. И это все, что мне удалось выведать стороной насчет состояния Браунлоу в тот вечер. Все остальное я узнал от него самого. Добытые мною улики позволяют сделать лишь один вывод: пьян он, безусловно, не был. Однако он словно слегка приподнялся над непосредственными реалиями человеческого бытия, которые, как правило, сопряжены с тяготами и невзгодами. Жизнь озаряла его мягким теплым сиянием, и всякого рода неожиданности он принял бы легко, охотно и с восторгом.

Браунлоу прошел по длинному коридору — красный ковер, яркий свет, по обе стороны дубовые двери с изящными латунными номерами на каждой. Я уже несколько раз проходил с ним по этому коридору. Браунлоу имел обыкновение, чтобы скрасить себе путь по нему, с самым серьезным видом приподнимать шляпу у каждой двери, приветствуя своих невидимых и незнакомых соседей, и негромко, но отчетливо называть их забавными, пусть даже порой непочтительными, прозвищами собственного изобретения, а также желать им всяческих благ и одаривать небольшими комплиментами.

Наконец он добрался до своей двери — номер

сорок девять — и без особых трудностей вошел внутрь. Включил свет в передней. По натертому дубовому паркету и по краю китайского ковра рассыпались несколько писем и рекламных проспектов — вечерняя почта. Горничная, она же экономка, чья комната находилась в другом крыле, взяла на этот вечер отгул, иначе эти письма были бы собраны и сложены на конторке. А в ее отсутствие они валялись на полу. Браунлоу закрыл за собой дверь — либо она закрылась сама, — снял пальто и шарф, нахлобучил шляпу на голову греческому колесничему, чей бюст украшает его переднюю, и принялся собирать письма.

Это ему тоже удалось безо всяких злоключений. Он был несколько раздосадован, не обнаружив «Ивнинг стандард». Браунлоу говорит, что всегда подписывается на дневной выпуск «Стар», чтобы читать за чаем, а также на вечерний выпуск «Ивнинг стандард», чтобы обращаться к нему перед сном, пусть даже ради одной лишь карикатуры Лоу[156]. Он сгреб все конверты и

---

[156] Примечания: 156

Дэвид Александер Сесил *Лоу* (1891–1963) — знаменитый новозеландский художник, работавший в жанре политической карикатуры; с 1919 г. проживал в Великобритании; в 1927–1950 гг. был штатным карикатуристом ежедневной консервативной газеты *«Ивнинг стандард»*.

забрал их с собой в небольшую гостиную. Там он включил электрический обогреватель, смешал себе некрепкий виски с содовой и отправился в спальню, где надел шлепанцы и сменил смокинг на жакет из шерсти ламы с застежками-клевантами, затем вернулся в гостиную, зажег сигарету и уселся в кресло у лампы для чтения — изучить корреспонденцию. Все эти подробности он вспоминает очень точно. Это были ритуалы, которые он повторял бессчетное множество раз.

По складу ума Браунлоу не из тех, кто всегда поглощен своими мыслями: он интересуется внешним миром. Он из тех живчиков-экстравертов, которые распечатывают и читают все свои письма и рекламные проспекты, как только заполучат. Днем их перехватывает секретарша и сама разбирается с большинством из них, но по вечерам Браунлоу, вырвавшись из-под ее власти, поступает как хочет — то есть вскрывает все.

Он надорвал несколько конвертов. Официальное извещение о доставке делового письма, которое он надиктовал накануне, письмо от его стряпчего с просьбой прояснить некоторые подробности сделки, которую он намеревался заключить, предложение от неизвестного джентльмена с аристократической фамилией

ссудить Браунлоу деньгами, для чего достаточно всего лишь долговой расписки, а также уведомление о проекте пристройки крыла к зданию клуба.

— Ничего нового, — вздохнул Браунлоу. — Ничего нового. Какая же скука все эти письма!

Как любой, кто пробирается по пустынным равнинам среднего возраста, он всегда надеялся, что в почте найдутся какие-нибудь приятные сюрпризы, — но до сих пор такого не случалось. И тут — как он выразился в беседе со мной, inter alia[157], — в руках у него оказалась прелюбопытная газета.

2

Видом она отличалась от обычной газеты, но не настолько, чтобы нельзя было узнать в ней газету, и Браунлоу, по его словам, удивился, что раньше не заметил ее. Она была в большом светло-зеленом конверте, правда без марок, — очевидно, доставил его не почтальон, а кто-то другой. (Конверт этот сохранился, я видел его.) Браунлоу успел вскрыть конверт и только потом заметил, что адресован он не ему.

---

[157] Примечания: 157
Среди прочего *(лат.).*

Некоторое время он смотрел на этот адрес, в котором было что-то странное. Он был напечатан каким-то необычным шрифтом: «Эван О'Хара, м-р, Сассекс-Корт, 49».

— Имя не то, — произнес мистер Браунлоу. — Адрес тот. Подозрительно. Сассекс-Корт, сорок девять… Наверное, моя «Ивнинг стандард» попала к нему… Обмен — не кража.

Он положил надорванный конверт к неотвеченным письмам и развернул газету.

Название ее было написано крупными, несколько стилизованными черно-зелеными буквами; шрифт сродни тому, которым напечатан адрес. Однако, когда Браунлоу прочитал название, оказалось, что это «Ивнинг стандард»! Или по крайней мере «Ивн стандрд».

— Что за чепуха, — сказал Браунлоу. — Это какая-то ирландская газетенка, чтоб ей пусто было. Ох уж мне эти ирландцы, даже писать толком не научились…

Думаю, у него мелькнула мысль (подсказанная, вероятно, тем, что конверт и типографская краска были зеленые), что это какая-то дублинская

мошенническая лотерея[158].

Тем не менее Браунлоу всегда читал все, что можно было прочитать. Он изучил передовицу. На ней во всю ширину красовался заголовок: «Уилтонский бур достиг семимильной отметки. Успех обспечен».

— Нет, — сказал Браунлоу. Это, должно быть, нефть… Какие они все-таки безграмотные, эти нефтедобытчики: пропустили «е» в «обеспечен».

Он ненадолго положил газету на колени, подкрепился глотком виски, зажег вторую сигарету, а затем откинулся в кресле, чтобы бесстрастно ознакомиться с попыткой всучить ему акции нефтяной компании: в том, что речь идет именно об этом, он не сомневался.

Но это оказалось вовсе не нефтяное предприятие. До Браунлоу начало доходить, что это что-то куда более удивительное, чем нефть. Он обнаружил, что перед ним самая настоящая вечерняя газета, где, насколько он мог судить по беглому просмотру, рассказывалось о событиях в каком-то ином мире.

---

[158] Примечания: 158

С давних времен национальным цветом Ирландии является зеленый — ассоциирующийся с трилистником клевера, при помощи которого, как гласит предание, святой Патрик, вернувшись в 432 г. на остров проповедовать христианскую веру, объяснял жителям страны сущность Святой Троицы.

На миг у Браунлоу возникло ощущение, будто он вместе с креслом и маленькой гостиной парит в каком-то обширном пространстве, затем все вокруг словно бы снова стало осязаемым и неподвижным.

У него в руках очевидно и несомненно была газета, отпечатанная в типографии. Шрифт немного непривычный, бумага не так шуршит и на ощупь не такая, как обычная газетная, но это точно газета. Материал располагался в три или четыре колонки — как именно, Браунлоу не вспомнил бы ни за что на свете, — и под общей шапкой на полосе имелись отдельные заголовки. В низу одной из колонок был какой-то рисунок в стиле ар-нуво — возможно, реклама (женщина в невообразимо большой шляпе), а в левом верхнем углу — вне всяких сомнений, погодная карта Западной Европы, с *цветными* изобарами или изотермами[159] — как там их — и подписью: «Погода на завтра».

Тут Браунлоу заметил дату. 10 ноября 1971 года!

— Спокойно, — сказал себе Браунлоу. — Да чтоб

---

[159] Примечания: 159

Изобары и *изотермы* — изолинии на метеорологической карте, соединяющие, соответственно, точки с одинаковым атмосферным давлением и одинаковой температурой.

мне провалиться! Спокойно.

Он посмотрел на газету сбоку, потом снова прямо. Дата оставалась прежней: 10 ноября 1971 года.

Браунлоу встал, глубоко озадаченный, и положил газету. Он как будто побаивался ее. Потер лоб пальцами.

— Браунлоу, дружище, вы тут, случайно, не разыграли только что Рипа Ван Винкля?[160] — сказал он себе. Снова взял газету, вышел в переднюю и посмотрелся в висевшее там зеркало. Никаких признаков приближавшейся старости он не заметил, и это его порадовало, однако выражение испуга, смятения и изумления на покрасневшем лице поразило его — настолько оно было непростительным и недостойным. Браунлоу посмеялся над собой — но нельзя сказать, что он зашелся от смеха. Потом уставился пустым взглядом на знакомый ему облик.

— Должно быть, я слегка tordu[161], — сказал

---

[160] Примечания: 160

Рип Ван Винкль — главный герой всемирно известной одноименной новеллы (1819) классика американской литературы и родоначальника национальной романтической прозы Вашингтона Ирвинга (1783–1859), ушедший в Катскильские горы и проспавший там два десятилетия, символ отставшего от времени человека.

[161] Примечания: 161

Кособокий; *тж.* нетрезвый *(фр.).*

он. Так он привык в шутку переводить выражение «под мухой». На приставном столике лежал маленький перекидной календарь самого респектабельного вида, и он свидетельствовал, что сегодня — 10 ноября 1931 года.

— Видишь? — Он укоризненно махнул странной газетой в сторону календаря. — Надо было десять минут назад сообразить, что ты подделка. Безобидный розыгрыш, и это еще мягко сказано. Наверное, Лоу назначили редактором на один вечер, и ему пришло в голову выкинуть эту штуку. Что скажешь?

Он почувствовал себя одураченным, но шутка вышла хорошая. И Браунлоу, ощутив непривычное предвкушение веселого развлечения, вернулся в кресло. Отличная все-таки мысль — выпустить газету с датой на сорок лет вперед. И можно неплохо позабавиться, если это сделано как следует. Некоторое время тишину в квартире не нарушало ничего, кроме шороха переворачиваемых газетных листов и дыхания самого Браунлоу.

3

На взгляд Браунлоу, для орудия розыгрыша газета была сделана слишком хорошо. Каждый

раз, переворачивая страницу, он ждал, что она расхохочется ему в лицо и выдаст себя. Но ничего подобного не происходило. Из заурядной шутки все превращалось в забаву масштабную и увлекательную, пусть даже ее создатели несколько перестарались. А потом, когда Браунлоу окончательно убедился, что это редакция решила над ним подшутить, оказалось, что поверить в эту шутку все труднее и труднее, пока не стало ясно, что такого просто быть не может и выход только один — признать, что это и есть газета из будущего, и ничего больше. Наверняка она стоила гораздо дороже обычного номера. При печати использовались самые разные краски, и вдруг на глаза Браунлоу попались иллюстрации, от которых у него перехватило дух, — это были цвета самой реальности. Браунлоу никогда в жизни не встречал такой цветной печати, к тому же и здания, и пейзажи, и наряды на картинках выглядели незнакомыми. Незнакомыми и притом достоверными. Это были цветные фотографии той жизни, которая настанет через сорок лет. По-другому увиденное нельзя было объяснить. Стоило на них посмотреть — и никаких сомнений не оставалось.

Теперь мысли Браунлоу приняли иное направ-

ление, противоположное идее шуточного номера. Издать газету, которую он держал в руках, было бы не просто баснословно дорого, а попросту невозможно — ни за какие деньги. Всему современному миру не под силу сотворить подобное. В этом Браунлоу вполне отдавал себе отчет.

Он сидел, переворачивал страницы и машинально прихлебывал виски. Его скепсиса как не бывало; дух критики был повержен. Разум Браунлоу больше не роптал при мысли о том, что он читает газету, которая будет выпущена через сорок лет.

Газета была адресована мистеру Эвану О'Хара, и ему-то ее и доставили. Вот и славно. Очевидно, этот Эван О'Хара знал, как опередить свое время…

Сомневаюсь, что в тот момент Браунлоу находил в этой ситуации что-то удивительное.

Однако она была крайне удивительной — и остается такой по сей день. Сейчас, когда я пишу эти строки, мое удивление только нарастает. Я лишь постепенно сумел представить себе, как Браунлоу переворачивает листы этой чудесной газеты, представить настолько живо, чтобы самому в это поверить. И вы наверняка понимаете, что, колеблясь между желанием поверить и со-

мнением, я не мог не спросить Браунлоу (дабы подтвердить либо опровергнуть его рассказ, а также удовлетворить растущее и снедавшее меня любопытство), о чем же говорилось в той газете. Одновременно я поймал себя на том, что пытаюсь найти в его истории несоответствия и при этом доискиваюсь мельчайших подробностей, какие он только может мне описать.

Что же было в газете? Иначе говоря, чем будет жить мир через сорок лет? Таков был громадный масштаб той картины, на которую Браунлоу получил возможность глянуть одним глазком. Мир через сорок лет! По ночам я лежу без сна и думаю, сколько всего могла бы открыть нам эта газета. Она и так многое открыла, но среди этих открытий нет, наверное, ни одного, которое не превратилось бы тут же в целое созвездие загадок. Когда Браунлоу впервые рассказал мне свою историю, я проникся крайним недоверием, о чем теперь не устаю сожалеть. Я задавал ему вопросы, что называется, с подвохом. Я был готов при первой же оплошности с его стороны заткнуть ему рот фразами вроде: «Какая нелепость!» — и всячески это показывал. И к тому же у меня были назначены дела, вынудившие прервать беседу всего через полчаса. Однако его рассказ уже

завладел моим воображением, и перед чаем я позвонил Браунлоу и снова принялся придираться к его «странной истории». Днем он дулся на меня за утреннее недоверие и поведал очень мало.

— Должно быть, я был пьян и мне все померещилось. Я и сам начинаю сомневаться, — заявил он.

Ночью мне в первый раз пришло в голову, что, если не дать Браунлоу рассказать под запись обо всем, что он видел, он, вероятно, в конце концов запутается и сам проникнется недоверием к себе. История может обрасти выдуманными деталями. Браунлоу решит о чем-то умолчать или что-то изменить, чтобы придать ей правдоподобия. Поэтому назавтра я встретился с ним за ланчем и проговорил до вечера, и мы условились вместе поехать в Серрей на выходные. Мне удалось смягчить его обиду на меня. Моя растущая увлеченность случившимся заставила снова увлечься и его. Там мы взялись за дело уже всерьез: перво-наперво постарались восстановить все его воспоминания о самой газете, а затем сложить по возможности цельную картину мира, в ней описанного.

Пожалуй, нет особой нужды упоминать, что для решения этой задачи у нас не хватало под-

готовки. Да и как к такому подготовиться? Что следует счесть важным и как это упорядочить? Мы хотели узнать о 1971 годе как можно больше, а между тем все мелкие и крупные факты, теснясь, противоречили друг другу.

Одним из самых важных обстоятельств, на мой взгляд, был тот заголовок передовицы об Уилтонском буре, достигшем семимильной отметки. Тут для нас все очевидно. Браунлоу говорит, что в статье рассказывается о нескольких попытках подключиться к источнику тепла под земной поверхностью. Я задавал разные вопросы.

— Понимаете, там все было *объяснено*. — Браунлоу с улыбкой протянул ко мне руку и пощелкал пальцами. — Все было прекрасно объяснено. По старой системе копали на глубину от нескольких сотен футов до мили с чем-то, добывали уголь и сжигали его. А стоит углубиться еще чуть-чуть, и уже не нужно будет ничего добывать и сжигать. Можно просто получать тепло непосредственно. Оно поднимается кверху само, под напором выделяемого им пара. Видите? Все просто. По этому поводу было много шума, — добавил он. — Не только шапка, но целая редакционная статья крупным шрифтом. Как бишь она называлась? А, точно! «Конец эпохи внутреннего сгорания»!

Очевидно, это были перемены исторического масштаба, которые тогда, 10 ноября 1971 года, шли полным ходом. И из того, как, по словам Браунлоу, вводились эти новшества, ясно, что тот мир заботился об экономических нуждах куда больше, чем сегодняшний, и проявлял в этом небывалый размах и отвагу.

Всеобщий ажиотаж вокруг подключения к глубинным запасам тепла — далеко не единственное, что свидетельствовало о росте экономического интереса и практических разработок в этой области; на сей счет Браунлоу высказался вполне определенно. В газете, что попала к нему в руки, научным исследованиям и изобретениям отводилось гораздо больше места, чем в любой современной. Браунлоу утверждал, что там были графики и математические символы, но сам он к ним не присматривался, поскольку не разбирается в таких вещах.

— Некоторые из них такие ученые, просто беда, — пожаловался он.

Очевидно, наших внуков ожидает мир гораздо более интеллектуально развитый — и при этом, судя по фотографиям, более здоровый и счастливый.

— Мода у них — глаз не отвести, — отклонился

от темы Браунлоу. — Что за расцветки!

— Фасоны сложные? — спросил я.

— Наоборот! — ответил он.

Описать наряды у него толком не получилось. Люди, запечатленные и в реальной жизни, и в рекламе, по-видимому, старались надевать на себя как можно меньше — я имею в виду одежду вроде жилетов, брюк, носков и так далее. Грудь у них была обнажена. Все носили какие-то невообразимо широкие браслеты, в основном на левой руке, доходившие до локтя и оснащенные всевозможными приспособлениями, заменявшими карманы. Большинство таких браслетов, по-видимому, были богато украшены, словно щитки доспехов. Кроме того, имелись огромные шляпы, которые нередко держали в руках свернутыми в рулон, и широкие плащи прелестнейших оттенков и, судя по всему, из превосходной мягкой ткани; эти плащи либо свободно ниспадали от чего-то вроде горжетки, либо были собраны в складки и обернуты вокруг нагого тела, либо подхвачены поясом и наброшены на плечи.

В газете было много изображений уличной толпы из разных частей света.

— Выглядят все прекрасно, — рассказывал Браунлоу. — Такие, знаете, здоровые и про-

цветающие. А некоторые женщины… просто прелестны.

Мне вспомнилась Индия. Что происходит в Индии?

Об Индии Браунлоу не мог вспомнить ничего особенного.

— Анкор, — сказал он. — Это ведь не Индия?

В солнечном Анкоре среди «совершенно очаровательных» зданий прошел какой-то карнавал. Местные жители были смуглые, но одевались примерно так же, как в других частях света.

Я обнаружил, что во мне проснулся политик. Неужели совсем ничего об Индии? Он уверен? Определенно ничего такого, что оставило бы у Браунлоу хоть какое-то впечатление. А Советская Россия?

— О Советской России ничего не было, — сказал Браунлоу.

Значит, весь этот переполох перестал быть предметом каждодневного интереса.

— А как отношения Франции и Германии?

Браунлоу не смог припомнить, чтобы в газете хоть раз говорилось об этих двух великих державах. Как, собственно, и о Британской империи, и о США. Насколько он мог судить, не обсуждались никакие переговоры, обмен нотами или поли-

тическая напряженность, не говорилось ни о послах, ни о конференциях, ни о конкуренции, ни о других формах межгосударственных отношений. Браунлоу порылся в памяти. Я подумал, что, возможно, дела в этой сфере обстоят так же, как и сегодня, и последние сто лет, и потому Браунлоу, пробежав глазами соответствующие абзацы, и не нашел в них ничего примечательного. Но он убежден, что причина не в этом.

— Все это осталось в прошлом, — сказал он.

Он непоколебимо стоит на том, что ни к каким выборам никто не готовился, ни парламент, ни политики не упоминались вовсе, ни слова не было сказано ни о Женеве, ни о каких-либо вооружениях или войне. Все эти главные темы современной журналистики словно бы «остались в прошлом» вместе со многим прочим. Нельзя сказать, чтобы Браунлоу склонен был их пропускать: он уверен, что их в газете попросту не было.

Все это немало изумило меня. Это означает, как я понимаю, что всего через сорок лет великие игры суверенных государств сойдут на нет. По-видимому, и парламентские игры тоже сойдут на нет и будет принят какой-то совершенно новый метод управления человеческими делами. Ни о патриотизме, ни о национализме, ни о партиях

— ни слова. Но всего через сорок лет! Еще при жизни доброй половины из наших современников! Вы ни на йоту такому не поверите. И я бы не поверил, если бы не два маленьких клочка бумаги. Они, как я далее расскажу, привели меня в состояние — как бы так выразиться? — недоверчивой уверенности.

4

В конце концов, в 1831 году мало кто думал о путешествиях по железной дороге или на пассажирском пароходе, а в 1871 году уже можно было объехать на паровом транспорте вокруг света за восемьдесят дней и послать телеграмму, которая достигнет практически любой точки планеты за несколько минут[162]. Кто мог представить себе такое в 1831 году? Революции в человеческой жизни, стоит им начаться, подчас совершаются очень быстро. Наши идеи и методы меняются стремительнее, чем мы думаем.

Но всего сорок лет!

---

[162] Примечания: 162

Прозрачная отсылка к роману знаменитого французского писателя-фантаста Жюля Верна «Вокруг света за восемьдесят дней» (1872), герои которого совершают кругосветное путешествие на поездах и пакетботах. Трансатлантическая телеграфная связь была установлена в 1858 г.

Эта вечерняя газета говорила не только об отсутствии национальной политики, но и кое о чем другом, еще более фундаментальном. Мы оба считаем, что там нет ни намека на бизнес, то есть финансы, по крайней мере в том виде, в каком они существуют сегодня. Мы в этом не вполне уверены, но таково наше впечатление. Никаких списков цен на фондовой бирже, никакой страницы новостей Сити и ничего вместо них. Я сразу предположил, что Браунлоу просто перелистнул эту страницу и что, если он проглядел ее и забыл, это вполне соответствует его нынешним привычкам. Я высказал это предположение в беседе с ним. Однако он совершенно уверен, что такого быть не могло. Как и большинство в наши дни, он довольно нервно следит за своими инвестициями и убежден, что специально искал статью о положении дел в Сити.

10 ноября 1971 года, судя по всему, приходилось на понедельник, — видимо, в месяцах и днях недели к тому времени произошли некие сдвиги; в подробности я сейчас вдаваться не стану, однако и это обстоятельство не объясняет полного отсутствия деловых новостей. Должно быть, и они через сорок лет останутся в прошлом.

Так что же, нас ожидают сокрушительные ре-

волюционные потрясения? Потрясения, которые положат конец и инвестициям, и спекуляциям? Мир захватят большевики? По крайней мере, никаких свидетельств подобного в газете не было. К тому же против вывода о грандиозной экономической революции говорит несомненный факт: сорок лет спустя знакомая лондонская вечерняя газета будет по-прежнему самым безмятежным образом падать в личный почтовый ящик. Едва ли это может навести на мысль об общественных потрясениях. Куда основательнее выглядит предположение о колоссальных переменах, осуществлявшихся шаг за шагом, день за днем, час за часом безо всяких революционных рывков, — как приходит в мир утро или весна.

Удержаться от подобных досужих спекуляций невозможно — да простит меня читатель. Вернемся к нашей истории.

В газете были помещены фотографии горного обвала близ Вентимильи и нового химического завода в Зальцбурге, а также какой-то стычки в окрестностях Иркутска (от этой фотографии остался блеклый клочок, о чем я вскоре расскажу).

— Так вот, она называлась… — Браунлоу напрягся и победно щелкнул пальцами. — «Федеральная

полиция окружает бандитов».

— Какая еще федеральная полиция? — спросил я.

— То-то и оно, — отозвался Браунлоу. — На вид с обеих сторон были по большей части китайцы, но среди них затесались двое-трое парней повыше — может, американцы, британцы или скандинавы… А вот про что в газете было много, так это про горилл, — внезапно вспомнил он. — Без конца разговоры про горилл. Не столько, сколько про бурение, но все равно без конца. Фотографии. Карта. Отдельная статья и несколько заметок.

Оказывается, в газете было объявлено о смерти последней гориллы. Трагедия, произошедшая в африканском заповеднике для горилл, вызвала заметное возмущение в обществе. Популяция горилл в мире много лет сокращалась. В 1931 году их численность, как считалось, не превышала девятисот особей. После прихода к власти Федерального совета она упала до трехсот.

— Какого такого Федерального совета? — спросил я.

Браунлоу знал о нем не больше моего. Но когда он прочитал эту фразу, она почему-то не показалась ему примечательной. Очевидно, упомянутому Совету пришлось заниматься всем

сразу, а ресурсов ему не хватало. Поначалу у меня сложилось впечатление, что это, наверное, был какой-то совет по охране природы, созданный наспех в чрезвычайной ситуации, чтобы спасать редких представителей фауны, которым грозило вымирание. За гориллами плохо наблюдали и недостаточно их охраняли, и внезапно животных выкосила новая опасная разновидность гриппа. Все произошло, по сути дела, прежде, чем кто-то что-то заметил. Газета требовала расследования и жестких мер по реорганизации.

Видимо, этот Федеральный совет, что бы он собой ни представлял, в 1971 году был весьма важным учреждением. Его название снова и снова мелькало в статье о лесонасаждениях. Браунлоу заинтересовался — у него имелись крупные вложения в лесозаготовительных компаниях. Этот Федеральный совет, похоже, отвечал не только за недуги диких горилл, но и за лесопосадки — только вдумайтесь, что за названия здесь перечислены! — в Канаде, штате Нью-Йорк, Сибири, Алжире и на Восточном побережье Англии, и его обвиняли во всяческих недоработках при борьбе с насекомыми-вредителями и разнообразными грибковыми болезнями растений. Он перепрыгивал все современные гра-

ницы самым поразительным образом. Влияние его охватывало весь мир. «Несмотря на недавние дополнительные ограничения на применение древесных пиломатериалов в строительстве и мебельном деле, сохраняется высокая вероятность сокращения площади лесов и падения уровня осадков практически во всех находящихся под этой угрозой регионах начиная с 1985 года и далее. Следует признать, что Федеральный совет запоздал с решением этой задачи, и работа его с самых первых дней сводилась к борьбе с последствиями чрезвычайной ситуации, однако, если учесть наглядные данные отчета, подготовленного Комиссией Джеймса, для проявленных Советом вялости и самонадеянности нет никаких оправданий».

Я могу привести цитату из этой статьи, поскольку она, собственно говоря, лежит передо мной сейчас, когда я пишу эти строки. Более того, это все, что уцелело от той необыкновенной газеты, о чем я вскоре расскажу. Прочее уничтожено, и все, что мы можем о ней узнать, хранится теперь в памяти Браунлоу — твердой, но не вполне достойной доверия.

5

Дни идут, а мысли мои продолжают вертеться вокруг этого Федерального совета. Означает ли это выражение (что весьма вероятно) некую всемирную федерацию, научный контроль над жизнью человечества через каких-нибудь сорок лет? Эта идея кажется мне просто ошеломительной. Я давно считаю, что людям суждено рано или поздно объединиться в «мир всеобщий и союз племен»[163], как выразился Теннисон, однако до сих пор предполагал, что процесс такого объединения займет столетия. Впрочем, у меня неважное чувство времени. Я склонен недооценивать темпы перемен. В 1900 году я писал, что аэропланы появятся «в течение пятидесяти лет». Между тем не успел наступить даже 1920 год, а эти треклятые штуковины уже шныряли повсюду и развозили пассажиров.

Позвольте мне очень кратко пересказать остальное содержание той вечерней газеты. По-видимому, в ней уделялось немало внима-

---

[163] Примечания: 163

Неточная цитата из поэмы английского поэта Альфреда *Теннисона* (1809–1892) «Локсли-холл» (1830–1835, опубл. 1842, ст. 128). — *Перев. О. Чюминой.*

ния спорту и моде; много говорилось о каких-то «представлениях» (с картинками); значительное место занимала иллюстрированная критика декоративного искусства, особенно архитектуры. Архитектурные сооружения на фотографиях, которые видел Браунлоу, были «величественные — даже грандиозные… огромные многоэтажные дома, как в Нью-Йорке, только еще больше, и все впритык друг к другу…». К сожалению, рисовать он не умеет. Некоторые разделы были посвящены чему-то такому, чего он не мог понять, но думает, что это «как-то связано с радиопередачами».

Все это указывает на жизнь высокоразвитого общества, очень похожую на ту, какую мы ведем сегодня, но, возможно, несколько лучше и красочнее. Однако было в ней и отличие.

— Рождаемость — семь на тысячу, — сказал Браунлоу, порывшись в памяти.

Я ахнул. Самая низкая рождаемость в Европе — не меньше шестнадцати на тысячу. В России рождаемость сорок на тысячу и снижается медленно.

— Да, семь. Точно, семь. Мне это бросилось в глаза. В одной статье.

— Но что это была за рождаемость? В Великобритании? В Европе? — спросил я.

— Пишут — рождаемость, и все, — ответил Браунлоу.

Думаю, это самый загадочный момент во всей этой удивительной истории, приоткрывшей нам дверь в мир наших внуков. Рождаемость семь на тысячу означает, что население планеты не сохраняется на прежнем уровне: его численность снижается, причем очень быстро, если, конечно, смертность не упала еще ниже. Вполне возможно, что в том мире люди умирают реже, а живут гораздо дольше. На сей счет Браунлоу не мог ничего прояснить. Толпа на фотографиях не показалась ему «старичьем». Там было много детей, молодежи и людей, которые выглядели молодо.

— Браунлоу, а как там с преступностью? — спросил я.

— Что-то есть, — ответил Браунлоу. — Шел какой-то шумный процесс по делу об отравлении, но разобраться в нем оказалось жутко трудно. Сами знаете, как бывает с преступлениями. Если не читаешь все материалы с начала, сложно уяснить, что к чему. Газетчики не понимают, что по поводу каждого преступления нужно давать краткий обзор положения дел на текущий день, — и через сорок лет они до этого не додумались. Или не додумаются — это уж как

вам будет угодно… Упоминалось о нескольких преступлениях и о том, что в прессе называют «сюжеты», — подытожил он. — Сюжеты о каких-то событиях в личной жизни знаменитостей. Мне бросилось в глаза, что журналисты там больше наших репортеров симпатизируют тем, о ком пишут, больше интересуются мотивами, а не просто стараются что-то разнюхать о герое. У них, если можно так выразиться, психологический подход.

— А о книгах много пишут? — полюбопытствовал я.

— О книгах вообще ничего не припомню, — сказал он.

И все. За исключением немногих мелочей вроде того, что в году, вероятно, появился тринадцатый месяц, больше ничего. Это просто пытка. Вот вся суть рассказа Браунлоу. Он просто прочел ту газету, как читают любую другую. Он был как раз в том состоянии алкогольного умиротворения, когда поверишь во что угодно и поэтому ничему не удивляешься. Браунлоу понимал, что читает вечернюю газету, которая будет издана через сорок лет, но сидел перед камином, курил, потягивал виски — и волновался не больше, чем если бы читал фантастическую книгу о будущем.

Вдруг его маленькие медные часы пробили

два.

Браунлоу поднялся и зевнул. Отложил эту непостижимую, эту чудесную газету, как отложил бы любую старую газету, отнес корреспонденцию на конторку и с ленивым проворством очень усталого человека раскидал по углам одежду и улегся спать.

Однако среди ночи он проснулся — во рту пересохло, на душе было тягостно. Он лежал без сна, и ему вспомнилось, что с ним произошел какой-то поразительный случай. Он вновь подумал, что стал мишенью весьма изобретательной мистификации. Он поднялся, чтобы выпить минеральной воды и принять таблетку для печени, подставил голову под холодную воду — и вот уже сидел на кровати, вытирал волосы полотенцем и сомневался, действительно ли он видел эти фотографии, выдержанные в цветах самой реальности, или все это лишь плод воображения. Кроме того, в уме у него вертелась мысль, что приближение мирового дефицита древесины в 1985 году, вероятно, повлияет на его вложения, особенно на трастовый фонд, который он основал в пользу одного младенца, в чьей судьбе принимал участие. Пожалуй, будет мудро вложить в древесину еще больше, подумал он.

Он вернулся по коридору в гостиную и уселся там в халате, переворачивая чудесные листы. Вот же она, газета, в его руках, все страницы целые, ни уголка не оторвано. Должно быть, решил он, это был какой-то самогипноз, но фотографии и правда выглядели такими же настоящими, как пейзаж за окном. Некоторое время он их рассматривал, а затем опять обратился к заметке о древесине. У него возникло ощущение, что публикацию надо сохранить. Не знаю, поймете ли вы ход его мыслей (лично я сразу понял, что он повел себя совершенно иррационально и абсолютно естественно), но Браунлоу взял чудесную газету, согнул нужную страницу, вырвал эту статью, а остальное кинул куда-то в сторону. Побрел, совсем сонный, в спальню, положил клочок бумаги на туалетный столик, забрался в постель и тут же уснул.

6

Когда он проснулся снова, было девять часов; утренний чай стоял возле кровати нетронутый, а спальню заливал солнечный свет. Горничная, она же экономка, только что заглянула в комнату.

— Вы так мирно спали, — сказала она. — Я не решилась разбудить вас. Принести горячего чаю?

Браунлоу не ответил. Он пытался вспомнить, что за странный случай с ним произошел.

Горничная повторила вопрос.

— Нет. Я выйду к завтраку в халате, а потом приму ванну, — объявил он, и горничная ретировалась.

Тут Браунлоу увидел обрывок газеты.

Миг — и он уже мчался по коридору в гостиную.

— Я оставил газету, — повторял он. — Я оставил газету.

Горничная явилась на шум.

— Газету? Ее уже два часа как нет — отправилась в мусоропровод вместе с мусором и всем прочим.

Браунлоу на миг оцепенел от ужаса. Вознес молитву своему богу.

— Я хотел *сохранить* ее! Я хотел *сохранить* ее! — закричал он.

— Откуда же *мне* было знать, что вы хотите ее сохранить?

— Неужели вы не заметили, что эта газета выглядела крайне необычно?

— Я выметаю из этой квартиры столько мусора, что мне некогда рассматривать газеты, — отозвалась горничная. — Вроде бы я заметила цветные

фотографии купающихся дам и хористок, но это меня не касается. Я решила, что это какая-то неприличная газета. Откуда я знала, что вам захочется снова полюбоваться на них с утра пораньше?

— Надо найти газету, — настоятельно произнес Браунлоу. — Это… это жизненно важно. Мне надо найти эту газету, даже если для этого придется перевернуть весь Сассекс-Корт.

— Если уж что-то упало в мусоропровод, не припомню, чтобы оно возвращалось обратно, — заметила горничная. — Но я позвоню вниз, сэр, и узнаю, что можно сделать. Говорят, почти все прямиком отправляется в топку под бойлером…

Так и оказалось. Газеты больше не было.

Браунлоу едва не взорвался от ярости. Ему потребовалось колоссальное усилие воли, чтобы овладеть собой, сесть за стол и съесть остывший завтрак. При этом он то и дело восклицал: «Боже мой!» Посреди завтрака он бросился в спальню забрать заметку, а потом нашел среди вечерних писем на конторке конверт, адресованный Эвану О’Хара. Подтверждение того, что газета и вправду существовала, чуть не свело его с ума. Все это произошло на самом деле.

Едва закончив трапезу, он позвонил мне, чтобы

я помог ему привести мысли в порядок.

Я нашел Браунлоу за конторкой, перед ним лежали два клочка бумаги. Он молчал. Лишь торжественным жестом указал на конторку.

— Что это? — спросил я, остановившись перед ним.

— Скажите мне. Скажите мне, что это такое? — попросил он. — Дело серьезное. Либо… — Он не договорил.

Я взял разорванный конверт и пощупал бумагу.

— «Эван О'Хара, мистер», — прочитал я.

— Да. Сассекс-Корт, сорок девять. Так?

— Так, — согласился я и уставился на него.

— Значит, это не галлюцинация, верно?

Я покачал головой.

— А вот это? — Рука его дрожала, когда он протянул мне заметку.

Я взял поданный им клочок бумаги.

— Странно. — Я уставился на черно-зеленые чернила, на незнакомый шрифт, на небольшие отклонения в орфографии. Потом перевернул листок. На обороте оказалась одна из иллюстраций — наверное, четверть снимка «Федеральная полиция окружает бандитов», о котором я уже упоминал.

Когда я увидел фотографию тем утром, она еще не начала выцветать. На ней виднелось какое-то разрушенное каменное строение посреди песчаной пустоши, в отдалении — бесплодные горы. Холодный чистый воздух, слепящее предвечернее солнце на безоблачном небе — все было передано идеально. На переднем плане четыре человека в масках, одетые в коричневую униформу, сосредоточенно работали над какой-то машинкой на колесах со шлангом и соплом, из которого вырывалась струя, уходившая влево, в оторванную часть снимка. Даже представить себе не могу, что делала эта струя. Браунлоу говорит, он думает, что они травили газом людей в какой-то хижине. Я никогда не видел настолько качественной цветной печати.

— Это еще что такое? — спросил я.

– *Оно* и есть, — сказал Браунлоу. — Я ведь не спятил, правда? Это *оно* и есть.

— Что это за дьявольщина?!

— Обрывок газеты за десятое ноября тысяча девятьсот семьдесят первого года.

— Объясните-ка, — сказал я и сел с клочком газеты в руке, чтобы выслушать его историю. И за вычетом вопросов, отступлений и повторов это и есть та история, которую я здесь изложил.

Я с самого начала предупредил, что история эта странная, и, с моей точки зрения, она все еще остается странной — фантастически странной. Временами я мысленно возвращаюсь к ней, и она все никак не укладывается у меня в голове, поскольку идет вразрез со всем моим опытом и всеми убеждениями. Если бы не два клочка бумаги, можно было бы запросто от нее отмахнуться. Можно было бы сказать, что Браунлоу посетило видение, что ему приснился сон, небывало живой и правдоподобный. Или что его разыграли и у него голова пошла кругом от какой-то искусной мистификации. Или, опять же, можно предположить, что он действительно заглянул в будущее, обладая особо развитыми способностями к прекогниции, о которых пишет мистер Дж. У. Данн в своем замечательном «Эксперименте со временем». Однако ничто из того, о чем пишет мистер Данн, не может объяснить, каким образом в щель для почты протолкнули вечернюю газету, которая выйдет только через сорок лет.

Конверт с тех пор, как я увидел его в первый раз, ничуть не изменился. А вот обрывок газеты со статьей о лесонасаждениях постепенно рассыпается в тонкий порошок, меж тем как фрагмент фотографии на обороте тускнеет — цвета уже по-

чти не осталось, а контуры утратили четкость. Я отвез немного порошка моему приятелю Райдеру из Королевского колледжа, чьи труды по микрохимии широко известны. Он говорит, что это вещество, выражаясь простыми словами, вообще не бумага. В основном это алюминий, укрепленный примесью какой-то синтетической смолы.

7

Я не предлагаю никаких объяснений этой истории, однако, пожалуй, позволю себе небольшое пророчество. Я придерживаюсь непоколебимой уверенности, что 10 ноября 1971 года по адресу «Сассекс-Корт, 49» будет проживать мистер Эван О'Хара. (Сейчас в Сассекс-Корте нет никого с такими именем и фамилией, и я не нашел ни в столичном телефонном справочнике, ни в адресной книге никаких сведений о существовании в Лондоне Эвана О'Хара.) И в тот вечер, который настанет через сорок лет, он не получит своей обычной «Ивн стандрд»: вместо нее у него окажется экземпляр «Ивнинг стандард» за 1931 год. Я уверен, что так и будет, и никто меня не разубедит.

Тут я могу быть прав или заблуждаться, но в том, что Браунлоу и правда получил — и в течение двух незабываемых часов читал — самую настоящую газету, напечатанную сорока годами позже, я убежден точно так же, как убежден, что меня зовут Губерт Дж. Уэллс. А есть ли доказательство сильнее?

1932